

**В. Г. Костомаров**  
**Жизнь языка**  
**От ВЯТИЧЕЙ до МОСКВИЧЕЙ**

**Москва**  
**«Педагогика-Пресс» 1994**

Внешнее оформление и макет *В. С. Стуликова*



## **К читателям**

Волшебства на свете не бывает. А иногда хочется, чтобы было. Пусть самая обыденная для фантастов машина времени. Она просто необходима, если хочешь путешествовать в глубь минувших веков, наглядно вообразить себе давно отшумевшие события.

И вот, желая повести читателя от нынешнего русского языка к прошедшим его состояниям, автор призвал на помощь придуманную школьницу – девочку Настю. Он снабдил ее сказочным талисманом, которому поручил роль гида, комментатора, толкователя явлений. Глазами этих вымышленных героев ретроспективно показывается развитие языка, как письменного литературного, так и живого разговорного. Оба равно связаны с историческими судьбами русского народа, определены ими и им служат. Связь истории языка и истории народа, носителя этого языка, неразрывна.

Обычно разделяют *историческую грамматику*, т. е. историю развития языковой структуры (фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса), и *историю русского литературного языка*, т. е. историю использования языковых средств в письменности. И та и другая традиционно излагаются хронологически: вот что было, как менялось, чем стало сегодня. Автор же попытался нарисовать синтетическую картину жизни языка, как бы листая историю вспять – от современности к древности.

Ему казалось интереснее исходить из того, чем мы сегодня пользуемся, и посмотреть, из чего и как оно получилось. Идти, так сказать, от знакомого к тому, что когда-то было и что большинству людей сейчас неизвестно. И чем ярче читатели представят своих предков, всю цепь предшествующих поколений, тем глубже воспримут важную, но часто забываемую мысль, патриотическую мысль о том, что мы сами, как и наш язык, – какой-то итог прошлого и звено в непрерывном развитии жизни. Не зная, что было, из чего все вышло, не найдешь себя и не создашь грядущего.

Думая так, автор передает реакцию своей героини, школьницы конца XX века, на те явления русской жизни и русского языка, которые встают перед ней. Ее все удивляет, что-то восторгает, а кое-что вызывает смех и досаду; многое же просто непонятно. Но постепенно она начинает и саму себя и время, в котором живет, понимать и оценивать исторически и... критически. Отношение к своей речи как к связующему звену между прошлым и будущим повышает культуру слова, помогает постичь тайны языка.

Важны не только меняющиеся факты языка сами по себе – особенности современного языка сегодня и в XIX веке, события и явления эпохи формирования национального языка, языковые черты великорусской народности, характеристика древнерусского языка. Существенны и общие закономерности языковой эволюции: почему и как меняется язык? Является ли его динамика просто изменением или прогрессом, совершенствованием? Какие практические задачи встают из-за противоречия между непрерывным движением языка и общественным стремлением к его неизменной устойчивости?

Русский язык – плод многовекового творчества и труда великого русского народа и всех народов, составляющих нашу страну. Живо связанный со славной историей нашего государства в течение многих веков, являя поразительное социальное, культурно-историческое национальное богатство, русский язык предсказывает великое будущее и самому себе, и всему нашему народу. Язык и историческая святыня, и действующее орудие, требующее сознательного и бережного обращения. Автору хочется, чтобы читатели вместе с его героиней поняли, что им есть чем гордиться: предки передали нам в наследство бесценное сокровище, а с ним и громадные права.

Но права не бывают без обязанностей. Долг каждого русского – знать, любить и хранить свой язык, чтобы передать его во всем богатстве следующим поколениям. Об этом нельзя забывать ни

школьнику – на уроке, в разговоре с приятелем, дома или на улице, ни писателю, ни инженеру, ни артисту, ни водителю автобуса...

Судя по откликам, рецензиям и многочисленным письмам, замысел автора оказался удачным: книжка «Жизнь языка» (М.: Педагогика, 1984) пришлась ко двору. Теперь автор продлил повествование и, конечно, учел разные замечания и пожелания, добавил примеров, упростил некоторые оказавшиеся сложными места. Герои прежней книги завершили свое путешествие в историю временем разделения древнерусского языка на русский, украинский и белорусский. Ныне они продолжают его до конца первого тысячелетия нашей эры, попадают в изначальные поселения славян на Руси.

Усилена и практическая роль книги как дополнения к темам школьной программы русского языка, например таким, как его происхождение, место среди других языков мира, развитие культурной речи. Ярче иллюстрируется историческая сущность ряда явлений современного языка, для которых программа предусматривает «исторический комментарий» (чередование звуков, стилистические ряды, грамматические исключения и др).

Обращаясь к фантазии, к беллетризованному изложению, автор стремился отойти от привычного стиля учебника. Как вышло, судить читателям.

Беги, моя книга, куда влечет тебя твоя воля!

## Бессмертный Язык и смертные языки

### Тройка по русскому

Настя Воробьева, старшеклассница московской школы, была вне себя. Не выходило из головы, как ее позорила учительница:

– Наша наездница сделала открытие: пишет *каТка с фикусом* – от *кататься в седле*, а не от древнего *кадь*. Вспомни пословицу: *Была бы мука да кадушка, а по воду сам схожу*... Не знаешь пословицы, не видела кадушку? Сходи в краеведческий музей. Стыдно не интересоваться историей родного быта! С одной верховой ездой грамотной не станешь. В институт не по заслугам в спорте принимают...

Настя снова ощутила злую обиду. Мало, что тройка вlepила, еще возникала перед всем классом. Язык, дескать, у вас у всех очень загрязнился, пора чистить, и Воробьевой с ее «балдеть» да «клевый» больше других... Сейчас, разбежалась на радость русачке вместо ипподрома изучать разные там версты, сажени, пуды. Ребята на выездку, а я, узнав про старинную хлебную меру, в булочную – купить кадь калорийных булочек. Полный балдеж. Напиши не ту букву, и крику не оберешься, будто язык из-за этой твоей ошибки помер.

«С ромашкой» они, эти филологи. Выдумали какую-то нелепую жизнь языка. Жизнь – век от рождения до смерти, а разве язык появляется и исчезает? *Дерзкий на язык, лишиться языка, дать волю языку, ломать язык, язык не слушается, корявый и изящный, бедный и богатый язык* – это, наверно, способность говорить. Все люди на свете умеют говорить.

Вспомнился афоризм: «Мыслящий человек – человек говорящий». Ясное дело, язык как способность членораздельно общаться бессмертен. Вечен, как, раз возникнув, человек, лес, самолет, т. е. мыслящее существо, заросшее деревьями пространство, летательный аппарат.

Но тут Настя неожиданно задумалась. В действительности-то есть отдельные, приходящие и уходящие дети и старики, мужчины и женщины, узбеки, немцы... Есть хвойный, смешанный, корабельный, молодой и старый, вырубленный и вновь посаженный лес. Одномоторный, турбовинтовой, реактивный, пассажирский и военный, пропавший без вести и только что сошедший с конвейера самолет. Видно, так же и Язык (Настя мысленно изобразила его с большой буквы) по-разному проявляется в меняющемся множестве конкретных языков. Язык с маленькой буквы имеет множественное число: английский, греческий, татарский, иностранный, родной языки. Языки связаны с говорящими на них людьми, с народами, странами, а Язык – с Человеком и человечеством, созидающим разумом и коллективным трудом.

Насте вдруг открылось значение затверженных на уроках классических формул: «важнейшее средство общения и мышления», «непосредственная действительность мысли», «так же древен, как и сознание». И в то же время «признак нации». Язык – всеобщая и самая человеческая способность мыслить и общаться – воплощается в различных языках как в орудиях, устройствах. Язык вообще

бессмертен, как человечество. Бытие конкретного языка зависит от судьбы, т. е. условий жизни и истории племени, народности, нации...

У Насти дух занялся от этих – на сей раз без иронии – открытий. Ее захватила логика своего рассуждения. Языки живут в буквальном смысле слова: рождаются, мужают, стареют, умирают. Когда творил Гомер, английского не было в помине, как и самих англичан. Теперь, наоборот, по-древнегречески никто не говорит, это мертвый язык. А русский?

Ей страстно захотелось узнать, как произошел и жил русский язык, сильно ли менялся с возрастом, постарел ли сейчас. И она – хотите верить, хотите нет – пропустила тренировку, чтобы попасть в университетский лекторий «Филологи – школьникам». Лекцию на тему «Как и почему изменялся наш язык?» читал молодой, но бородатый лектор.

### На публичной лекции

Начал он с того, что русские происходят от древних славян, которые когда-то жили на одной территории и говорили на одном языке. Относительно одному, потому что из-за семейно-родовой раздробленности этот *праславянский* язык был внутренне неоднородным. С расселением славян на все больших пространствах разрушение единства языка ускорилось. Новые условия обитания рождали новые слова, произношение попадало под влияние разноязычных соседей, географическая разделенность даже общие тенденции направляла по неодинаковым путям. Этому процессу содействовало и то, что язык жил в устной форме, не фиксировался, не упорядочивался: первобытные славяне не знали письма. В конце концов различия в фонетике, словаре, грамматике стали такими, что славяне перестали понимать друг друга. Праславянский язык умер, расколовшись на новые языки, из которых нас интересует восточнославянский, называемый обычно *древнерусским*.

Тут лектор заявил, что разные языки не единственная, но страшная угроза утраты уз кровного родства. Поэтому патриотически настроенные ревнители единения славян древности предприняли дерзновенную попытку (не без религиозной подоплеки) восстановить взаимопонимание. 24 мая 863 года в граде Плиске, тогдашней столице Болгарии, солунские братья Кирилл и Мефодий огласили изобретение славянского алфавита. Идеалисты, они шли против естественного хода истории, но замысел их великолепен, труд поразителен, а результаты выше самых смелых ожиданий.

Претерпев ряд изменений, азбука *кириллица* живет и по сей день у нас, болгар, сербов и других славянских народов. Еще удивительнее роль, которую сыграл закрепленный ею рукотворный язык, получивший название СЛОВѢНСКЪ – словенский, древнеболгарский, древнецерковно-славянский, старославянский, книжно-славянский. Детище мудрецов, он не был механической записью древнеболгарского – одного из новых славянских языков, развившегося на юге и взятого за основу, ни тем более оживлением и письменным закреплением забываемого праславянского. Первоучители старательно отбирали *краснейшие* слова у разных славянских народов, по возможности понятные всем. Переводя византийско-греческие богослужебные книги, они не просто передавали понятия, но мастерски творили их, приспособив язык к отвлеченным рассуждениям, выразительным описаниям.

Естественное и искусственное творение, этот язык был, по замыслу, священно-ученым. Как средство живого общения, он, по-видимому, вряд ли широко использовался. Древнецерковно-славянский язык, конечно, не объединил славян, но своевременно и уместно напомнил им о родстве и приобщил к богатствам античной культуры. Его успех не столько в возрождении общих черт, сколько именно в *устроении*: ведь славянские языки в бесписьменной доистории были без порядка, стройности, устойчивости. Он сыграл важную роль в отдельном развитии каждого славянского языка. Не зря Кирилла и Мефодия чтут и ныне.

Однако восточный и другие наследники праславянского языка развивались вполне самостоятельно. Как часто бывает, каждый унаследовал разные черты родителя, приобрел собственный опыт. Славянская письменность, несмотря на свое южное происхождение, не подавила самобытности древнерусского языка и даже дала его развитию мощный толчок. Ученые сравнивают культурную миссию книжного языка в истории природного русского языка с прививкой плодового дерева: дичок-подвой сразу стал плодоносящим растением, когда окультуренный привой-черенок сросся с ним в едином организме.

Славянская книжность служила у нас основой научной и даже художественной литературы; она пронизывает шедевр мировой славы «Слово о полку Игореве». Вопреки, казалось бы, здравому смыслу она переживает бурный расцвет в Московской Руси, когда устроение церковное и исправление книжное были возведены в ранг первой государственной задачи. Взаимодействие старославянской письменности с живой народной речью было сутью становления современного русского литературного

языка – в эпоху Петра Великого, в переломном XVIII веке, в деятельности А. С. Пушкина и других писателей-классиков.

В то же время уже в составе древнерусского языка книжно-славянский был оторван от жизни и, в отличие от бурно менявшейся восточнославянской речи, внутренне не развивался. В XVI веке книжные слова и формы приходилось уже специально учить. Разрыв между собственно русским языком и книжным стал драматическим: возникло *дваязычие*. Лишь в долгих муках защиты народности и повседневных нужд от ревнительства «святой старины» сложился наш современный язык. Книжный же, от природы архаичный, стремящийся к неподвижности, начавший омертвлять все живое, выродился в культовый, обрядовый язык церкви.

Как бы там ни было, древнерусский язык развивался по своим законам. Реализуя, как всякий нормальный язык, заложенные в нем потенции по-своему, копя свои новшества, он превратился в язык великорусской народности, затем в современный русский язык, на котором мы с вами говорим.

Почему наступают в языке изменения? – Лектор сделал многозначительную паузу и потом торжественно изрек: – Потому что язык есть система, в которой заложена антисистема! Противоборствуя, они совмещаются или уступают друг другу, создавая то, чего не было.

Машина ломается, если в ней возникают противоречия; вечно преодолеваемые противоречия только и обеспечивают равновесие частей и целого в языке.

Нашу фонетику, например, исстари грызет тенденция к сокращению числа гласных. Со временем стало можно не различать безударные: [вАда], [вЪдАвоз] вместо [вОда],[вОдОвоз] (как [бАран]), [гЪвАрить], [горЪд] – вплоть до их исчезновения: [колЪк(Ъ)л], [кЪл(Ъ)кАла]. Это *аканье* утвердилось, хотя орфография хранит память об ушедшей системе, и не зря: на Севере до сего дня *окают*, да и мы нередко произносим [сОнет], [пОэтический], а не [сАнет], [пЪэтический], даже только [бОа], [Оазис], [радиО]. Ломоносов писал: «Выговор буквы О без ударения как А много приятнее; но от того московские уроженцы, а больше те, которые немного и невнимательно... читать учились, в правописании часто погрешают, пишучи А вместо О: «хачу» вместо *хочу*, «гавари» вместо *говори*. Но ежели положить, чтобы по сему выговору всем писать и печатать, то должно большую часть России говорить и читать снова переучивать». Помор по рождению, Михайло Васильевич, видно, сам окал.

Другой пример. В 1917 году за ненадобностью отменена буква Ъ – *ять*, но еще недавно она обозначала особый, не сливавшийся с Е звук. М. В. Ломоносов требовал «в Е дебелости, в Ъ тонкости», а А. П. Сумароков улавливал, что Ъ «всегда несколько в И вшибается». Нынешнее Е разное ведет, себя под ударением перед твердым согласным, то изменяясь в О (*несу – нёс, жена – жён* или как в *лён, пёс*, у которых в формах «беглое Е»: *льна, пса*), то не изменяясь (*лес – леса, дело – дел*). В последних словах писалось Ъ, в говорах они до сих пор произносятся [лиес], [диело], а в украинском и пишутся: *ліс, діло*.

Исчезли и другие гласные, а элементарность оставшихся компенсировалась другой врожденной тенденцией – увеличением числа согласных. Перед передними гласными они стали произноситься со сдвигом языка к твердому нёбу будто для выговора Ё (И краткого, йота). Возникает мягкий оттенок, создающий пары б – бь, п – пь... Не придумав парных букв, мы обозначаем мягкость знаком Ь или гласными ю, я, е, ё.

В глубокой древности смягчение, не ограничиваясь призвуком, вовсе преобразовывало согласный. Так появились Ш, Ж, Ц (отвердели они позже, чего, между прочим, не заметила наша орфография: пишем *шило, жизнь*, а не «шыло», «жызь»; также и *тушь* – будто тут Ш произносится не так, как в слове *туш!*) и Ч, которых искони не было. *Грек, греЦкий, греЧеский* напоминают, что К превращался в Ц (*Кесарь – Цесарь*), а еще раньше – в Ч (*плаКать – плаЧет*), которое получалось и из Т (*свеТ – свеЧа*).

Звук Ш произошел от С (*ниСать – ниШу*) и от Х (*суХой – суШь*). Возникая, новые звуки были сначала неопределенно-промежуточными; сегодня это можно вообразить на примере произношения слова *дождь* [жжь – щ – ждь – ждь]...

Настя отвлеклась: ладно, древняя система звуков преобразилась в новую, это меняло облик слов и формы их изменения. Но отчего? Почему у нас не всё так, как даже у близкородственных украинцев? Чистая случайность? Разное влияние этой славянской книжности? Или от лесных просторов, суровой зимы идет певучее аканье? Может, устали пращурь от переселений и, сберегая силы, стали сокращать гласные, требующие больше усилия? Отсюда и пассивная распластанность языка, нужная для смягчения согласных и неведомая другим народам...

Лектор как раз погладил бороду и, словно угадав Настино недоумение, с чего-де эти антитенденции взялись, сказал, что многих не удовлетворяет простая мысль: языку положено, если им пользуются, меняться, как лошади бежать. Соглашаясь, что это предопределено хотя бы множеством

говорящих, которые волей-неволей вносят свое, они хотят знать причину именно таких перемен. Изменения языка так непрямо связаны с природой, национальным характером, событиями истории и культуры, что лучше признать: просто такой уж он, русский язык.

Есть, правда, принципиально открытая подсистема, где связь изменений с явлениями, лежащими вне языка, очевидна, – это словарь. Исчезла древнерусская община, и ушло называвшее ее слово *вервь*; появился новый орган управления, и с ним – слово *земство*. А сегодня на глазах устаревает слово *совет*, возрождается старое – *дума*. Вещи и слова – интересное соотношение, непосредственно приводящее в действие даже механизм развития грамматики. Названия лиц, переносимые на машины, расшатывают, скажем, категорию одушевленности: *вижу спутник, сломал дворник* – о космическом корабле, о стеклоочистителе.

Но все же и это, как любая внешняя причина, лишь ускоряет или тормозит самостийную борьбу системы и антисистемы. Иностранные слова *кенгуру, сафари* да и свои аббревиатуры *самбо, сельпо, вуз* породили вроде бы не свойственную нашей грамматике категорию несклоняемых слов, размывающих к тому же границу между существительными и прилагательными: *мини, видео, ретро*. Но и тут внутреннее противоречие преодолевается: мы начали склонять хотя бы *вуз – вуза, вузу, в вузе*. Жизнь как будто за устранение исключений, за простоту и регулярность. Но вот стремление немногих глаголов типа *пахать – пашет* спрягаться по образцу массы глаголов на -ать (*читать – читает*) упорно сдерживается, хотя по-разному в отдельных словах. Вы, конечно, считаете «пахает» вместо *пашет* недопустимым, признаете правильным и *движет*, и *двигает*. А как надо – *полоскает* или *полощет*? *Мяукает* или *мяучит*? *Помаши* или *помахай*? Лектор победоносно взъерошил бороду.

Общественные ситуации, в которых язык используется, функции, которые он выполняет, влияют на перестройки языка, но идут они по внутренним его законам. Сознательная охрана культурной традиции обществом, вооруженным радио и телевидением, всеобщим образованием, с осмотрительной осторожностью допускает новшества даже в словарь. Развитие национального литературного языка сводится к тому, что он все меньше развивается. Но и раньше, когда система языка была более проницаема, даже глубокие сдвиги на сравнительно коротких отрезках времени не отражали воздействия конкретных внешних факторов. Рассмотрим историю русского глагола.

Разве можно, например, сказать, что важнее: расстановка действий во времени или их характер? Русским оказалась важнее законченность, результативность или, напротив, длительность, повторяемость, а не хронология. Смешно искать какие-то события в русской истории, которые к этому привели. Поясним это так. **Приеха на место идеже лежахуть кости его** – простое длительное действие в прошлом; **идеже бяху лежаще** – действие, свершившееся ранее другого в прошлом: лежат, ибо положены (в плюсквамперфекте употреблялось не только причастие на -л). Затем стало почему-то важно обозначить, просто ли они лежат, или лежат, ибо положены. Для этого появляются пары типа *лежать – положить* и *бросать – бросить*. А времена отпадают в силу законов балансировки системы.

На месте четырех прошедших времен (имперфект: **знах, знаше**; аорист: **знах, зна**; перфект: **есмь знал, еси знал**; плюсквамперфект: **бях знал, бяше знал** или **есмь был знал**) осталось лишь причастие, употребляемое без связки во всех значениях. Этим устранялась асимметрия развитых прошедших времен и нерасчлененного настоящего-будущего. Раньше всего и бесследно утратился имперфект. Аорист употреблялся дольше и напоминает о себе и сейчас формой *возьми да скажи*, случайно совпавшей с повелительной. Плюсквамперфект жил до XVI века, и остатки его сохранились в сочетаниях *жил-был, чуть было не закричал, хотел было сказать*. Иногда древние формы живут в выражениях (например: *одним махом семерых убивахом*). Перфект, утратив вспомогательный глагол *быть*, который с отпадением связки и в именном сказуемом потерял спряжение (**есмь, еси, есть, есмы, есте, суть; живы есть и отчасти суть**), дал современное прошедшее единое время: откуда есть пошла русская земля – *откуда пошла*. Тем временем бурно развивалась система видов: *обновить – обновлять*, потом *делать – сделать, писать – написать*; формируются соотношения *косить – выкосить – выкашивать*. И все же разграничения видов нет до сих пор в глаголах *женить, казнить, велеть*, а также в многочисленных *использовать, присутствовать, пользоваться*, отчего закономерны не признаваемые правильными, но распространяющиеся «использовывать, поприсутствовать, попользоваться».

Если развитие языка не повторяет развития социальной действительности, которая лишь стимулирует развертывание потенциалов самой материи языка, а иногда и тормозит его, то правомерен вопрос: является ли изменение языка поступательным движением, становится ли язык, изменяясь, лучше? (Лектор картинно развел руками.)

Был бы наш язык хуже, если б в его основу лег говор не Москвы, а, скажем, Новгорода? Сохранив оканье, мы имели бы меньше орфографических проблем. При всей самобытности глагольного вида нельзя не признать, что выражаемые им оттенки мысли можно в принципе изобразить и глагольными временами. Пожалуй, только обогащение словаря – бесспорное совершенствование, а вообще-то изменения по большей части безразличные. Некоторые, конечно, ведут к прогрессу – относительному, когда просто упорядочивается, упрощается сам язык, и абсолютному, когда он приводится в большее соответствие с нуждами мышления и общения. Устранение исключений в спряжении глаголов на -ать улучшило бы систему, но станет ли она от этого успешнее формировать мысль и передавать ее? В качестве примера абсолютного прогресса языка как действительности мысли, как орудия общения приводят обычно утрату двойственного числа, имевшего особое склонение и спряжение.

Лектор спроецировал на экран устрашающую по сложности таблицу древнерусского склонения и спряжения. Водя указкой, читал: **та добрая плода, тою доброю плоду, тема добрыма плодома...; ва (мы вдвоем) знаета, знаста, еста знала...** Это не множественное число! *Бока, берега, рукава* мы осмысляем сейчас как множественное число (а это просто парные предметы) и даже по аналогии говорим *дома, города, трактора*. На самом деле это двойственное число, настоящая древняя форма множественного хранится в обороте *руки в боки*. В среднем роде оно оканчивалось на И, а множественное – на А; поэтому *уши, плечи, очи* – если два, а если больше, то, как еще у Пушкина: «И первым снегом с кровли бани / Умыть лицо, плеча и грудь».

Двойственное число отражает первобытные представления: один – два – больше двух. Отвлеченно-математическое соотношение единицы и множества, соотношения «один – не один», фиксируясь в языке, привело к его утрате. Если язык – видение мира, движимое выбором и свободой, то закрепление определенного варианта выражения среди других надо признать более точным соответствием языка действительности. Тогда утрата двойственного числа рисуется отражением развивающегося абстрактного мышления, новшеством, облегчающим оформление мыслей и обмен ими.

Стал ли от этого язык в самом деле лучше? (Лектор усмехнулся.) Уходя, двойственное число оставило нелогичный родительный падеж после слов *два, две, три, четыре* (на деле это именительный двойственного), который во множественном числе естествен, ибо другие числительные были существительными, как ныне *десяток, дюжина, сотня, тысяча, миллион*. Еще у М. В. Ломоносова в «Слове о происхождении света»: «В каждую осмь минут совершается рас-простертие света до Земли от Солнца» (мы бы сказали: «каждые восемь минут»). Собственно числительные оформились в особую часть речи именно с уходом двойственного числа.

Жизнь языка – это и драма языка. Однозначно истолковать даже приведенный пример как прогресс все-таки трудно. Важно еще и то, что у каждого поколения свой мир понятий, которому соответствует язык. У каждого времени свой взгляд на вещи. Вот курьез, показывающий, что предки не глупее нас, хотя и думали не так, как мы, по-другому видели мир. Летописец о захвате вещим Олегом Киева сообщает: **придоста к горам киевским**. Почему не **приде**? Описка? Разыскания показали, что нет: написано именно то, что надо. Дело в том, что при Олеге был малолетний князь Игорь – в глазах летописца поход возглавляли двое.

Язык всегда совершенен для общества, которое им пользуется. Так, современный русский язык характеризуется упорядоченностью фонетики и грамматики, строгими нормами, например орфографическими правилами. Ведь это исторически сложившийся, умом и трудом поколений обработанный литературно-национальный язык великого народа.

Нормы цементируют речь всего общества и противостоят диалектному и индивидуальному многообразию. Они происходят не из интуитивного представления о правильности, а из сознательной кодификации в словарях, грамматиках. За их нарушение в школе наказывают двойкой, не принимают в вуз. Норма опирается на массовое и регулярное употребление, на авторитеты, на научные исследования; она насаждается обществом и государством, пропагандируется радио, телевидением, театром, газетами.

Допускаемая вариативность норм обычно не избыточна, привязана к смыслу, к стилю. И все же норма двойственна, ибо и предписана речевой практике, и из нее, собственно, извлечена. Она – регулятор, обеспечивающий стабильность литературного языка, но и его изменение, при стремлении сохранить нормы, пока возможно. Еще М. В. Ломоносов понимал, что хотя грамматика «от общего употребления языка происходит, однако правилами своими показывает путь самому употреблению». Новшества и зарождаются в употреблении, в функционировании, а норма их сдерживает, опробует, проверяет и некоторые закрепляет. Она подвержена влиянию прежде всего свободной, прихотливой и раскованной разговорной речи. Велика и роль поэтов, писателей, журналистов, обдуманно

отклоняющихся от нормы в словотворчестве, в создании «своего языка» в интересах идейно-изобразительного замысла. Но главное – законы системы языка.

Существенно, что нормы имеют разную крепость (строги в орфографии, либеральны в произношении) и разный характер (один в морфологии, совсем иной в синтаксисе, а в стилистике норма вообще заменяется общими ориентациями, следованием лучшим образцам). Свои особенности имеют и входящие в литературный язык «языки» науки, делопроизводства, других сфер...

Настя устала. Бородач говорил уж очень заумно. Распространение грамотности ведет к отказу от чересчур сложной языковой ситуации. Или наоборот? Развитость литературного языка заключается в его усложненности... Но тут лектор как раз и закончил: «Спасибо за внимание. Надеюсь, кое-кто из вас увлечется проблемами жизни языка...»

## В игру входит Гривна

Надежда лектора сбылась. Проблемы жизни языка Настю заинтриговали, хотя от лекции в целом осталось неудовлетворение. Это отрицание прогресса в языке... Как же нет прямых связей языка с жизнью, с историей? Раз им люди владеют, то и делают с ним что захотят! Еще и это – про московскую основу, что-де могла быть и новгородская. И не слишком ли про саморазвитие, балансировку системы саму по себе?

Вот древние формы так засели в голове, что захотелось сочинять. *Аз есмь в школе ся учила.* Плюсquamперфект, потому что давнопрошедшим утром. До того, как в МГУ *бежах* и лекцию *слушаах*. Нет, тут лучше аорист: *бегах* и *слушах*, а не имперфект: ведь *побежала, прослушала*, а не *бежала, слушала*. Про двойственное число тоже славно: *Моя родителя еста ухаща аще квартире аз есмь едина*. Блеск!

Чтобы не ошибиться, Настя полезла в энциклопедию, полистала у папы учебник истории русского языка. В нем ее очаровала своей непостижимостью характеристика развития языка – «прерывистая непрерывность». Говорилось о праславянском, древнерусском, книжно-славянском, старорусском, современном русском языке. И все это в одном родном языке? Много интересного, но непонятно: как это язык, изменяясь, перестает быть самим собой? Сейчас русский язык иной, чем прежде?

Неужто, думала Настя, я не поняла бы прямых своих предков? Одноклассница Халима своих, ясное дело, не поняла бы: по-таджикски она ни бум-бум. Ее семья, переехав в Москву, говорит только по-русски, а оставшиеся на Памире старики родственники в русском без понятия.

Воробьевы же ниоткуда никогда не приезжали. Они всегда в Москве жили, с незапамятных времен. Папа прикидывал: 28, что ли, поколений извечно рождались и жили здесь, пусть роднясь с приезжими или отлучаясь ненадолго. Мы были москвичами, когда и Москвы еще не было!

Порывшись в отцовом столе, Настя извлекла допотопный массивный и тяжелый обруч. Если верить папе, он из серебра, очень старинный и как-то смешно называется, да – *гривна*. Их так звали, потому что носили как украшение на шее, на *загровке*. Делали их из римских монет или из византийских, арабских. Для древних славян привозимые из дальних стран монеты были скорее сырьем для украшений, чем средством накопления и торговли. Какой-то Настин прародитель этот шейный обруч выковал, и Воробьевы его всю дорогу по наследству из рода в род передавали.

Она представила себе: какой-то пращур вручает его предку помоложе. Лопочет себе по-древнерусски, борода у него – где тут университетскому лектору! – круто трясется от негодования, потому что младший его не понимает. Ну как Халима с дедом, когда тот у них гостил.

Бред какой-то. Мы все урожденные русские. Ясное дело, папа не скажет *кайф*, *не сечет*, *по ящичку передавали*, *клевый*, а дед этого вообще не понял бы, как мы забыли родные ему *примус*, *керогаз*, *непман*. Не было радио, телевизора, транзисторов и магнитофонов-кассетников. Ну, ушли ненужные звуки, что-то изменилось в грамматике. И из-за этих мелочей язык перестал, как выразился лектор, быть идентичным самому себе?

Тут Настя вспомнила, как трудно узнавать слова, когда их украинцы по-своему произносят: *готель*, *вулиця*, *площа*, *яблуко*, *яблуци*, *вона не може вас проваджати*. И признав, что *мисто* – это место, поди догадайся, что это город. А слова, которых у нас вообще нет: *зупинка автобусу*, *працювати*, *радянський*, *перемога!* Настя, когда с папой в Киев ездила, мало что понимала. Непривычных звуковых облиций, особых форм, необщих слов не меньше, наверное, и в древнерусском языке.

Получается, что в непрерывной цепи потомства у коренных москвичей в разное время был разный язык. Что когда-то русские говорили так, что, услышь их Настя, она бы не поняла, что говорят по-русски. Иногда вот по радио слышишь и, хотя не понимаешь, знаешь, что говорят по-чешски, а иногда и не скажешь, какой это язык. Неужто было такое, что некий Воробьев-внук перестал вдруг понимать своего деда или прадеда?

Настя вопрошающе потерла обруч, свидетель рода. Поласкала его: гривна, гривенка, для гривы – как у лошади. Она любила расчесывать гриву коня на ипподроме. Надела обруч себе на шею и... уловила, будто из аппарата, что в музеях вместо экскурсовода дают, вкрадчивый глуховатый голос:

– Русский язык один и тот же. Как земля, река, лес. Как Москва. Но разве нынешняя девятимиллионная столица такая же, что и *мал деревян град*, в котором 4 апреля 1147 года князь Юрий Долгорукий пировал со своим союзником? Она менялась, оставаясь Москвою. Жители всегда ощущали, что живут в одном и том же городе, хотя строили новые здания, сносили старые. Она ведь не сразу строилась! Через 800 лет москвичи воздвигли памятник основателю Москвы – Долгорукому. Движение часовой стрелки, когда на нее смотришь, незаметно, но, если на циферблат взглянуть через промежуток времени, видно, что она переместилась. Любые Воробьевы, жившие одновременно, понимали друг друга и то, что написали умершие до их рождения далекие родственники. Что-то терялось, что-то появлялось в речи каждого нового Воробьева, но таким темпом, что не мешало взаимопониманию. Отрезки реального общения стали, кстати, длительнее: люди дольше живут, уходящие поколения больше оставляют ценных книг, теперь и звукозаписи. Вернувшись в родной город после долгой отлучки, москвич восклицает: «Москву не узнать!» Пока на глазах возникает новое, сосуществует со старым, живущим века и устранимым, обветшалым, удивления нет: Москва как Москва. Переход в иное состояние не одномоментный взрыв, а преемственное накопление новшества в отдельных местах, даже в эпохи стремительной перестройки. Новое качество обнаруживаешь, лишь сравнив удаленные друг от друга моменты. Современный язык начался не в 1750 году, хотя ясно, что в конце XVIII века он уже был, а в начале, при Петре I, его еще не было. Живя вместе, мы не замечаем, как меняемся, но ты можешь не узнать одноклассника, когда встретишься с ним лет через десять после выпускного бала. Русские сегодня не могут читать свободно написанное даже в XVII веке, а чтобы прочесть рукописи старше XIV века, должны специально учиться. Трудность тут не столько в старой азбуке, но именно в непонимании языка. И все-таки это один и тот же самый русский язык, как десятилетний мальчик и спустя годы седовласый старец – это один человек. Для непрерывного опознания языка надо сличать его фотографии не реже, чем раз в 60 – 100 лет, – таков, как утверждают ученые, наблюдающие смену биологических и социальных поколений, период, на протяжении которого существует неизменность. Преобразование языка не есть старение. Его жизнь – непрерывная прерывистость, а сам он – прерывистая непрерывность. Ты же прочла в учебнике, что развитие элемента замечают последующие поколения, когда он совсем изменится, а его одновременное функционирование маскирует для данного поколения это развитие. Движение незаметно еще и потому, что в языке все элементы устойчиво сбалансированы...

– Так пойму я своих предков или нет? – настырничала Настя, освоившаяся с волшебством и сбитаая с толку рассуждениями Гривны.

А та объяснила-озадачила:

– Тут еще проблема отцов и детей. По условиям жизни, образу мыслей, интересам ты ближе к сегодняшней венгерке, чем к древнерусской девице. Вспомни лектора: у каждой эпохи свой взгляд на вещи. У каждого поколения свой мир понятий, которому соответствует и язык. Сейчас он приспособлен к научному знанию, а когда-то служил церковной догматике. Прихоти царского двора, набеги врагов и пожары, когда город то и дело выгорал дотла, запасы дров и еды на зиму – сотни тем, составлявших содержание общения, ничтожны и чужды для потомков древних москвичей, обсуждающих сообщения газет и программы «Вести», стоящих в очередях и вызывающих по телефону слесаря... Мир и жизнь неузнаваемо изменились. Другие мысли, интересы, способы их выражения. Другое общение.

– Неужто так и не о чем уж нам поговорить, встретиться я по колдовству с предком?

– Почему, нашлись бы темы! – успокоила Гривна. – Время идет рядом, но его не видно. Все на него оглядываются, оно ни на кого не смотрит. Всему свое время, и у каждого свои песни, свой язык. У предков нет того, что есть у тебя: кино, радио, метро. И у тебя не всё, что было у них. Язык не склад, мелкое он просеивает, оставляет заслуживающее хранения. Иной раз коллективная память хранит и историзмы – ушедшее из актуальной действительности: *терем, горница, палата*. И не всё запечатлевает: всякие твисты и шейки, остромодные платформы на «манной каше», случайно возникая



в речи, тут же без следа пропадают. Язык мудро отбирает народный опыт и вкус: из *комбата*, *комлата*, *конбната*, *кондата* живет лишь *комната*.

– Какие же темы? – спросила Настя, все еще не удовлетворенная пояснениями. – Лектор вот утверждал, что язык всегда совершенен для общества, которое обслуживает. Но разве общество не стало лучше? Наш язык пусть хуже для беседы о домашней выпечке хлеба. Или о церкви. Зато им удобнее поговорить о новой линии метро, о запуске спутника. Неужто в нем нет прогресса?

– Есть вечные темы, – уверенно ответила Гривна. – Национальное единство и гордость, без чего нет преемственности и великой культуры, не волнуют лишь Иванов, не помнящих родства. Москвичи Воробьевы – однолюбы, всегда бережно хранили память и преданность родине.

Они заслужили для правнучки роскошь исполнения желания. Сама и посмотришь, был ли прогресс в языке и отвечал ли он прогрессу общества. Верный талисман, хранитель рода, может свести тебя с любым предком, в собственности которого находился! Только условие: они не могут тебя видеть, и говорить с ними тебе нельзя – им не дано знать, что потом будет и что известно тебе. Прошлое известно, а будущее – тайна. Фантасты, изобретая машину времени, требуют справедливо, чтобы потомки не оставляли следов в истории. Вопрос, могут ли тебя понять древние Воробьевы, останется без ответа. Они могли лишь мечтать о твоём времени... Будем останавливаться где интереснее – так, раз в столетие, чтобы послушать русский язык и увидеть жизнь его носителей на разных этапах их истории... Вперед, т. е. вниз по лестнице, веками ведшей вверх! Хоп-гоп-ля...

И вот Настя на Николаевском вокзале прошлого века, рядом с прапрадедом – журналистом Воробьевым, который встречает приятеля из Петербурга. Снаружи вокзал тот же, что нынешний, но на площади он один, а вокруг склады, вереницы извозчиков: дешевых *ванек*, подороже – *резвых*, роскошных *лихачей*.

## ОТ ПУШКИНА ДО НАШИХ ДНЕЙ

### Спор в гостинице

Незримо следуя за прапрадедом и его другом, Настя слишком поглощена видом родного города за сто с лишним лет до ее рождения, чтобы вникать в их беседу о теперь уже неизбежном новом устройстве жизни крестьян. Обгоняя *линейки* – первые в Москве общественные экипажи с сиденьями сбоку, *пролетка* затряслась по булыжным улицам, которые узнаются по расположению и отдельным зданиям.

Конечно, это улица Мясницкая. Деловая, пестрит вывесками иностранных фирм. У знакомого здания почтамта – контора *дилижансов*. Вот Лубянская площадь, Охотный ряд с главным съестным рынком столицы, Моховая – тут много нынешних зданий. Но даже Кремль выглядит странно без рубиновых звезд на башнях. Одеты люди прямо как в театре: зипуны, армяки, женщины все больше в черных платках, повязанных на груди крест-накрест. Ясно: это простой люд. А дамы и господа шеголяют в дорогих мехах, крытых атласом, сукном, бархатом.

По Воздвиженке приехали на Арбат, в гостиницу «Гунибъ»: **40 номеровъ, цѣна номеру въ сутки съ прислугой и самоваромъ от 50 к. до 1 р. Обѣдь отъ кухмистра, цѣна одного обѣда 75 к.**

Настя без труда читает надписи: папа показывал ей все эти яти и еры. Рассказал, например, что *миръ* значит отсутствие войны, покой, согласие; а если через десятеричное, а не восьмеричное написано *миръ*, то Вселенная, Земля. Заглавие поэмы «Война и Мир» Маяковский задумал в противовес толстовскому «Война и мир». Теперь мы этого не чувствуем, как и разницу между *всем миром* и *одним миром мазаны* – во втором выражении «миром» писали через ижицу (*мүро* – благовонное масло для ритуальных целей). Жаль, что не различаются теперь на письме *некогда* – нет времени и **Нѣкогда** – когда-то, *бес(без)* – приставка и **бѣс** – черт, сатана... Тем временем компания села за стол обедать – от кухмистра!

За окном гоняют голубей с арбатских голубятен, белых красавцев – это вам не безродно-бездомные сизари, заполонившие Настину Москву. Первопрестольной где уж тягаться со столичным Петербургом! Но и «третий Рим» вовсе не заповедник старины, золотых куполов, рукодельниц и плотников-умельцев с аршином и вершком. Храня пронзительно русским строем своим незыблемость самобытного уклада, он весь во власти зова времени, развивает производство, где микрон – слишком

грубое деление шкалы. Телеграфная связь доступна уже не одной царской фамилии, на улицах устанавливают газовое освещение, говорят о пуске конки, готовят первую почтовую марку...

Настя насторожилась, вслушиваясь, когда прапрадед полюбопытствовал узнать, что в столице думают о языке, якобы расслаивающемся на художественный, деловой и научный.

– Да, состав словесности меняется, – подтвердил петербуржец. – Научная проза обретается в царстве культурного языка, но несводима к прозе изящной. Литература не только беллетристика, а общий язык не синоним художественного. Он шире, ибо, составляя костяк живописи словом, служит и прямой передаче мыслей в официальной речи, технике, быту, имея для сего особые пласты. Он и уже, ибо остается в установленных обычаях пределах, тогда как сочинители вовлекают для натуральной обрисовки персонажей всё, что заблагорассудят, вплоть до воспроизведения ошибок. Математически точная наука не обойдется без общего образованного языка, ее престиж в обществе обеспечивает в нем законное место ее особенностям.

Воробьев изволил согласиться, что промышленный переворот невозможен без замены вододействующей машины паровой, крепостного труда вольнонаемным. Язык отражает рост техники. Но разве следует отсюда, что *писатели* – врачи, инженеры пишут не как *сочинители*! При чем тут уже, шире? Все при нужде выходят из канона в народную речь, жаргоны ремесел – по образцу Гоголя, иных лучших сочинителей, герои которых говорят натурально, как в жизни, но в то же время правильно.

Петербургец попенял ему:

– Квасить кожи, ковать подковы жаргона хватит. А управлять заводами, на которых тысячи *рабочих* людей? Пирогов, Чебышев, Грановский должны, подобно Лобачевскому, писать диссертации на латыни? В барыше будем, если язык разовьет в себе язык технический, вообще отраслевые языки, подъязыки. В них, сударь, нуждаются грамотные люди, их даже в Москве теперь больше половины. Без того не прожить, нет-с!

«Тоже мне бездна обаяния, – возмутилась мысленно Настя. – Разделить языки! Из-за таких вот не разберешь теперь инструкцию к электрошипцам для укладки волос с увлажнителем. И Петербургом напрасно пылит, знал бы, что в 1918 году Москва вновь столицей станет!»

Предок ей был под стать:

– Русские довольно натерпелись от разноязычия! Худо, коль науке не прожить без жаргона для посвященных. Для народа он будет столь же невнятен, что язык церкви. Не часть он культурного языка! Выделившись из единого потока письменности, светская литература отличается охватом всей жизни, а ее язык играет роль образца. Наш общий язык равен культурному. Так уж случилось, что первый вырос в лоне беллетристики, сначала в басне, вообще в поэзии, потом в драматургии и прозе. Его и называть сейчас неслучайно стали литературным. Вот у меня цитата...

Он извлек выписку из речи, говоренной в начатии философических лекций сто лет тому назад ректором Московского университета: «Всего досаднее то, что протчим наукам, из которых иные и не всякому могут быть полезны, всякий человек на своем языке обучиться может. Напротив того, у философии, которая предписывает общие пути и средства человеческого благополучию, никто не может потребовать совета, когда не научится латыни... Что ж касается до изобилия русского языка, в том пред нами римляне похвалиться не могут. Нет такой мысли, кою бы по-русски изъяснить было невозможно... Итак, с Божиим споспешествованием начнем философию не так, чтобы разумел один из всей России или несколько человек, но так, чтобы каждый российский язык знающий мог удобно ею пользоваться».

– Мудрейшие слова! Теперь же русскому языку все по силам, это уже не то язык, про который жаловались, что непригоден для идей трудных. Ему развиваться неразрывно с реалистической литературой, словесно изображающей всю жизнь, учащей ее преобразовывать. Все пишущие по-русски – и мы, журналисты, и ученые – обязаны пользоваться тем единым языком, который выкристаллизовали сочинители, художественно облагородив все лучшее, жизнеспособное из речевых ресурсов.

– *Кристаллизовать, ресурсы*, – ехидно подхватил гость. – Кто благородил такие слова? Иль достаточно поэту написать: «Но панталоны, фрак, жилет, / Всех этих слов на русском нет»? *Аппарат, вагон, рельс* пришли из профессиональной речи, доказывая, что она часть общего языка. И в грамматике: *в силу того, по отношению к тому...* Все обсуждают темы, интересовавшие раньше лишь ученое сословие, отчего общеизвестны *рефлексия, абстракция, хронический, парализовать*. Образуя язык в языке, термины входят в культурное общее употребление, обрастая переносными смыслами: *в зените славы, ноль внимания, точка опоры*.

Воробьев предостерег:

– Почтение публики к науке столь велико, что как бы ни стали распространяться бредовые мысли, коль скоро выражены наподобие действительно достойных ученых фраз. Научный язык, свойственная ему иностранщина станут ширмой скудоумия, бегущего понятного языка.

Перебив гостя, начавшего было доказывать, что это касается уже до образования и ума, заявил:

– Разно мы думаем, милостивый государь! Заветы основоположников отечественного языка зывают меня припомнить народные *ждет-пождет, неправ кругом, знай колет, заведомо, надоедать, заядлый, неудачник* (ввел И. А. Гончарове «Обрыве»). Освященные авторитетом, приживаются даже диалектные *каравай, бирюк, тайга*. Получая в общем языке гражданство, они утверждают самобытность и чистоту, стальной скобою сбивая язык образованный и народный. Вот наш московский характер: *час битый ехала с Покровки, куда как хороши, не дамся я в обман*. Не должно мешать свободе мужицких слов. Богатый и прекрасный наш язык пусть доступен будет людям всех сословий. Все они делили славу Отечественной войны, не потерпели нашествия галлов, как предки их – ига татарского. Не быть чужому владычеству в священных пределах российской словесности! Таков завет детей 1812 года.

Настя аплодировала, забыв заветные *джинсы и дискотеки*. Вспомнились статьи, которые велели читать к сочинению: *реалии быта, продукт среды* и прочая заумь, сквозь которую со словарем не продерешься. *Красна девица, добрый молодец, очи соколиные, призадуматься, играючи да пируючи, людская молвь, конский топ, есть разгуляться где на воле*. Вот прелесть! Лишь придурок может упрекать поэта за введение в поэзию смелого просторечия: «Встает купец, идет разносчик, / На биржу тянется извозчик...»

Петербуржец кивал:

– Красиво для слуха русского, но блажен, кто верует! Как такими словами и оборотами серьезную статью написать? Взять труд доискаться до научной истины?

– Очень просто! – горячился Воробьев. – Чем плохи термины *шатун, коленчатый вал, поршень, пароход, промышленность! Окоём, наконец!* Куда как проще из Европы словечко приволочь, но не выразит оно душу народную. Минуй нас пуще всех печалей... Недаром Пушкин звал учиться у московских просвирен!

– Не учиться, а иногда прислушиваться! Не чистая монета эти запальчиво-полемические слова. Пушкин говорил: «Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отвлекаться от приобретенного веками. Писать единственно языком разговорным – значит не знать языка». По Пушкину, письменный и разговорный языки никогда не могут быть подобными, и нельзя отречься от приобретенного веками. Сам же обращался к «свежим вымыслам народным и странному просторечию, сначала презренному», лишь когда в зрелой словесности «язык условленный, избранный» наскучит умам своим однообразием. Привлекал народные элементы с оглядкой, придавая им стилистическую нагрузку, и избегал непонятного, экзотически областнического, жаргонного. Впрочем, потом и это освоили Лермонтов, Гоголь.

Воробьев стоял на своем:

– Недостает у изустного слова серьезности, важности для высоких материй, научных дел, так потрудитесь, господа, поройтесь в старинных книгах, в которых одного корня богатство. Оттуда черпали гении средства к изображению сложных идей, дум и чувств: *торжество, негодование, скрежет, непреодолимый*. Сближаясь с живой речью, мощный, свежий язык, о коем мечтали декабристы, весь в начертанном лоне старины: «Ум, алчущий познаний, я одаль вощал желанья», «Тиран, вострепещи!», «О, как на лире я потщусь того прославить, / Отечество мое кто от тебя избавит!», «Вотще коварство вокруг шипит – / Он наступил ему на выю»...

– Полагаете, так можно излагать науку? – искренне изумился гость, прервав самозабвенную декламацию. – Истинный творец нашего языка не принимал славянщину: из того, что многие ее слова и обороты счастливо заимствованы нашим обиходом, не следует, чтобы мы писали *да лобжет мя лобзанием* вместо *цалуй меня*. Книжность и разговорная стихия перестали отвечать нуждам общения; слаб, увы, был деловой язык. Вакуум заполнила иностранщина, которой немало и у любезных вам Крылова, Грибоедова, до уродцев *сделай дружбу, еще два дня терпения возьми*. Пушкина сместила мысль запретить «Бахчисарайский фонтан» из почтения к святыне Академического словаря, утвердившего неблажно составленное слово *водовет*.

– Но еще пуще пугали его в первобытном нашем языке европейское жеманство и французская утонченность, – стоял на своем Воробьев. – Он был против порока предшествующей эпохи – насильственного принорования всего русского ко всему европейскому, хоть и не предавал анафеме любое заимствование. Он не хотел вздыхать по-английски, любезничать по-французски, фантазировать по-немецки. Попасть в свою колею, стать на свою стезю.

– Верно! – вскричал собеседник. – Он и не уравнивал своенравно книжный язык с русским. Роль книжного наследия велика, но оно не основа. Пушкин скрестил книжную речь с народной, но отнюдь не культивировал диалекты, просторечие, ограниченный язык высшего общества. Его народность исторична, это освоение пригодных и жизнеспособных средств из любых источников. Ей не по пути ни с космополитами-карамзинистами и их *новым слогом* для дам-дворянок, ни с консервативно-националистическими монархистами-шишковцами. Она против их крайностей, категоричности...

### Истина открылась Пушкину

Из дальнейшего спора Настя узнала не только о войне Шишкова и Карамзина, о том, как готовилась почва для Пушкина, от которого идет нынешний наш язык, но и о славянофилах и западниках. Проза ровная, чистая, блестящая, не уступающая в выразительности и изящности лучшим образцам Европы, возникла впервые в «Бедной Лизе» и других сочинениях Н. М. Карамзина. Он сумел приохотить публику к *утонченности* (и слово введено им!), к чтению русских книг. Его повестями зачитывались, пруд за заставой у Симонова монастыря стал местом паломничества: «Но всего чаще привлекает меня к стенам С-ва монастыря – воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!»

Модный новый слог – сентиментализм – привлек внимание к внутреннему миру, чувствам человека. Изъясняться стали красиво, «чувствительно», добиваясь *элеганса*, приятности. Устраняли книжные периоды с *понеже, поелику, яко, зане*, разрабатывали синтаксис «неутомительных» предложений, перифраз, метафор, удачных оборотов. Ведь «девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме *колико*», а язык един для разговоров и книг, чтобы «писать, как говорят, и говорить, как пишут»...

Вскрывая потенции языка, Карамзин и его соратники отбирали слова, творили новые. *Благотворительность, взыскательность, достопримечательность, личность, вольнодумство, влияние, сосредоточить* – все это их придумки. Ввели иностранные *дуэт, карикатура, кризис, тост, эгоист*. Сложили поэтический словарь из разных родников: *твердь, длань, луна, бранный, таинственный, хладный, воздыхатель* – была бы сладость, нежность, пластичность, музыка на месте набившей оскомину громкости, пышности или рассудочной отвлеченности, гражданственности или иронии. Причислили сюда *ручей, рошу, домик*, а также *розы, мирты, лилеи* – лишь бы меланхолично, интимно. Даже в прозе Жуковского – замысловатая вычурность и поэтическая риторичность; из богатого и мощного русского слова – благопристойный, приторный, искусственно тощий язык.

«Писать, как говорят» оборачивалось формулой «надобно писать, как должны бы говорить». Устной культурной речи у общества, владевшего иностранными языками и знавшего отечественные книги, не было. Верная ориентация на живой язык имела узкую опору в *приятной речи* высшего общества, *в языке милых дам*, которые говорят по-французски или по-русски нерусскими фразами. Карамзинисты не столько писали, как говорят, сколько призывали говорить, как они пишут: «...русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом». Но у них не у всех был талант!

Основа литературного языка – живая речь, пропущенная через сито отбора, обработанная мастерами, облагороженная книжностью. Карамзинское сито из-за установки не на многообразие действительности, а на чувства от ее восприятия, причем чувства утонченные, аристократические, отметало слишком многое, например, *парень, шататься, не спускать, налегать на*. Все сводилось к манере изложения, а не к преобразованию языка. Шаг назад от просветителей XVIII века, которые в своем пусть негладком языке отражали обиходную крестьянскую и городскую струю.

*Новый слог* не был достаточно демократичен. Подчиненный вкусу дворян, бедный идейно и экспрессивно, он узко понимал живую речь, избегал свежей простонародности, ограничивал ее литературные функции. Желая, чтобы общество говорило, как они напишут, карамзинисты не имели успеха, ибо писали манерно, жеманно. Их язык изукрашен, слишком подчинен вкусу салонов, чтобы им начали все говорить. Слишком одинаков, чтобы беллетристика отразила им речевую жизнь страны. И он (это подчеркнул петербуржец) сковывал перспективы стилей – языков внутри языка, не учитывал даже природных различий книжной и разговорной речи, не совпадающих и внутри единого языка. Уже в 1843 году В. Г. Белинский заметил: «В сочинениях Карамзина все чуждо нашему времени – и чувства, и мысли, и слог, и самый язык».

Пушкин вышел за эти пределы, сочтя такую прозу детской, почитающей за низость изъяснять просто вещи самые обыкновенные и оживляемой обветшалыми украшениями и вялыми метафорами: «Никогда не скажут *дружба*, не прибавя «сие священное чувство, коего благородный пламень и проч.». Должно бы сказать *рано поутру*, а они пишут «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба». Для роста языка нужны все жизнеспособные ресурсы на народной базе.

По Карамзину, «кто не знает своего природного языка, тот, конечно, дурно воспитан; недостойн называться русским, кто не гордится языком Святослава, Владимира, Пожарского, Петра Великого». Но роль книжности автор «Бедной Лизы» принижал, страдал галломанией, пресловутым элегансом. Учувя это, на него не без основания *исполнился* Шишков, опубликовав в 1803 году знаменитое «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка», на которое откликнулись жертвы, – и пошло. Дискуссия не затронула принципиального понимания народности, но толкнула к решению вопроса национальной самобытности языка на совсем иной основе.

Шишковцы справедливо ругали карамзинистов за манерность, иностранщину, гладкую одинаковость языка. Приятность слога издевательски переводилась на простой язык: «Пестрые толпы сельских оред сплетаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит» – *Древнерусским девкам навстречу идут цыганки*; «Свирепая старица разрисовала стекла» – *Окна заиндевели*; «Когда путешествие сделалось потребностью души моей» – *Когда я любил путешествовать*. За критикой скрывался консерватизм, защита безнадежно устаревшего.

Желание сравнять книжный язык и разговорный Шишков воспринимал как попытку сделать равными всех людей, т. е. ниспровергнуть существующий строй по образцу ненавистной ему

Французской революции. По его мнению, «подпояшься и возьми дубину в руки» и «препояши чресла твоя и возьми жезл в руце твои» одинаково правильны на своем месте; нельзя лишь, начав «препояши чресла твоя», кончить «возьми дубину в руки» – неприлично, смешно. Он недопускал и заимствования, отвергая, скажем, *катастрофа, серьезный, моральный, энтузиазм, влиять* на. В слове *республика* ему слышалось «режь публику»!

Полемика обнажила две основы языка и разные этапы его развития. Для Шихова «чем древнее язык, чем меньше он пострадал переменами, тем он сильнее и богаче». По Карамзину, обогащение языка зависит от успехов общежития и словесности, от судьбы и природы; академия и писатели систематически образуют его, упорядочивая «самовластно рожденные с мыслями, мыслями одушевленные слова», открывают и показывают существующие в нем правила.

Истина открылась Пушкину: всесторонне освоить народные сокровища, утвердить на месте изысканного вкуса и безоглядного ретроградства мудрое чувство меры, благородную прелесть нагой простоты, точности, краткости, искренности выражения. «Истинный вкус, – утверждал он, – состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

Глубоко проникая в тайны историзма и народности, он увидел достоинства прозы, требующей мыслей и мыслей, не в украшателстве: «Первобытному нашему языку более пристали грубость и простота». И дал, как Крылов в баснях и Грибоедов в комедии, гениальные образцы действительно нового языка и слога в поэзии и прозе. Слог тем лучше, чем проще: «И в поэтический бокал / Воды я много подмешал» – подмешал, борясь со слащавой поэтичностью, от народа словарь, порядок слов, сжатость синтаксиса. Рядом и славянизмы обретают нужные краски, сливаются в необычные сочетания, нейтрализуются или обращаются в выразительные синонимы.

Сначала он вовлекал, но не дифференцировал *брада* и *борода*, *уста* и *губы*, *лоб* и *чело*. В «Руслане и Людмиле» они означают одно и то же содержательно и экспрессивно, разве только нужды стиха их мотивируют. Это шокировало: неприятно слово из обыкновенного быта в неожиданном соседстве с книжным. *Зажмурия очи; торжествуя, на дровнях обновляет путь* — странный переход от одной манеры речи к другой. «Какая радость: будет бал! / Девчонки прыгают заране», «В избушке, распевая, дева / Прядет, и, зимний друг ночей, / Трещит лучинка перед ней» – позвольте, барышень благородных и, вероятно, чиновных неучтиво называть девчонками, а простую крестьянскую девку смешно называть девою!

Родоначалник нашего языка быстро исправился. «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей». Сказав так, он заменил многоголосие языковых средств их соответствием теме и ситуации. Славянизмы остались для торжественной риторики, исторической стилизации, поэтичности. Или для сатиры, пародии, иронии. Как прекрасны они в строках: «И горний ангелов полет,

/ И гад морских подводный ход, / И жало мудрыя змеи / В уста замершие мои / Вложил десницею кровавой». Или: «Прошло сто лет – и юный град, / Полночных стран краса и диво, / Из тьмы лесов, из топи блат / Вознесся пышно, горделиво».

Взять слово из уст черни, оправить его так, что оно теряет грубость, – это народность, умение видеть мир глазами народа. Самобытность, по Гоголю, не в описании сарафана, но в духе народа. Органическое объединение просторечия с книжностью и заимствованиями в согласии с принципом соразмерности и сообразности дает гармоничное целое, логическую и эстетическую цельность. Пушкин оттого основоположник, что, как творец стилистических правил, слил воедино все жизнеспособное, коренное, хотя и разного происхождения, значения, открыв все пространство единой структуры русского языка, его перспективы. Лермонтов, Гоголь, Белинский, другие классики еще шире раздвинули границы литературного языка, создали в нем стили.

Они научили соразмерять повествование и описание, сближая язык с фольклором и живой речью, причем не только «в рассказах на родимый лад», где «над Москвой смеются или чиновников бранят». Нашли место и таким словам, как *батько, жинка, пан, хлопец, галушки*, и даже не претендующим на право общего употребления жаргонам. Вспомним жеманных дам города N, которые говорили «я облегчила себе нос, я обошлась посредством платка», а не *высморкалась*, или Ноздрева с его пестрейшими «Поздравь: продулся в пух!», «Не загни я после пароле на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк». Приемы бытописательства вскрыли богатые выразительные и изобразительные возможности.

Была отработана научная проза с отвлеченной философской и общественно-публицистической лексикой, ораторским синтаксисом. Введенные Белинским *созерцание, замкнутый в себе, субъективное*, по мнению ретроградов, «непонятные, ничего не выражающие», выдержали проверку временем. Творчество блестящего Добролюбова совершенствует и закрепляет единые нормы выражения.

Вместе с закреплением единства языка бесконечно усложняющиеся цели и условия общения вырисовывают и системы стилей. Это стили индивидуальные, связанные с манерой автора, и функциональные, представляющие собой типизированные наборы особых элементов и способы отбора и композиции общих элементов. Соотносительные, параллельные, синонимические средства все больше сближаются благодаря применению общих норм в разных сферах деятельности людей с содержанием и типом мышления.

Из одного корня вырастают литературный книжный язык, существующий в письменной форме, и литературный разговорный язык, существующий преимущественно в устной форме. На них строится система стилей – художественного, делового, научного. Внешнее единство предполагает внутреннее расслоение, цельность – многоцветье, свободу речи индивидуумов и разных сфер жизни. Конечно, это не разделенные железным занавесом стили-языки: просто одна структура предстает в стольких обликах, сколько есть на свете типовых тем и даровитых авторов.

### **Потомки не оскорбят ваш прах**

В оценке этого и расходились Воробьев и его коллега. Не видя диалектики внутренне разнообразного сложного целого и разных его применений, они так и не пришли к согласию. Один ради единства языка протестовал против расслоения на стили; другой ради утверждения стилей соглашался на распад языка. Остроту спору придавали бурно развивающиеся наука и техника, неизбежно требующие своего языкового воплощения.

По мнению столичного гостя, сообразность и соразмерность – это принцип расслоения языка соответственно теме, логико-эмоциональному содержанию, сфере общения. Доказал это не кто иной, как Пушкин, давший одного языка образцы поэзии, прозы *изящной и метафизической*, от коей научились изъясняться по-русски и политика, и философия, и критика. Они отошли от напыщенности старого слога и от вычурной изукрашенности на западный манер слога нового. На этой основе расцветать и языку науки.

Горячась, петербуржец цитировал Пушкина: «Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком малопонятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутимым». И победно восклицал:

– Малопонятному этому для непосвященных языку расцветать! Языку науки суждено стать могучей ветвью, пусть в рамках общих норм, и расти – в Москве, Петербурге, в России.

Воробьев еще пуще стоял на своем:

– Трудом Пушкина, его предшественников и последователей русский язык вобрал в себя лучшее из национально-языковой культуры. Его границы раздвинуты на все пространство, потомкам остается идти по проторенному пути. Никакой индивидуальности, будь то слог личности или интересы сословия ученых, не дозволено нарушать установившийся общий язык. Он богат и гибок, полно и самобытно выражает всё, что существует в мире, – даже дух иных народов и языков Востока и Запада выражаем на нем с полнотою необыкновенною. В изображении русского общества герои нашей литературы говорят по-разному в разной обстановке, в разные эпохи, о разных делах, но на одном языке.

Извинившись, что не достаивает согласиться, он продолжал:

– Да, Пушкин писал метафизическую прозу. Но разве на другом языке, чем художественную? В стихах у него поэтические украшения, условности, хотя вообще-то он сближал поэзию и прозу. Объединял, а не разъединял разные пласты и применения единого языка, созданного на основе всеохватывающей народности, историзма, благородной простоты. Даже разговорная и книжная речь нераздельны: природные различия каждой не мешают первую изображать на письме, а вторую произносить устно – в присутствии, с кафедры университета. Общие нормы, преодолевая пережитки разноязычия и выявляя скрытые потенции языка, отвечают интересам общества и оттого осознанно приняты. Они закреплены авторитетом и талантом писателей, давших примеры для подражания. Язык наш совершенен, коль скоро можно писать так, как они, и един – как един великий русский народ.

– Народ не мифическая абстракция, в нем слои, профессии, – вскричал петербуржец. – Общий язык! Жалует царь, да не милует псарь! Будут, уже есть особые отраслевые языки, ну, пусть стили. Научный обособляется, и отнюдь не на окраине жизни и речи. В Сибири свой язык, и местные сочинители могут сделать его литературным. Россия многонациональна, и инородное население, говоря по-русски, с ростом грамотности создаст свои варианты русского литературного языка.

– Тогда караул надобно кричать. Это похуже речевой неразберихи допушкинской поры будет. У каждого свой говор, а как тогда понимать друг друга?

– Как понимают друг друга австрияки и немцы? Или американцы и британцы? Особые языки с одной исходной основой. Трудности понимания вознаграждаются разнообразием национальных красок. Американский вариант английского языка, британский, индийский – все выгоды на их стороне. И мы духовно богаче оттого, что есть московское и петербургское произношение, что вместо наших **кладь, драчена, вставочка** вы говорите *багаж, омлет, ручка*. Не откажемся мы и от **шти** из-за вашего *щи!*

– Не гневайтесь на меня, милостивый государь, – совсем серьезно подытожил Воробьев, – но у великого русского языка должен быть один язык, общие нормы. Во всяком случае никаких территориальных вариантов! Вы в Петербурге – как хотите, а Москва, родоначальница и хранительница нашего единства, постоит и за цельность языка, добытую трудом, потом и кровью. Так будет-с!

Наговорившись всласть, приятели, каждый по-своему, мечтали: заглянуть бы вперед лет эдак на сто, в конец XX века. Каким он станет, русский язык?

Жалея, что не в силах их просветить, Настя про себя отвечала: таким будет, каков сейчас, – богатым, всемогущим! Даже ради науки люди не пожертвуют поэзией. А она обеспечит языку цельность, что, кстати, не значит одинаковости. Если нет, то, по лермонтовской «Думе», «прах наш, с строгостью судьбы и гражданина, / Потомок оскорбит презрительным стихом, / Насмешкой горькою обманутого сына / Над промотавшимся отцом». Нет, нет, потомки не оскорбят ваш прах!

Вырываясь из-под пелены растроганности, незримая свидетельница беседы людей середины XIX века соображала уже про себя. Ясное дело, время после них щедро на таланты и события. Обогащаясь с быстротой поражающей, русский язык станет мировым, зазвучит в космосе. Толстой и Чехов, Горький и Маяковский, Шолохов и Леонов, сотни гениев, ученых и общественных деятелей с общечеловеческим именем отшлифуют его.

Мы с вами одноязычники, неприкосновенно бережем язык, развивая его. Меняем непринципиально, не в сути структуры и состава. Растет словарь, устраняются дублеты, упрощаются конструкции, совершенствуется орфография. Тут Настя вспомнила *кадку*: орфография, может, и не так уж усовершенствовалась, во всяком случае не намного легче стала... Мысль направилась по другому пути. Ясное дело, изменилась жизнь, и вы бы не поняли многих слов. Но язык тот же. Един во внутреннем разнообразии. Один на все случаи жизни, но не одинаков в разных проявлениях. Ученые не так говорят, как школьники. Обособился еще язык радио, кино, телевидения. И газетный язык

отличается. Проблемы те же: хранить чистоту, развивать культуру речи, бороться с иностранщиной, с жаргоном...

Тут Настя вновь споткнулась: так уж плох этот жаргон? Что это все пристали – словечка яркого не скажи! И вновь перебрала беседу: прапрадед всё же дальновиднее. Язык науки не всем понятен и основой общей речи стать не может. Его излишнее обособление, наукообразная заумь возмущают публику. Основные нормы идут по-прежнему из художественной литературы, даже из литературы XIX века! Из нее подтверждаются примерами правила в учебниках и значения слов в словарях.

Вспомнив о цели путешествия, Настя усмехнулась: «Нет вопроса, понимаю ли предка, – это наш нынешний язык. Хоть кое-что странно: не вполне правильны эти **бежать чего, ищет шеголяться, умер во младенчестве, об ней воспоминанье, вихорь быстрых пар, конка, ресторация**. Сейчас, пожалуй, никто не скажет **туда зарею поспешаю** (когда взошла заря)... И эти слова-ерсы: **извольте знать-с, я чихнул-с**. По-стариковски как-то. «Ваше благородие, госпожа удача!» В самом деле, удача, что один язык».

Вспомнился парадокс университетского лектора: развитие высокоорганизованного литературного языка в том и заключается, что он не меняется. Темп движения снижен, язык устойчив во времени и пространстве, общеобязателен, но разве не выросли темпы внутреннего совершенствования, шлифовки? Прав прапрадед, хоть недооценивает, чудак, стили, особенно научный: язык един.

Впрочем, как он может не быть един? Пушкин объединил, привел в равновесие. До него разные, что ли, языки были? Что значит – разрыв между литературным языком и живым? Ясное дело, бабки в деревне не умеют правильно говорить, тем хуже для них. При чем тут объединение культурного языка и сырого народного? Как иллюзия-то появилась, которую Пушкин разрушил, будто можно язык строить по законам, чуждым живой речи народа? Что значит – изолированные типы книжного и разговорного языка, вместо которого образованные люди пользовались французским? Как жили русские с этими разгороженными языками?

Настя в недоумении погладила свой волшебный обруч и услышала:

– Пушкин синтезировал стихии, которые были обособлены. В донациональную эпоху их даже научно упорядочил Ломоносов в теории трех штилей. Это учение в свою очередь было попыткой преодолеть наличие прямо-таки разных языков в эпоху русской народности. Надо размежеваться, чтобы объединиться. Признать полезные средства разных языков одним языком, но не все и разграничив по месту в речи, не смешивая. Голос талисмана предупредил вопрос:

– Люди, особенно специально учившиеся, понимали все штили. В целом же общество говорило неодинаково – похоже, но не всем все было понятно. Это мешало развитию торговли, науки, промышленности, культуры, мешало формированию нации.

Настя представила себе: один говорит по-русски, другой – по-украински, как-то друг друга понимают, потому что языки близкие, но общаться трудно. Грамотные владеют обоими языками, говорят то так, то эдак, а пишут только по-украински. Ясное дело, жизнь заставит объединить языки, но тут пойдет несусветная путаница: *возьми дубину в руце твоя!* Здорово, что гению пришло в голову навести порядок, закрепить уже в рамках единого языка одно за высокими материями, другое – за обыденными. «Основа культуры – понимание меры во всем» – это Настя к месту вспомнила любимую папину присказку. Только как получилось, что люди одного народа обладали разными языками? Не так уж интересно, но все-таки...

– Давай посмотрим, – уловила Настя волшебный голос. – Гоп-ля!

Путешественницы бросили прощальный взор на бесчисленные церкви на холмах пересеченного рельефа, ныне скрытого высотными зданиями, на одно- и двухэтажные особняки, многие с магазинами и мастерскими внизу. Промелькнули Пречистинка с забавной каланчой на пожарном депо, Остоженка с Зачатьевским монастырем и зданием Коммерческого училища, неправильный круг Земляного города, обхватившего благоустроенный центр с Кремлем, Китай-городом и Белым городом, уходящим в Замоскворечье, а там, за Валом, нынешним Садовым кольцом, угадывались Пресня, Преображенка, Даниловка, другие фабричные окраины, заводы, склады, дым, копать...

«Покуда я живу, клянусь, друзья, не разлюбить Москву». Настя вспомнила эти строки Лермонтова. Он жил на Малой Молчановке, любовался зарей над Арбатом и через всю жизнь пронес сыновью преданность родному городу, где священен каждый камень.

Но вот уже нет фабричных гудков, плывет перезвон колоколов. Вырисовывается иная Москва – дворянская, боярская, почти усадебная. Многие улицы не замощены булыжником, есть деревянные мостовые. Меньше каменных домов, и далеко не все стоят в линию – вдоль улицы, как повелел



император Петр I: прячутся себе в глубине дворов, как в поместьях. Возведены, правда, знакомые Насте шедевры классицизма – дом Пашкова, творение зодчего В. И. Баженова, и здание Благородного собрания, созданное архитектором М. Ф. Казаковым.

Строится первый водопровод – Мытищинский; акведук его будет восхищать москвичей будущего.

Вечерами видны плоды указа 1730 года «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей». В городе 217 тысяч жителей – втрое меньше, чем в середине XIX века: чума и чумной бунт 1771 года унесли 57 тысяч жизней, оставив след в виде Ваганьковского кладбища.

– Слушай, – ощутила Настя благоговейный шепот, – это кремлевские соборы. Крестный ход с чудотворным образом Пресвятой Богородицы Смоленския из Успенского собора в Новодевичий монастырь...

## У ИСТОКОВ

### В гостях девица Олимпия

В золотом XVIII веке, в «безумном и мудром столетии», клан Воробьевых, как никогда, разнообразен в занятиях. Отстав от всякого крестьянского дела, он разметался по России. Те, кто остался верен Москве, с тех пор журналисты, учителя, врачи, составившие слой общества, который потом назвали *интеллигенцией*.

Сергей Петрович Воробьев, прямой Настин предок, служит переводчиком в компании, издающей книги по медицине, военному делу, истории, географии. Пришел в гости, любит сказать:

– Знаю опытом, совершенно удостоверен, что возмогу льститься передать по-русски идеи трудные, новые мысли, чувства. Не терплю дворянского мнения, будто переводы и отечественные сочинения лишь тем нравятся, кто по незнанию чужестранных языков европейские читать не может. Почитаю по долгу звания своего пещись о приведении наук в России в цветущее состояние и стараться о доставлении публике российских произведений. Польза от сего происходящая ощутительна в рассуждении как просвещения, так и российского слова. Надеюсь больше на свое рвение, усердие к пользам дела, нежели на слабые мои способности.

Не зря он так говорит, пояснила Гривна. Задача в самом деле не из легких: недостаточен словарь, оковой висит книжный синтаксис. Некий переводчик Волков, его знакомый, не справившись с передачей терминов, покончил жизнь самоубийством. Особо мучит нехватка слов, подходящих обозначить понятия, с которыми знакомят переводимые книги. Сохранять иностранные термины? И так их избыток, да и читателям непонятно. Их приходится пояснять-комментировать: **въехал в порт, т. е. в пристанище; высокий патрон (или благодетель); лакеям (служителям) в те апартаменты не входить; с крепкими резонами (или доводами)**. Опускать совсем негоже, вот и ищутся соответствия даже уже заимствованным: **домоуправитель, управление, расстояние, спутник** вместо *эконом, дирекция, дистанция, сателлит*. Появляются кальки: **полуостров, солнцестояние** на месте *Hal-binsel, Sonnenstant, произведение, наблюдение* – *productus, observo*.

Графический знак нуля называют **ОНИК** и *цифра*: **О – оник, имянуется цифра, си есть ничтоже; О – цифра, ничто; Ноль, или цифра, сиречь за ничто зовется** (в арифметиках Копиевского, Магницкого, Киприянова начала XVIII века).

Крепнут единая морфология и фонетика, но словоупотребление очень пестрое. Не то чтобы каждый говорил как Бог на душу положит, но обычаи разных слоев общества не приведены к общему знаменателю. Стилистически не дифференцированы *опять* и **паки (проговорив сие, садится он паки), только и токмо, ягненок и агнец, лоб и чело, дочь и дщерь, борода и брада, мороз и мраз**. Книжные слова нейтральны, в письме держатся устойчиво и немотивированно, разве в обыденном разговоре встречаются реже.

Сергей Петрович, к примеру, оставляет червям **абие, семо и овамо, говядо**, но нет-нет да и поставит **вертоград, собор, лествица, днесь** (а не *сад, собрание, лестница, сегодня*), **аще, наипаче, яко, врачество, обрящет, отверстые очи, прободать** (*прободная язва* – и сейчас так говорят, отметила про себя Настя). Не всегда видит он и оттенки просторечных слов: «Вдова **поташилась** в С.-Петербург искать правосудия» – без намека на насмешку, все равно что *поехала, отправилась*. Независимо от

пристойности материи употребляет **клепать и шпетить** наряду с *пенять* и *журить*, **отделаться, ни уха ни рыла, остервениться, перемолол всю книгу и изрядно понаблещился**.

Ревностно преданные желанию императрицы во всем иметь порядок, екатерининские деятели наряду с Академией наук учреждают Российскую академию – центр изучения языка и словесности.

Княгиня Е. Р. Дашкова, глава обеих, поставит цель издать «Атлас Российский», описать первооткрытия и все природные богатства и обилие России и Сибири, развить математику, вообще заботиться о *приращении наук* в отечестве, а также собрать и возвеличить, усовершенствовать русское слово, показав его пространство и красоту.

Чтобы вычистилось оно и процветало, нужно прежде всего устранить несвойственные или паче обезображивающие его иностранные речения. Неприязнь к галломании – модному **чужебесию** и другим **бесиям** – маниям (из многих таких слов уцелеет одно *мракобесие*) различно отражается в изданиях вроде «Собеседника любителей Российского слова», где печатается сама **императрикс**, и в прогрессивных журналах – в новиковских «Трутенъ», «Живописец».

Пока же в речи безразлично смешивают средства разных окрасок, подобно тому как в жизни соединяют передовое и реакционное. Рядом с открытием в Москве университета и первой публичной библиотеки-читальни, насаждением малых, средних и главных училищ, издательского дела и книготорговли, просвещением даже третьего сословия, отчасти простонародья, все новые и новые грамоты жалуют помещикам исключительное, кроме городов, право владеть землей и *крещеной собственностью*, продавать крепостных как скот, ссылать их в Сибирь. Феодальный строй разлагается, усиливая рабство. Научные, географические, военные деяния (Ползунов, Кулибин, Беринг, Суворов, Ушаков) уживаются с захватническими устремлениями, общей отсталостью. Освоена Аляска, чтобы через столетие быть бездарно проданной. «Ура» революционной Франции гложет в панике перед «беспощадным русским бунтом» Пугачева.

Передовые люди с забытыми и громкими, живущими в истории именами стремятся устранить заскорузлые несуразности. Без единого языка не сформировать русской нации, не развить культуры, промышленности и ремесел, товарных отношений в сельском хозяйстве, не достичь повсеместной грамоты.

Настя в доме Сергея Петровича, когда там гостит проездом девица Олимпия – из тех Воробьевых, предок которых получил по смерти за воинские заслуги дворянское звание от Петра I. Липочка воспитывалась при гувернантке-француженке, провела зиму в Петербурге у знакомых из большого света, а теперь возвращается в поместье под Тулой. Не без иронии смотрела она на московское чаепитие; в столице, привыкшей к кофею, принято было посмеиваться над заморской заправкой, столь привившейся в Москве, узнавшей ее лет сто тому назад и с каждым годом множившей даже специальные чайные лавки. Быв хорошо принята, она уже одним этим не приводила московскую родню в восторг. Но молодежь с затаенным дыханием слушала рассказы гостыи о столичной жизни.

– По чести говорю, ужесть как они славны. *Беспримерные щеголи*. Grand Dieu, я бесподобно утешалась: у них все *славно* – слог *растеган*, мысли прыгаючи, шутят славно – умора! Это нас, щеголих, вечно прельщает. Пуще всего они ластят тем, что никак с тобой не спорят, стараются оказывать учтивости. И без всякой диссимюляции, если имеют инклинацию.

– Значит, без притворства, если имеют склонность? – робко переспросила одна из слушательниц.

Настя про себя вспомнила: *кадрит, ухлѣстывает, подбивает клинья*. Далекое ушел век XX от XVIII!..

– Это все равно. Только склонность и ко другу иметь можно, а инклинация к одному амуру надлежит. Щеголь рассуждает так: какая польза в науках? Науками ли приходят в любовь у прекрасного пола? Его наука знать одеваться со вкусом, чесать волосы по моде, сидеть *разбросану*, говорить трогательные безделки, иметь пленящую походку, быть совсем *развязану*. Со щеголихами он смел до наглости, жив до дерзости. Его резонеман: с которою машусь, ту одну хвалю. – Липочка отглотнула чаю, поморщилась и продолжала: – На меня один граф, резвый робенок, бросил раз гнилой взгляд и начал угодности делать. Потом вдруг: «Э, кстати, сударыня, сказать ли вам новость? Вить я влюблен в вас до дурачества. Вы своими прелестями так вскружили мне голову, что *я не в своей сижу тарелке*».

– А ты ему что ответствовала? – ахнули московские родственницы.

– Я была в широкой юбке – теперь модно во всем вольность: такие, как у вас, узкие маньки только простолюдинки носят. Я юбкой взмахнула и ему: шутишь! О *bonheur*, ты ко мне пылаешь? Ужесть как славно себя раскрываешь. А он: беспримерно славно, барьшгая, что мне нужды, каковы это почитаете, резвостью или дурачеством, только я вам говорю в настоящую, что дурачусь!

– Дурачиться? – разочарованно протянула младшая из слушательниц.

– Так это значит любит! – победоносно и снисходительно пояснила Липочка. – Когда двое смертельно друг в друга влюблены, это называется *дурачиться до безумия*. Они располагают дни так, чтобы всегда вместе быть: ездят в комедию, в маскарад, в концерты, на прогулки за город. Только сейчас по-дедовски не дурачатся и друг друга бесподобно не терзают. Щеголь держит щеголиху своим болванчиком до того времени, как встретится другая.

— Како, како? – вмешался священник Григорий, единственное лицо духовного сана среди Воробьевых. – Аще и не вем тя, кто еси! Егда узрех тя, абие уразумех, яко ты печешися свое благонравие очистити. Тьфу!

— Полноте, отец Григорий, – вмешался Сергей Петрович. Изъявив сожаление свое о том, что теперь говорят наподобие французских романов, объяснил: – *idole de mon ame* – кумир моя душа. Кумир – по-древнему *болван*. Также вместо *куры строить* говорят *строить дворики*.

— Оставя прелесть идольского служения, – стоял на своем священник, однако успокаиваясь и переходя на более внятный язык, – предки наши из презрения к языческим кумирам назвали их болванами. Мы же, гнушаяся прежним суеверием, означаем наименованием сим дураков в таком смысле, что дурак, равно как и идол, наружное токмо с человеком подобие имеют. В превосходительном степени говариваем *болванище*. И непристойно о девице сие слово, пусть в уменьшительном степени!

Но Липа поднаторела парировать стариковские нравоучения:

— Вы так темны в свете, что по сию пору не приметите, что изречение «жена да убоится своего мужа» ничуть не славно и совсем не ловко. Вон папахен мой обходится с матушкою по старинке: брань, а то и пощечина – всё его к ней ласкательство! Он ей делает грубость палкою, а она в уме так развязана, что не знает ретироваться в свет. Беспимерные люди! Нет, по счастью поехала я в столицу, подвинулась в свет, разняла глаза и выкинула весь тот из головы вздор, какой посадили во мне родители, поправила опрокинутое понятие, научилась говорить, познакомилась со щеголями и щеголихами, сделалась человеком.

— А как же граф? – любопытствовали слушательницы. – Он что... э, э... не держит тебя уже болванчиком? Мы подумали, ты замуж за него выйдешь...

— Держит и никак не отстает. Как привяжется ко мне со своими декларациями и клятвами, что от любви сходит с ума, то я говорю ему: отцепись, перестань шутить, вить неутешно слушать вздор. Тогда он *скачет*, а мне остается взять обморок. Пусть как до меня от других щеголих падает!

— Вертопрашки вы с вашими франтами и вертопрахами! – не выдержал и рассудительный Сергей Петрович. – Кочевряжешься, так поезжай в деревню, живи в девках. Или мужа там найди, почище твоего отца!

— Я хочу в графини. Я резонирую, что не славно быть мужу ужасно влюблену в свою жену. Ах, как неловко: муж *растрепан* от жены и не дает ей шагу ступить. Надобно беспимерно обоих свободу уважать. Ежели так, oh, que nous sommes heugoux! Замуж за графа! Пришла, увидела, победила. А начнет при мне *строить дворики*, я его так проучу, что ото всякой щеголихи тотчас на четырех ногах поскачет!

Все одобрительно засмеялись. Отец Григорий, недоверчиво поглаживая окладистую бороду, поправил:

— Кесарь рек: придох, видех, победах! – И наставительно добавил: – Токмо березета с графом российский язык, тако славный от толиких веков. Иновернии от разных стран приходящи, своестранная речения в разговоры и в книги привнесоша. И тако чистота славенская засыпая чужестранных языков в пепел. Аз стражду паче всех от сего уродства.

— Батюшка, – запротестовали кругом. – Мы Липочку лучше, чем вас, понимаем. Язык этот в нынешнем веке темен. Сергей Петрович, скажите!

Сергей Петрович откашлялся и с охотой начал рассуждать:

– Милые друзья, смешон модный женский слог, на мой вкус. Пересыпан иноязычными словами и просторечьем, слова сочетает по чуждым нашему уму законам. Ты уж прости, Липа, за правду. Вот послушайте, что мудрейший Василий Григорьевич пишет.

Подошел к ларцу, вынул любимого своего Третьяковского и прочел как из пророка:

— «Язык словенский ныне жесток моим ушам слышится, хотя прежде сего не только я им писывал, но и разговаривал со всеми». Вот как он оправдывает свой перевод «Езды в остров любви»: «На меня, прошу покорно, не изволте погневаться (буде вы еще глубокословныя держитесь славенщины), что я оную не словенским языком перевел, но почти самым простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим. Сие я учинил следующих ради причин. Первая: язык словенский у

нас есть язык церковный, а сия книга мирская. Другая: язык словенский в нынешнем веке очень темен, и многия его наши читая не понимают». Позже, правда, он вроде отрешивается от этого народного призыва: «С умом ли общим употреблением называть, какое имеют деревенские мужики, хотя их и больше... ибо годится ль перенимать речи у сапожников или у ямщика?»

Сергей Петрович продолжал задумчиво:

– Искушенный писатель Сумароков и то погрешает против правил, когда покушается языком словенским писать, в чем и уличаем Третьяковским. Именно последний изрядно упорядочил правописание и грамматику. Словенский язык становится все более ограничен жанрово, для многих маловразумителен. Жаль, конечно. Но вполне приличен он лишь в устах нашего отца Григория и иже с ним – детством и службой приобщены они к церковным книгам.

— О пользе книг церковных писывал Ломоносов, – жадничал оправдаться отец Григорий. – От них облагораживающая устойчивость корней. Они суть общий знаменатель, к которому должно приводить все речевое богатство во времени и пространстве, заботясь о неразрывности связей наших со славянским миром. Первооснова, запечатленная в древних книгах, позволила, как он писал, «народу Российскому, по великому пространству обитающему, не взирая на дальное расстояние, говорить повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. По времени же рассуждая, видим, что Российский язык от владения Владимирова до нынешнего века, больше семи сот лет, не столько отменился, чтобы старого разуместь не можно было».

Сергей Петрович ехидно усмехнулся:

— Вспомните и такое: **В древние времена, когда славенский народ не знал употребления письменно изображать свои мысли, которые тогда были тесно ограничены для неведения многих вещей и действий, ученым народам известных; тогда и язык его не мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума.** Сказав сие, Ломоносов сам сочинил – на своей, русской основе – *насос, опыт, частица, явление, равновесие, упругость, сопротивление, жидкие тела, земная ось*. В мирских делах, научных сочинениях, повестях не обойтись книжным языком. В переводах, поверьте мне, тем паче, то есть тем более.

Но отец Григорий упрямец:

— Оттого Ломоносов и рассудил три штиля: высокой, посредственный, низкой. **Как матери, которые словом человеческим изображаются, различествуют по мере своей разной важности, так и российский язык чрез употребление книг церковных по приличности имеет разные ряды речений.** Различив язык славенский и российский, он установил штиля по степени сочленения их средств. Главный, высокой, составлен из речений, употребительных в обоих наречиях, и из славенских, россиянам вразумительных, не весьма обветшалых.

Им пишутся оды, героические поэмы, прозаические речи о важных материях, когда они от обыкновенной простоты к великолепию возвышаются.

Сим штилем преимуществует российский язык пред многими европейскими. От него **богатство к сильному изображению идей важных и высоких, от него довольство российского слова...**

– **...которое и собственным своим достатком велико!** – закончил с ударением оборванные было высказывания ломоносовские Сергей Петрович. – У нас есть и свой письменный язык, коим издавна пишутся юридические, дипломатические, канцелярские, хозяйственные бумаги. Есть разные устные языки: образованного общества, говорящего по-французски, посадских людей – горожан, необозримое море крестьянских говоров. Язык фольклора обладает общенародными чертами, выходит за пределы отдельных наречий и говоров.

Слушая краем уха, как длительное употребление и коллективный талант выработали во всех этих языках устойчивые, однородные по смыслу и по грамматике обороты, не менее ценные и общие, чем заданные книгами, Настя потешалась: «Ну и времечко поп защищает – специальный штиль для писания од, прославления царя! Вот хохма, делать им нечего. Сам Ломоносов научные рассуждения в стихах излагал. Каждая эпоха должна делать именно то, что она должна делать. Один к одному! Ничего, слиняет высокий стиль, как и сам самодержавный царь!»

### Смешивать ли штиля?

Отец Григорий размусливал: у нас-де великое множество слов собственно российских, по свойству коих и некоторые из *словенского* почерпнутые смысл получили. Но опора в *церковных* книгах, и язык наш от природы своей *славено-российский*. По счастью: не было бы в названных вами

языках общего фундамента. Что до новшеств и разных материй, то по пристойности оных речения располагаются в штили низкой и средний. Средний предназначен для трагедий, сатиры, описаний дел достопамятных и учений благородных. Он допускает славянские речения с великою осторожностью и низкие слова, но остерегаясь опуститься в подлость. Низкий штиль от славянских речений вовсе удаляется и надлежит до комедий, песен, в прозе дружеских писем, описаний дел обыкновенных. Ныне же говорят и пишут даже, забыв заветы эти, все одинаково.

– Как не смешивать штили, коли изменились жанры, к коим они привязаны? – спросил Сергей Петрович. – Новые темы, журналистика размывают границы. Конец классицизма и его прямолинейных единств принес открытие: средства языка зависят не от жанра, а от содержания. Нужны не штили языка, а стили речи и взаимопроникновение средств.

Он опять подошел к книжному ларцу: переводы Вольтера, Руссо, Дидро, Лессинга, Свифта, книги русских писателей, подшивки газеты «Московские ведомости» и прибавления к ней – журналы «Магазин натуральной истории», «Экономический магазин», первое в России «Детское чтение для сердца и разума». Страна старательно училась, на книги денег не жалели. Заглядывая через плечо, Настя следила, как чтец, привычно раскрывая тома, с тщанием выбирал отрывки.

– **Облобызай своих ты чад... Живи и распложай науки, и тут же: на истину смотря... нередко ей давал щелчки.** Державин в оде прибегает к просторечью ради слога забавности! Что говорить о трагедии, героической песне, если их теме потребны сословная характеристика, острая ситуация, злободневная мысль? Нужны жизненная сила, яркость выражения. У неумелых авторов, тупо следующих канонам классической комедии, отрицательный персонаж обязательно окает, цокает, говорит вульгарные слова – это, конечно, навязчивая условность, но у способных сочинителей умеренное вкрапление таких примет придает аромат даже трагедии. Да и славянизмы, вопреки предписаниям учения о трех штилях, не принадлежность высоких жанров, не только способ возвышаться к важному великолепию. Они вообще облагораживают речь и могут сочетаться с нейтральными и просторечными словами, создавая иронию или поэтичность, рассудочность или торжественность. Они вовлекаются в путевые записки, заметки о делах обыкновенных. Вот Фонвизин тщательно отбирает слова из всedневногo домашнего обихода; остерегаясь грубого, дает права гражданства красочным и ярким: **осанка, ухватки, пропасть (много), пешочком, не стоит ни гроша, все люди – и славны бубны за горами!** Но переводы из классики, иные сочинения, даже комедии у него не чужды и книжных слов. – Сергей Петрович полистал страницы. – Умиравший отец так, например, обращается к сыну: «Вседневно примечаю я истощение сил моих, конец мой приближается, и воображение мучительное меня снедает, что тебя оставлю в сем море, волнующемся беспрестанно, на горизонте коего пороки и беззакония только видимы, а добродетель, волнами биющаяся, без пристанища оным противоборствующая, наконец бездной поглощена бывает. Сие-то воображение меня более смущает, нежели пресечение дней моих мне прискорбие нанести может». Филологи, поэты, ученые, публицисты да и просто люди, не прислушивающиеся к авторитетам, устанавливают новые стилевые градации – не по жанру, а по смыслу. И это размежевание подсказал Ломоносов: *ангельский глас – человеческий голос, пошел не путем просителя, а стезею истца, В поте лица труд совершил, но в поту домой прибежал.* Типы слов все меньше привязаны к типам текстов, взаимодействуют не как противопоставленные системы, а как противопоставления внутри одной системы. Мертвый язык книги и живой язык разговора сливаются, разумеется, с стилистическим разграничением на основе функции у Кантемира, Тредиаковского, Сумарокова. Они упорядочивают словоупотребление, обогащают общий язык разными сокровищами. Стилиевые дифференциации сменяются дифференциациями стилистическими. С 60-х годов кончается ломоносовский период, теперь складывается новый наш образованный язык – единый, но с разными средствами для отражения социально-профессиональных и иных черт, разных предметов рассуждения. Разговорная стихия в нем ведет, а книжная придает благородства: получается остроумная, расцвеченная, непринужденная проза, какой еще не видывали в России. Она очищена и от архаичного, и от иностранного. **Потакать, безделка, болтать, ворчать, водиться с кем, охотник до, вскружить голову, в ус не дуть, водить за нос, унести ноги соседствуют с будущность, товарищество, изобретательность, прибыльность, развитие, торговое предприятие.** Новиков употребил слово *хамелеон* в переносном смысле. Отменно ловко!

Насте подумалось: «А знал ли Чехов, что не он первый?» Не без усилия следила она, как чтец выискивал примеры, где, по его мнению, авторы мастерски справлялись с изложением идей трудных.

– «Известно всем, имеющим хотя бы некоторые сведения о науках, что они суть плоды созревшего бессмертного человеческого духа, одаренного от природы способностью понимать или заключать о бесконечности как времени, или продолжения, так и пространства, или неограниченности...

Причина всех заблуждений человеческих есть невежество, а совершенства – знание» (из Новикова). «Сила и право совершенно различны как в существе своем, так и в образе действия. Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры» (из Фонвизина).

– Превосходно, а? – Сергей Петрович торжественно оглядел примолкнувших слушателей: – А ведь недавно писали уродливо. Вот «Ведомости» от 28 января 1704 года: «На Москве солдатская жена родила женска полу младенца мертва о дву главах, и те главы от друг друга отделены особь и со всеми своими суставами и чувствами совершенны, а руки и ноги и все тело так, как единому человеку природно имети. О чем и от ученых многие удивляются». Ниже всякой посредственности, синтаксис корявый, и слова какие-то вымученные – и не разговорные, и не книжные. В той же газете 15 июля 1709 года читаем: «Как его светлость князь Меншиков 28 июня за неприятелем вслед пошел, то хотя оной всякое прилежание в том чинил, однакож неприятеля, которой, оставя большую часть своего багажу, наскоро к Днепру бежал, не мог прежде 30 июня нагнати, которого числа оной его недалеко от переволочни в зело крепком месте, под горою при Днепре стоящего обрел и от взятого в полон...» Ну и так далее. Скажу не обинуясь, Ломоносову и то не удалось окончательно сделать сердцевинной предложение. Утверждая его в «Кратком руководстве к красноречию» основой сопряжения простых идей, он сам, по крайней мере в высоком штиле, оперирует книжным синтаксисом – периодами. Он делит их на *круглые* (или умеренные), части которых равны по величине, и *зыблющиеся*. Приветствуют витиеватые речи, осложненные обращениями, обособлениями, однородными членами, причастными и деепричастными оборотами, повторениями (*знатнейшая фигура речения*<sup>^</sup>, сопряжением подлежащего и сказуемого *некоторым странным, необыкновенным или чрезъестественным образом*. И строит, наподобие Варфоломея Растрелли, колоссальные словесные дворцы, которые объемом и ритмом передают праздничный пафос. Но разобраться в них ох как непросто. Вот начало его публичной лекции по физике: «Смотреть на роскошь преобилующия природы, когда она в приятные дни наступающего лета поля, леса и сады нежною зеленью покрывает и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в источниках и реках ясные воды с тихим журчанием к морям достигают и когда обремененную семенами землю то любезное солнечное сияние согревает, то прохлаждает дождя и росы благорастворенная влажность, слушать тонкий шум трепещущихся листов и внимать сладкое пение птиц, есть чудное и чувства, и дух восхищающее увеселение». Как ни талантливо это, нельзя не кричать ура победе предложения над периодом, в коем прежде, нежели прочтешь последнюю строку, забудешь первую, ибо, кроме непомерной длины, нет четкой связи частей, все запутано по латино-немецкому образцу. И архаичного много: **неизмеримой вечности в пучину отшедший князя Владимира дух**. Или: **книга, коей содержание люди для подражания образцом почитают**. Не лучше ли: содержание которой почитают образцом? Надоели эти **танец был танцеван, о получении оно не имел я счастья быть уведомен**. Помышляя о естественности порядка слов, неизвестной доселе, обращаемся к разговорным оборотам: **все они, выключая малое число, не заслуживают доверия; и те, кои преуспели свергнуть с себя иго суеверия, все заразились новою философией**). Лаконично, динамично, по-русски! Такой смысловый и эмоциональный логичности раньше не ведали. Есть уже у нас правила объединения разных слов и конструкций, штили преодолеваются. Горделивый поп тряс бородой:

— Положен предел, его же не преjde! За грехи отец наших искушение. Надобно отрешись вовсе от здравого смысла, коли не вознегодовать от объединения несоедимого...

Настя прикоснулась к Гривне:

— Лажа все это. Доподлинная чепухенция и у девиц, и у попа, и у самого предка. Язык он и есть язык, только говорят не путем. И не поймешь, о чем спорят: разве *танец танцеван* хуже этого *преуспели свергнуть с себя!*

Гривна спокойно пояснила, что сейчас просто рассуждать, потому что известно, как умные люди нашли выход. А если поставить себя на место тех, кто еще не знает? Тебе кажется, что Сергей Петрович неумело нарушает законы расположения слов сообразно течению мысли, а он просто не знает еще этих законов, потому что их нет. Еще впереди Карамзин, от природы одаренный верным слухом, умением изъясняться плавно и красно. Сильнее его вкуса станет чувство меры, выработанное многими талантами и увенчанное пушкинской соразмерностью и сообразностью. Узнается, что истинных расположений слов много – в зависимости от содержания и цели речи. Пока нет еще синтаксического строя, которому жить, пока людям кажется, что должен быть один, истинный порядок расположения слов, но вот какой – утомительные ли периоды или разговорные предложения – неизвестно. Но известно уже, что три

штиля сковывают потребности общения. Над высоким стилем отца Григория уже все посмеиваются. Да и ты вряд ли полностью его понимаешь.

Настя задумалась. Пожалуй, попа не поймешь. Но чего от него ждать – нарочно вещает, чтоб не поняли. А вот неужто Олимпия по жаргону базарит, считая, что так и надо? Ясное дело, если б умела и по-настоящему говорить, при взрослых бы не стала жаргонить. Значит, порядок слов, способы выражения членов предложения, виды неполных и односоставных предложений – всё, чему учат в школе XX века, еще впереди. А Сергей Петрович, бедняга, еще просто неграмотный!

Но молодец: чувствует, что вот-вот найдут принцип объединения народной и книжной речи. Эти стихии вступают в тексты каждая на своем месте. И язык будет без штилей... Как все, кому открыто будущее, Настя ощущает превосходство: спорьте спорьте, вам не узнать о настоящем русском языке и приемах его использования. Он будет единым и внутренне разнообразным. Совсем скоро первый русский революционер-мыслитель Радищев поднимет все ресурсы – от старинного языка до крестьянской речи. Насте вспомнилась фраза из школьного учебника: «Путешествие из Петербурга в Москву» – последняя яркая вспышка книжно-славянского языка».

Там говорилось еще, что всё подчинил себе замысел: крестьяне, купцы, стряпчие, семинаристы говорят, как в жизни: «У нашего боярина такое, родимый, поверье, что, как поспеет хлеб, так сперва его боярский убираем. Со своим-то, изволит баять, вы поскорее уберетесь». Человек XVIII века, Радищев совершенствовал социально-политическую терминологию с книжным пафосом: *гражданин* – уже не житель города, горожанин, а идеологическая замена слова *верноподанный*. И еще: *гражданское право, народное правление, дух свободы, общественная польза, общее благо, мрак невежества, свобода мысли, пути суеверий, сын отечества, разрушение основ, член общества*.

Настя сама удивилась, как всплывали в памяти совсем вроде не воспринимавшиеся на уроках, а теперь наполнявшиеся смыслом факты. Ранний Крылов даст обстоятельный образец ровного отбора слов в журнальных сочинениях. Он оборвет ниточки связи с ломоносовским периодом. Его остроумие и непринужденность расцветут в баснях, где язык без архаики и без вульгарности – предвестник пушкинского. Увы, Крылов прекратит писать, уедет из столицы: в 90-е годы будет разгром передовой мысли. Первой жертвой падет Радищев, бросят в тюрьму Новикова, умрет, не успев многого опубликовать, Фонвизин. И останется один Карамзин с его новым слогом.

Видные реформаторы нашего языка по-разному действовали, но вопреки всем препонам всегда совмещали народную речь и книжность. Деловой язык, просторечие горожан, крестьянские говоры, церковное красноречие – не перечислить всего, что помогало гениям отечественного слова. Пока, ясное дело, выражения не лучшие: *расположить образ лечения* – чего стоит! *Дарование природы* – разве в шутку теперь скажут. Но рядом *внутреннее ощущение, общие фразы, состояние здоровья* – ловко сочинены и живут и в Настино время. И споры об иностранных словах те же в принципе.

## Чужеродные речения

Разговор тем временем о них и шел. Протестуя против засорения языка наипаче чужеродными речениями из иноязычной словоположницы, отец Григорий цитировал Ломоносова: «Старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного Словенского языка купно с Российским отвратятся дикие и странные слова-нелепости, входящие к нам из чужих языков... Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и упадку преклоняют».

– И все же, – раздумчиво произнес Сергей Петрович, – у него самого – **микроскоп, минерал, планета, материя**. По мне, звучат и **артист, декламация, каприз, контраст, мораль, репродукция, скульптор, этаж, bravo**. Что из того, что раньше таких слов не было? Они не хуже дословных переводов-калек: **утонченный, трогательный, влияние, задеть за живое**. Ведь новое надо назвать, а как? Ту же **пудру** парижскую, немецкий **парик**?

Молодежь с восторгом заплясала вокруг просвещенного отца семейства. Он предостерегающе вытянул ладонь:

– Заимствование колико удобно, толико и применяемо. К нему понуждаемся утончением понятий мудрых народов и недостатком на нашем языке слов к выражению оных. Но не дойдем до совершенства, пока вводим их не по нужде, а по буйственному пристрастию ко всему, что есть французское. В нашем обществе без французского глух и нем. Зачем так? Как не иметь природного самолюбия? Почему быть попугаями и обезьянами вместе? Отечественный язык и для беседы, право, не

плоше других. Надобно отыскивать коренные слова, сочинять новые для письма и обыкновенных речей. Доколе презираем их в разговоре, дотоле и письмо будет плоским. Полагаться не надобно на одни славянизмы, ибо мертвы они все же; живая же речь – в изрядной компании. И не только в благородном обществе, при дворе и в большом свете. Иноземное слово непристойно, когда есть свое, не хуже.

По обыкновению своему он вновь оперся на авторитеты. Достав комедию любимого своего Сумарокова «Мать совместница дочери», прочел:

«**Корнилий.** Жена-то моя, диво в полной ли ныне памяти! Для меня становится час от часу чудные: да и говорит таким языком, которова я не разумею. Это чудно: будь я русской и, говоря с руским же по-русски же, ево не разумеи! Екой ныне обычай завелся!..»

**Миндора.** Я едакова рекомпанса за все мои куплементы от вас не ожидала.

**Тимант.** Чем я вас раздражал?

**Миндора.** Я имею честь иметь к вашему патрету или к вашей персоне отличный респект и принимала вас безо всякой церемониальности и без фасоний... В последняя тебе прапазирую: выслушай только все мои идеи с пасиянсом.

**Тимант.** Хорошо, сударыня.

**Миндора.** Лице мое не фатально, лета не стары, по-французски я и с наслышки говорю, и русской им язык не меньше других моих сестер украшаю. Моде следую я перьвая: ссылаюсь на всю Москву, что в городе здесь барсовое платье перьвая зделала я. На театре и из ложи и из партера простыми глазами не смотрю я, и всегда в лорнет. Что во мне манкируешь и что тебе меня любить ампеширует? Имей компассию! Я тебе капитально рапитрую, что ты меня смертно фрапируешь!»

Все прыснули, одна лишь Липа обиженно надула губки, когда чтец подытожил: «Модный этот жаргон полуграмотен». Но все же неуверенно воскликнула в оправдание, что-де тут смешно не то, что иностранных слов много, а то, что они неверно, искаженно произносятся.

Настя же содрогнулась, теряя сочувствие к Олимпиаде. Вдруг по воле Гривны над ней самой будет потешаться какая-нибудь Воробьева из XXI века? Скажет, что, мол, дико это – *рванули на полные децибелы, разбежались, а по телику ни фига нет, весь вечер балдели, а фирма, джинсы с лейблом* – еще дичее. Но ведь хочется как-то поярче сказать. Со стороны, ясное дело, смешно... Но талисману она на всякий случай погрозила: «Попробуй только, не буду тебя по наследству передавать!»

— И не сможешь, если захочешь, – с грустью прошептал волшебный голос. – Ты девочка, и тысячелетний род на тебе кончается, пресекается фамилия. А мне если не в музее, то уже не у Воробьевых храниться. И волшебной власти не иметь... – И чтобы отвлечь Настю от неприятной темы, Гривна съехидничала: – Над Липочкой не очень потешайся, она язык засоряет, но по-французски-то больше знает, чем ты по-английски.

Настя малость обиделась и воскликнула упрямо:

— Так уж это вредно для русского языка! Щеголихи, потом денди, потом чуваки и стилияги – все по-своему базарили. Есть всегда молодежный жаргон.

— В семье не без урода, – возразила Гривна. – Но ты умеешь и нормально говорить, а в XVIII веке единая норма еще не сложилась.

Разные виды речи не нарост на общем языке, а каждый по себе. Общеправильности нет, она в каждой социально-речевой среде своя, зависит от самосознания и традиции. Так что Липочке куда простительнее злоупотребление иностранными словечками и жаргоном, чем тебе.

Настя колкость снесла и заставила себя слушать дальше. Гривна же продолжала как по-писаному:

— Время переоценки ценностей впереди, русский язык не скоро освободится от наследственных вериг славянизмы; иностранщина и дворянский салон не беспочвенно претендуют на роль законодателя моды. Речь Липочки и отца Григория ощущают не столько как неправильную, сколько как разные правильности: правильно, дескать, но не по-нашему. При отсутствии общей нормы мог стать и щегольской жаргон – не страшная ли перспектива? Впрочем, жаргон, иностранщина и сейчас опасны. Ума за морем не купишь, коли его дома нет!

Настя уже не слушала. Кошмар! Хорошо, что история уготовила русскому языку иную, неповторимую и счастливую судьбу. Славно, что такие умы, как Кантемир, Третьяковский, Сумароков, решительнее и умнее, влиятельнее всех Ломоносов с его невиданно авторитетной «Российской грамматикой» 1755 года (первой собственно русской!) позаботились об упорядочении русского языка, вывели понятие правильности – со всеми ошибками, передержками – из постижения истинного пути развития. В XVIII веке он уже наш, современный, совершенно понятный. Произношение, грамматика,



отчасти синтаксис общие: разве у отца Григория иные. Вот в словаре кто в лес, кто по дрова. И письмо: на слух легче, чем самой читать, заглядывая через плечо Сергея Петровича.

Старые тексты вообще без знаков препинания, с дурацкими титлами, ненужными буквами. Полный кавардак: те же яти и еры то так ставят, то эдак. Неграмотный первоклассник в XX веке лучше напишет! *Посадский – пасацкий – посацкий, приказчик и прикащик, мужщина и мущина, карова, салома, хадил и рядом корова, солома, ходил, кавтан и кафтан – в одной бумаге! Вдава, документ, офицер, сделать, блиско, протчий, нарошно, ешче, общество, ушчерб, шчастие, лехчайший.* Нарочно не придумаешь! В книгах петровского издания и до него разноречив и в грамматике: от латинского языка *переведе* на славянорусский, *переведена, переведена бе, новопереведеса с галанского...* Сплошь ошибки!

Гривна не согласилась, что это ошибки: – Когда неизвестно, как надо, что значит неграмотность? Искали, пробовали, как лучше, проще, ближе к произношению, легче для грамматики. Найдя удачное, закрепляли написание в правиле. По-вашему сказать, в орфограмме. Все это собиралось, становилось обязательным очень постепенно; сначала и тут правила были не всеобщими, а социально-групповыми. Это в XX веке смешно призывать к свободе орфографии. Правописание только еще складывается. Полемизуя отчасти с Ломоносовым, Третьяковский об орфографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи, вот как рассуждает: «Так писать надлежит, как звон требует, и каждая буква собою изъявляет ту причину (то есть определенный знак точно сего, а не того звона), по какой требует ее сие наипаче, нежели другое место склада. Поэтому **опщчий**, а не *обичий*, **укас**, а не *указ*, **сретство**, а не *средство...*»

– Вот именно какой-то звон! – возмутилась Настя. – Не знаешь, где он. Ничего не поймешь.

– Подставь вместо **звон** привычное для тебя слово *звук* – и всё поймешь. Учили тебя, что у нас не фонетическое, а фонетико-морфологическое письмо. Пишем *указ*, хотя произносим на конце с, потому что при склонении звучит з – *указа, указу*. Но могло бы быть и как Третьяковскому хотелось. У белорусов, например, именно так вышло. Тут дело и в авторитете Ломоносова, и в сложившейся уже в XVIII веке практике, живой до твоего времени. Традиция сохранять, как он выражался, *произведения корень* помогает различать омонимы при письме: *плот* и *плод*. Но дослушай, как рассуждает Третьяковский: «Не имеет, кажется, быть никакова замешания в содержании, когда напишется слово *плод* по звону (плот, который в моем саду вырос сего лета, я сам оный и съел)». Но готов делать и исключения: «Пусть они пишутся для различия не по звону». Понимает, что «многие слова, написанные по звону, дики будут сначала очам российским, привыкшим оныя видеть не по звону изображенные». Он даже признается, что «и сам многая ешче слова пишет не по звону, а по обыкновению». Отмечает, что дамы в письмах больше наблюдают звоны, иной раз «производят их за надлежащими пределами, звоны ставят точнаго подлинно своего выговора, неисправно: *милостивая* вместо *милостивая*». Ну дамы и куда позже склонны к звонам, например в слове *каТка...*

Настя не отреагировала на этот выпад. Что-то Гривна сейчас не в духе, вредничает. А вот Третьяковский – умный, ясное дело, человек, но вкуса, чувства языка ему явно недостает. На женщин набросился, но приятность их выговора, хуже знавших старые книги и больше говоривших по-французски, и стала основой карамзинской реформы. Вкус как раз и соразмерен был с речью милых дам. И естественно обратиться к произношению в поиске правил орфографии.

– Но нельзя не считаться и с традицией, грамматическими связями, различиями говора разных людей, – перешла на серьезный тон Гривна, уловив мысли юной подруги. – «Московское наречие не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты протчим справедливо предпочитается», – утверждал Ломоносов. Он учил, что правописание служит удобному чтению и «не должно удаляться много от чистого выговора, но и не закрывать следы произведения». Ведь письмо русское должно было объединить все разновидности русской речи. Этой цели лучше всего и служило сочетание фонетического и этимолого-грамматического принципов в орфографии. Книга Ломоносова ознаменовала переход от пестроты XVII века к зримым контурам современного языка также и в грамматике. В ней почти все, как в твою, Настя, эпоху: 30 букв (нет лишь щ, э, ё, й), вполне русская морфология (дань старым нормам незначительна). Отец и пестун нашего языка начал осмысливать саму нормализацию языка. Осторожно, но решительно утверждал его народную основу, но не порывал с традицией, изгонял славянизмы, но не все, а весьма обветшалые, зело невразумительные (**обаваю, рясны, свене** – *заклинаю, ресницы, кроме*). Дело продолжил Сумароков. Хотя «в грамматике законодателем быть не дерзал, памятуя то, что грамматика повинует язык, а не язык грамматике», он унифицировал прилагательные: вместо **добрни, добрые, добрая** – одна форма **добрыя**. Держась в целом стародавних книг, он отрицал навыки делового письма, многие особенности приказных бумаг

**(понеже, точно, якобы, имеет быть):** «О подъячих не заключайте, ибо они искусные вас, что в два яруса ставят литеры и четыре литеры узорно в слове *лета* перепутывают... Подъячия одним пишут почерком литеры, связывая для того, что бы и в том больше крючков было, и для умножения оных крючков часто литеры в верх кидают. Точек и запятых не ставят они для того, что бы слог их темнее был, ибо в мутной воде удобнее рыбу ловить». Вот в таких спорах и выявились черты русской орфографии, сама необходимость единых правил. **Учащему, чтущему и пишущему должно свойство произношения, ударения, препинания и правописания в книгах знати, ибо всякого языка особое обыкновение в сих зрится,** – напишут скоро в учебнике, устанавливая обязательное для всех раздельное написание слов, употребление точек и запятых: **За запятыми отдыхать, а точками цел разум определяти.** Учебник, как видно по формам глагола, опирается все же на книжные обычаи (ох и сильна у нас славянщина!) и прямо предупреждает против излишнего следования московскому выговору: «Вместо **е** гли **ие**, яко *егда* не *иегда*, вместо **ф** не глаголи **х**, яко *Филипп*, а не *Хвилипп*, *фараон*, а не *фвараон*».

Гривне пришлось тут ответить на Настины недоумения. Да, раньше писали слитно, не отделяя слова друг от друга. Заглавные буквы и знаки препинания употребляли редко, чаще всего ставили точку, разделяя предложение, как сейчас запятую, но не всегда, к тому же ставлю обычно над строчкой. Конец предложения или периода (ведь предложение четко не выделялось!) обозначали точками и черточками. Раздельное написание, правда неузаконенно, появляется с XV века, как и знаки вопроса и восклицания (первый называли «удивительный знак»).

— Да, многое из того, что тебе кажется естественным, – продолжала говорить Гривна, – есть итог вековых раздумий, поисков, споров. Не верится, что люди столь упрямо держались мертвой и чужеродной, хотя и близкородственной, славянской грамматики, что с таким трудом пробивала себе путь живая речь.

— Ты сама уверяла, что от старой книжности шло облагораживающее влияние, – Настя неожиданно для себя была недовольна упомянутыми особенностями московской речи. – Ясное дело, нельзя было узаконить эти *Хвилипп* и *хвараон*!

— Верно, верно. Но выбор шел очень нелегко. Письмо изрядно упорядочено лишь в «Учебнике для гимназий» 1797 года, в «Кратких правилах ко изучению языка Российского» В. П. Светлова 1790 года, в «Сокращенном курсе Российского слога» В. С. Подшивалова 1796 года. Ни грамматика, ни словарь уже не сопоставимы с книгами XVII века; примеры в них живые: **Буде же ты человек, то помни, что ты такое. Скупой есть убог, поелику не он златом, но злато им владеет.** Архаичными они иногда кажутся только из-за лексики: **поруган яко раб**, то есть разруган как невольник.

Настя устала. Очень трудно ощутить очевидные законы, правила... Живут, ясное дело, совсем не так, как Насте привычно. Надо скорее посмотреть, как еще более ранние предки жили. Нынешние в языке всё объединяются, а для этого сначала надо было размежеваться. Зачем надо было вообще разграничивать язык на три штиля без права их смешивать в одном тексте? И что было до такого разделения?

## ДВУЯЗЫЧИЕ

### Ларец с книгами

Москва допетровская – крупнейший город Европы: 30 тысяч дворов! Уже мало кто помнит схватки с шляхтичами на московских улицах и сгоревший Скородом – деревянную стену вокруг города, прозванную так за быстроту постройки. Вместо нее теперь земляной вал со рвом: его засыплют после 1812 года и повелят домовладельцам ставить «порядочные невысокие заборы» с садиками, отчего эта бывшая граница Москвы, оказавшаяся внутри города, получит название Садового кольца, а язык сохранит слово *вал* в названиях Крымский вал, Зацепский вал, Земляной вал. Ушли в историю героизм Ивана Сусанина, славное ополчение князя Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина, въехавших в Кремль через Красную площадь в 1612 году, крестьянская война под водительством Ивана Болотникова.

Умы занимают отписки и чертежи землепроходцев в Сибири, вышедших к морю Охотскому, Украина, воссоединенная гетманом Хмельницким с Россией. Шумные московские ярмарки все больше походят на всероссийские, ускоряют товарное обращение, внешнее и внутреннее. Работа на рынок, а не

на заказ рождает мануфактурное производство вместо ремесленного. В Москве появились второй Пушечный двор, пороховые мельницы, кирпичные, стекольные и иные заводы, Хамовный полотняный двор.

Но еще не родился у сидящего на престоле Алексея Михайловича сын от Нарышкиной, кому суждено стать императором Петром I и войти в число тех немногих личностей, чье имя история дополнила определением Великий. Еще не начертана программа на много лет вперед – на земле, которая откроет свои богатства русскому человеку, на море, где явится русский флот, в государстве и народе, перед которыми наука и образование откроют новый мир, в языке, который с развитием великорусской народности в нацию превратится в единый русский литературный язык.

Москва была котлом, в котором сплавлялись речения пришельцев из разных мест страны с XIV века. Русский язык им не весь сполна заобычен, и говорили они по природе тех городов, где родился и по обыкновениям своим говорить изыск. В целости же московская речь становилась переходной и приемлемой как образец для всех. Разных российских областей жители, имея нужды и выгоды пребывать в Москве, приняли вкус принаравливаясь к ее наречию, а возвращаясь в дома, возбуждали в своих родичах и соотчичах ревнование подражать говору царственного города. И это до того распростерлось, что каждый за стыд теперь долженствует почитать пренебрежение непринаравления к сему новому, яко общему уже языку, и всяк возымел как будто некоторое право оговаривать и стыдить того, кто о том покажет нерадение или сделает в выговоре ошибку.

Рассказывая, Гривна увлеклась и перешла на какой-то странный язык, даже произношение у нее стало непривычным, как говорили, видно, в XVII веке. Спohватившись, она стала излагать свои мысли более понятно:

– Политическая, экономическая и культурная роль столицы диктует распространение ее языка как общего. При этом складывается и его единство. Но пока, ты видела даже из моего подражания их речи, у москвичей такого нет. Россия вообще еще не завладела всем тем, что абсолютно ей необходимо для естественного и полнокровного развития. Не прорублено еще окно в Европу. Лишь через полвека построят Петербург и перенесут туда столицу. Смотри: усадьбы бояр с бесчисленной дворней и владения попроще хранят исконную застройку – дома в глубине дворов, глухие заборы по улицам. Но все монастыри, палаты богачей, торговые и правительственные здания уже в камне. Не возобладал еще вкус к четким симметричным зданиям гражданского назначения вроде Арсенала в Кремле; в моде многоцветный, капризно-грациозный узорчатый стиль – Теремной дворец в Кремле, Николы в Хамовниках церковь. Стены из известняка заменили старые укрепления Царь-города, называемого теперь Белым, но и в нем, в пределах будущего Бульварного кольца, до булыжных мостовых далеко.

— А до асфальтовых? – поинтересовалась Настя.

Гривна вздохнула от такой наивности:

— Многие переулки в Москве были впервые асфальтированы после Отечественной войны 1941 – 1945 годов. А тут – какой асфальт, какой гудрон! По-старому деревянный город, где и тротуаров-то нет! Но он растет, перешагивает за Земляной вал, вдоль дорог, тянущихся из столицы, строятся по велению Бориса Годунова основанные Дорогомилова и другие ямские слободы – Кудринская, Новинская, Тверская. Вот откуда присущая Москве ветвисто-веерная или, как в твоё время говорят, радиально-кольцевая планировка. Впрочем, пока город, как прежде, делится на Кремль и Посад с территориями купцов Гостиной сотни и рядовых тяглецов сотен и слобод – стрелецких, казенных, дворцовых, черных, иноземных (Немецкая слобода).

Кремль похож на известный Насте. И Красная площадь такая же, не считая огромного рва, соединяющего Неглинную и Москву-реку. Вырытый в 1508 году (засыпан в 1823 году), он превратил московский Кремль в совершенно неприступную крепость-цитадель, окруженную водой со всех сторон. Расчищенная из древнего Торга по княжескому указу в конце XV века во время строительства кирпичных стен Кремля, главная площадь страны называется Пожаром – свирепые московские пожары то и дело уничтожают стоящие на ней легкие дощатые постройки. Как раз сейчас ее начинают называть Красной, т. е. красивой, главной, как *красный угол* в доме (ср.: *красна изба пирогами, красна девица*).

И по праву! На ней уже столетие красуется **преудивлен камен со многими приделами собор Покрова, что на рву**, сооруженный зодчими Бармой и Посником по велению Ивана Грозного **Казанский ради победы**. Прихотливая фантазия строителей – **о восьми верхах чудо**, где подле срединного шатра размещено восемь приделов, а к ним пристроена церковь Василия Блаженного (по ней и весь храм стали так называть). 400 лет стоит собор, не переставая весь мир удивлять своей затейливой красотой.

На Пожаре – Лобное место, трибуна, с которой произносятся важнейшие речи и дьяки читают указы. Сюда, на площадь, ходят за покупками, за новостями и просто так погулять. В лавках сидят сидельцы – продавцы. Торговля уже упорядочена в специализированных рядах, числом более ста. Земские ярыжки с бляхами на груди, низшие полицейские чины, охотятся за воришками, следят за соблюдением санитарных правил. Здесь средоточие жизни, смешение характеров, наречий, акцентов. Здесь куется живой язык, рождаются веселые прибаутки: *Вот сбитень, вот горячий – пьёт приказный, пьёт подьячий! Что в Москве в торгу, то бы у тебя в дому!*

На каменном мосту, перекинутом через ров от Спасских ворот, торгуют книгами и фряжскими листами (так называют гравюры). Тут тиунская изба, в которой Петр I откроет для толпящихся на мосту любителей чтения библиотеку. С лотком наперевес целыми днями шныряет тутошний завсегда – прямой Настин предок, услужливо предлагая письменные принадлежности и книги.

Настя вспомнила описание Москвы в «Петре Первом» А. Толстого: прямо сфотографировал! Вот про куранты забыл написать на Фроловской (Спасской) проездной башне. Установленные в 1585 году, они в 1625 году переделаны английским часового и водовзводного дела мастером Христофором Галовеем и теперь с перечасьем – с боем: звук их 13 отбивающих время колоколов, отлитых московским умельцем Кириллом Самойловым, слышен окрест аж за десять и более верст. Вращается круг-циферблат, а цифры проходят мимо утвержденного сверху изображения солнца. Ничего, скоро новые, с 12-часовым счетом и музыкой установит царь Петр. На рубеже следующего века он свершит многое. По его велению страна перейдет и к новому летоисчислению – не от сотворения мира, а от Рождества Христова: вслед за 7207 годом наступит 1700 год.

Пока же Настя в Москве лета 7170. Привычная к округлому начерку букв, к пробелам между словами и к знакам препинания, она с изумлением листает книги, не в силах что-либо прочесть, узнавая лишь отдельные слова. Ведь живущую в ее время с непринципиальными изменениями гражданскую азбуку введет тот же Петр I, реформировав и сблизив с латиницей кирилловский полуустав, сохранив, правда, и его для богослужебных книг. Собственноручно поправив проект «Изображения древних и новых письмен славенских печатных и рукописных», подготовленный Приказом книг печатного дела – московской типографией, он надписал: **Сими литеры печатать исторические и мануфактурные книги**. Первой по гражданской азбуке напечатают «Геометрию». По-новому издавать будут и первую русскую газету, тоже появившуюся по его воле, – «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах».

Настя роется в ларце своего девять раз прадеда – торговца книгами и писчими принадлежностями. Есть тут новые печатные книги, но больше рукописных. Вот древняя, на **пергамене** (теперь все пишут отчего-то *пергамент*, хотя слово происходит от города Пергам в Малой Азии, откуда эти специально выделанные кожи вывозили) из свиной кожи, написана уставом: буквы прямолинейны, с тщательно выписанными кривыми чертами, прописные и строчные не различаются, зато заголовки и первые буквы абзацев выписаны красками, изукрашены рисунками. Вот книга, написанная полууставом уже на бумаге XVI века: буквы менее выписаны, наклонны, а слова, как в латинских средневековых рукописях, разделены точками, хотя обычно их ставят только в конце завершённой группы слов. А вот скоропись: между словами – интервалы, но буквы с такими завитушками и переплетениями, иногда одна над другой, что вовсе ничего не разберешь. Тут уже чувствуется индивидуальный почерк, чего практически нет ни в полууставе, ни тем более в уставе. Вот совсем вроде недавняя рукопись – «Годовой разпись или месячило» (Настю уже не удивит орфографией): ах, это же то, что потом назовут *месяцеслов*, а еще позже *календарь!*

Насте вспомнилось и смешное название **удивительный** знак, а Гривна добавила, что скобки называют **знак вместительный**, иже он слово или целый разум в речь вмещает (*речь* тут, ясное дело, предложение, а *разум* – отдельная мысль). Чудаки предки, но писали красиво! Шариковой ручкой в жизнь таких строчек не изобразить: штрих – нажим... «Уронила меня мать, подняли люди, срезали голову, вынули сердце, дали пить – и стал я говорить», – речитатив Гривны пропел старую загадку. Сразу и не отгадаешь, что это – гусиные перья, у которых наискось срезали кончик и прочищали сердцевину.

Перо из левого крыла ценилось дороже, особенно если оно не от гуся, а от лебедя, так как его изгиб удобнее для пальцев руки. Появившись 200 лет тому назад, стальные перья вытеснили перья настоящие (откуда и название перешло по логике предназначения: *золотое перо*, *вечное перо*) не сразу: и Пушкин, и Гоголь предпочитали писать натуральными.

И все-таки красота красотой, а читать трудно. Мешает, что часто встречающиеся слова пишутся сокращенно, причем над ними ставится особый надстрочный знак – титло: **БЪ – Богъ, члкъ –**

**человѣкъ, ГѢ – ГОСПОДЬ, СНѢ, МСѢ, ДХѢ.** Титло ставится и над написанием чисел, которые обозначаются не арабскими цифрами и не римскими, а буквами: А, В, Г, Д... И (восьмеричное) – единицы, і (десятеричное), К, Л, М, Н... – десятки, Р, С, Т, У, Ф... – сотни. Настя попыталась вспомнить старые названия букв: **аз, буки, веди** (отсюда **азведи** или **азбуки** – русское название алфавита), **глаголь, добро, есть, живете** – дальше забыла. Выражения, правда, пришли на ум: *ни аза не смыслит; ставить точки над «и»* (имеется, ясное дело, в виду десятеричное і); *от аза до ижицы* (от начала до конца; мы бы сказали *от а до я*); *стоять* или *ходить фертотом* (руки в боки, как Ф, в отличие от θ – фиты), т. е. важничать; **выписывать ногамы мыслете** (т. е. зигзаги, похожие на букву М); *сделать на ять* (т. е. очень хорошо, тщательно, различая Ъ – *ять* – и *е*). Но вот какие буквы перед ижицей стоят – ять, фита, еры, цы, червь? Не очень ясно, что называли **рцы, слово, твердь, ук...** Папа тут явно недоработал.

Настя мечтает: передать бы дедов ларец исторической библиотеке! Древние книги – своеобразные машины времени. Они придают достоверность полету на крыльях фантазии и воображения, увлекательному нашему путешествию в прошлое. Они едва ли не единственный надежный источник, рассказчик-очевидец жизни предков, их нравов и обычаев, повседневных хлопот и торжественных обрядов, войн, политических страстей. Ведь не было ни кино, ни магнитофонов! Книги играли громадную роль, даже большую, чем сейчас, в жизни людей. Только по ним мы можем догадаться, как звучал русский язык. Вот и возникает ощущение трепета, когда прикасаешься к древней рукописи: ее держали в руках полтыщи лет назад, в нее писец заботливо вложил ум и труд, а поколения людей хранили, берегли, передавали по наследству, чтобы потомки помнили о них, их думах и надеждах. Чего не отдадут сегодня музеи за пергамены, песнопения с нотными знаками, уставы церковных служб, просто переписи имен! Бесценную отечественную историю раскрывают вместе с бытом и мыслями древних религиозные переводы, апокрифические и житийные.

Послышался лязг засовов, и Настя, скользнув глазами по свиткам чистой бумаги, затейливым чернильницам, пузырькам с песком, которым присыпают написанное вместо промокашки, по связкам гусиных и – на любителя – лебязьих перьев, поспешила наверх, где горница хозяина, женская светлица и трапезная. Как и любое московское жильё, даже каменные палаты богачей, дом близок по устройству к русской избе, состоящей из клетки – жилого помещения и подкле-та – помещения для хозяйственных нужд, для склада товара и для торговли.

## Дни Медного бунта

Едва домочадцы разместились на сундуках и лавках (стульев еще нет в русском быту), хозяин начал говорить про смуту, коя учинилась на Москве. На Пожаре его чуть не побили вместе с другими купцами, лоток разграбили.

— На многих местех по воротам и по стенам прибиты воровские листы, бутто бояре Милославские, дьяк Башмаков и богач-гость Шорин хотя всех погубить и поддать польскому королю, чеканят поддельные денги. Всякого чину люди те писма чли и умыслили итти к царю просити, тех бояр чтоб выдал головою на убиение. Царь дал им на своем слове руку сыск и указ учинити, а сам велел тем боярам, дворянам и детям боярским сохранится у царицы и послал к Москве ближнего своего князя Хованского. Тот почал людем говорити, чтоб домов ничьих не грабили, но люди торговые, и хлебники, и пирожники, и мясники, и деревенские, и гулящие люди, и многие стрельцы, и солдаты надворного полку были в смятении, и теперь идет по Москве грабеж и кроворазлитие.

По мнению женщин, причиной тут финансовый трюк царя, который восемь лет тому назад ввел впервые медные монеты, объявив их равноценными оставшимся в обращении старым серебряным. Но разве медь с серебром сравниешь?

— Медные денги год от году дешевели, сперва ходили рубль против рубля, а потом почали ходить по 2, по 3 и по 10, по 15 рублѣв медных денег за серебряный рубль, а с торговых людей и с крестьян десятую и пятую денгу имали в казну серебром, а ратным людем давали жалованье медными денгами, против того как преж сего давано серебряными. Почало быть воровство великое, те медные денги белили и посеребривали и с серебряными мешали, как на медные все стало дорого и многие мрут с голоду. Как не учинитися тут кроворазлитию?!

Хозяин, воровато оглядевшись, предрек:

— Умыслит царь, чтоб еще чего меж людми о денгах не учинилося, и повелит те медные денги отставить и не торговать, а приносить их в его царскую казну на Москве и в городех, и за рубль медных денег будет платить серебряными. А кто медных денег не похочет давать в царскую казну, тем велено

будет их сливать и переделывать в котлы и во что кто хочет, а кто учнет медные денги держати денгами, им учинен будет заказ под смертною казнью. Также ис царские казны людем почнут давать жалованье годовое и кормовые денги серебром и от того тем медным денгам учинится скончание!

Женщины менее оптимистично, но столь же, впрочем, точно предрекали иной ход событий (Настя смутно вспомнила раздел учебника, посвященный народным волнениям XVII века; тогда казавшиеся тягомотиной, факты сейчас хватали за живое, внушали ужас).

— Смутьянам противится не уметь, у них в руках ничего ни у кого, и почнут они бегать и топиться в Москву-реку. Всяких чинов людей, воров и невинных много переловлено, пересечено, сослано, казнено будет, а дома их и животы иманы будут на царя. Пытать станут и по сыску за вину отсекают руки и ноги, а иным, бив кнутьем, класть на лице признаки, розжегши железо на красном, а поставлено на том железе «буки» – бунтовщик, чтоб до веку был признатен.

Женщины знали жизнь. Жадность богатеющих бояр и купцов, расстроенное войнами хозяйство, растущие расходы на централизацию власти и укрепление крепостного права, окончательно узаконенного Соборным уложением 1649 года, безмерно множили налоги и возмущали трудовой люд. Царь жестоко подавлял смуты, Соляной бунт; без пощады расправится он и с Медным бунтом, очевидицей которого оказалась наша героиня, а потом и с восстанием Степана Разина.

— Помилуй мя, – набожно перекрестился хозяин, надеясь, что пронесет мимо его дома и бунтовщиков, и карателей.

Отвлечения и успокоения ради достал нравоучительную книгу, бережно раскрыл переплет из липовых дощечек, обтянутых кожей со сложным тиснением, любовно погладил-расправил бумагу с водяными знаками – голова быка с острыми рогами и щетинистый кабан. За такую хорошие деньги можно взять, только на медяки ее отдавать не стоит, лучше повременить. Нараспев начал читать из «Книги степенной царского родословия» про великого князя Игоря, **како сочетася со блаженною Ольгою:**

**Игорю же юну су игу и бывшу ему в псковской области, яко же нецыи поведаша дивно сказание, яко некогда ему утешающуся некими ловитвами и узре об ону страну реки лов желанный, не и бе ему возможно прейти на ону страну реки, понеже не бяша ладийци. и узре некоего по реце пловуща в лодийце и призва пловущаго ко берегу и повеле...**

Заглядывая чтецу через плечо, Настя едва следила за мерным произнесением слов, написанных подряд, точки вместо запятых, отчего и чтец вроде остановок в нужных местах не делал, а одно и то же слово часто через разные буквы написано, но синтаксис этот Настю даже завораживал, хотя, вслушиваясь в напев речитатива, она не всегда улавливала смысл:

**Она же ему глаголаше, что всеу смущаешися. о князе, не прельщайся видев мя юну девицу и уединену и о сем не надейся, яко не имаши одолети ми аще и невежа есмь и вельми юна и прост обычай имам якоже мя видиши. Но обаче разумех яко поругати ми ся хочещи и глаголеши нелепая, его же не хошу ни слышати. дондеже юн еси блюди себе да не одолеет ти неразумие.**

Многие слова совсем неизвестны, о значении других с трудом догадываешься: **всеу** – зря, напрасно; **об ону страну** – на той, на другой стороне. А **обаче, дондеже?** И формы грамматические не сразу поймешь: **ему же бывшу в Пскове** – когда он там был; **имаши одолети** – имеешь, т. е. сумеешь, можешь одолеть. Главное же – слова нанизываются как бисер на нитку, без конца и остановок, вроде как

мысль неорганизованная течет. Это и есть синтаксис периодов, а не предложений. Не только в книге, говорят тоже так, немножко только почетче. И в простом разговоре не все слова ясны: **дома их и животы иманы будут** – здесь **живот** – не жизнь даже, как по-старинному и сейчас у чехов, а имущество. Трудно. И сам рассказ про Игоря с Ольгой по содержанию наивный, смешной какой-то.

Домочадцы же внимали с умильным трепетом. Но и им душеспасительное чтение не принесло успокоения. Когда завечерело и в светцах зажгли лучины, они то и дело ходили проверять, крепко ли задвинуты ставни, а хозяин припрятал посуду и иные ценности с поставца (их выставляли на стол, чтобы показать состоятельность и положение), даже оклады с икон в красном углу снял. Боязливая напряженность заразительна, и Насте стало не по себе.

— Твой род, как и Москва, выдюжит, Настенька, испытание и многие другие, более страшные. А сейчас прощайся: беда не обойдет этого Воробьева. – Волшебный голос звучал без жалости. – Страсть торгашей не люблю: попортил этот твой предок из корысти не одну древнюю книгу. И – стыд сказать и грех утаить – с монетами фальшивил, а для Гривны это страшный грех: ведь все русские деньги от нее. Когда не вижу своих, так тошно по ним, а увижу своих, да много худых, так лучше б без них!

Пообещав Насте, озадаченной странной фразой про деньги, которые от Гривны, рассказать потом их историю, талисман ярился: оправданием постылому купчику одно доброе дело – что, не поддавшись соблазну, сохранил через все невзгоды и в целости передал прямым потомкам фамильный обруч из серебра. В попытке утихомирить свою гидшу Настя подобострастно подделалась под ее стиль: «Станешь лапти плесть, коли нечего есть». Но та лишь пуще разошлась. Пословицами-де всё оправдать можно. Говорят, плохо овцам, когда волк – пастух, но тут же не менее верно утверждают, что будут целы все овцы, коли волк стережет. По пословицам, к науке глухо и сытое, и голодное брюхо!

Только поостыв и стыдясь горячности, Гривна перевела разговор на главную тему: вполне ли Настя понимает своих предков на удалении в три столетия, а то и с хвостиком?

— Письмо не секу, даже если вслух читают, – призналась Настя, ощущая себя почему-то виноватой за проступки Воробьева из XVII века. – Да и когда говорят, не всё ясно из-за этих **учнёт, почнет, станет** вместо *будет*. Звуки немножко не такие: где пишется Ъ, вроде и не Е: **увЪчье, вЪрить, дЪло**. Услышала *лИЕс*, не сразу разобралась, что *лЕс*, а не *лИс*. Прабабку еще труднее понять – окает: от **Ондreja Алексеевича**. И не склоняет: **расправа чинити, не давать им управа, земля очистити**. Кстати, все они ставят странное окончание: **в списках, на городех**. Древнее, что ли? Раз у папы листала чешский журнал «Свет в образех». Но почему тогда рядом *на улицах*! Гривна снисходительно объяснила:

— Потому что *город* – мужского рода, а *улица* – женского. Окончания тут искони разные: о **волцех, коних, полих, плодх, сельх, сестрах, землях** И в творительном падеже: **женами, руками**, но **волкы, плоды, селы, кони, поли**. И в дательном: **женам, рукам, землям, сестрам, но волком, плодом, селом, конем, полем**. Правильно поэтому: **за высокими холмы и высокими горами, велел стрельцом и людем своим и женам, znalся с бесы, за слободскими города, за Тверскими вороты, двор с землею и с хоромы, мылня с сенцы**.

В праславянском языке было шесть склонений в зависимости от основы слова, потом все большую роль начал играть грамматический род. Склонение во множественном числе, как нынешнее в единственном, имело разные формы зависимо от рода и звукового вида основы. Потом эти различия ослабли. Объединились имена женского рода разных основ; все основы мужского и среднего рода сосредоточились вокруг основ на **О** (не подчинилось лишь слово *путь*; *печатъ* и подобные стали женского рода); господство единых окончаний захватило и основы на **И** (*гостями, костями*, хотя чувствуются и старые *гостьми, костьми, лошадьми, людьми, детьми, матерьми*). Остатки древних склонений и в словах *славянин, время, свекровь* и им подобных. Все это привело к трем (а учитывая совпадение во многом мужских и средних имен, к двум) склонениям в русском языке XX века.

Процесс был долгим, мучительным. Утрата осознания основы легче всего меняла множественное число, превращая его косвенные падежи в одно собственно склонение: **-ам, -ами, -ах** – под влиянием женских имен. За отдельными исключениями совпали и формы мужского и женского рода в именительном падеже. Отчего все это происходило? Кто знает! Можно думать, что новые формы мышления воздействовали, хотя чем новая морфология лучше архаичной? Ведь вряд ли главенствующая с XV века новая группировка существительных по типам склонения с унификацией окончаний проще, тем более прогрессивнее.

– Ну не скажи, – неуверенно запротестовала Настя. – Новое всегда более передовое, разве нет?.. А вот что новые формы не сразу устанавливались, что старое и новое долго сосуществовали, это и сейчас так. Например, *с сестрой* и *с сестрою, тракторы* и *трактора, без сахара* и *без сахару*. И тут в будущем выживет, ясное дело, одна какая-то форма.

— Наверное, так, – обрадовалась Настиной сообразительности Гривна. – Если не наметится какого-либо смыслового или стилистического различия, оправдывающего обе. Между прочим, старый творительный жил долго, им не брезгал Пушкин: **подпер горы Угорские своими железными полки, за дубовыми тесовыми вороты**. Выражение *со товарищи*, пусть шутливо, употребляют и твои ровесники. Тут еще вот что: в письме дольше держались старых правил, писали, особенно когда официально: **иноземцом дале Архангельского города к Москве не издить**, хотя говорили, скорее всего, *иноземцам в Москву не соваться*. Письмо всегда архаичное любит: **под древы, с сыны, в делех, ко врагом, при вратех** писал и тот, кто говорил *под деревьями* или даже *под деревьями, с сынами* или *с сыновьями, в делах, к врагам, при воротах*. Раньше же чище и говорили, никакой унификации не было и во множественном числе. Это в Москве (Гривна вздохнула) раньше других путать начали: то *городом, города, городех*, то, будто это женского рода, *городам, городами, городях*.

— Ну ты ретроградка, по тебе лучше бы без изменения сидели бы все в пещере с десятком склонений! – подзадорила Настя Гривну. – И хорошо, ясное дело, что по женскому роду выровнялись. А как еще? Женское начало сильней.

— Могли вообще не выравниваться, – вяло упорствовала собеседница. – Как у чехов. Или выровняться по другому основанию. У сербов унификация пошла не по родам, а по падежам, отчего одну форму имеют сейчас местный, дательный и предложный. У болгар же просто исчезло все склонение...

— Почему? Почему у нас нет унификации в единственном числе? Насколько проще бы было!

Всезнающая Гривна виновато сникла:

— Не знаю.

— Как не знаешь? Ты все знаешь!

— Никто всего не знает, а понятие прогресса очень непросто. Во-первых, не надо путать прогресса, поступательного движения, с просто движением, с изменением. Все течет, все изменяется, но совсем не обязательно и не всегда в лучшую сторону. Во-вторых, как приложить понятие прогресса, совершенствования к литературе, к искусству, к культуре? В. технике, в науке – все ясно, а вот совершеннее ли нынешнее изобразительное искусство, чем творения итальянцев, живших в средние века? Нет ни точки отсчета, ни желательного будущего идеала, конечной цели в музыке, и вряд ли композитор Паулс прогрессивнее Штрауса, не говоря уже о Бетховене и Чайковском. Да и сам человек – так ли уж он совершенствуется со временем? Не надо думать, что твои, скажем, предки глупее, чем их потомки.

Настя раздумывала. В самом деле, проще ли стал русский язык? Да и стал ли он лучше, если стал проще? Важно ведь, чтобы им удобнее было пользоваться. Так, мы считаем тот автомобиль лучше, который быстрее, мягче, надежнее, но не тот, который проще устроен. И еще: у всякой машины, всякого аппарата (а язык прежде всего орудие, инструмент для мышления и общения) могут быть варианты, разные модели, причем одинаково хорошие, хотя и разные по устройству, по внешнему виду, по звучанию. Русские выбрали – то ли потому, что так показалось удобнее, то ли по чистой случайности – систему видов и отказались от системы времен. А англичанам, немцам да и братьям болгарам, сербам случилось сохранить полдюжины прошедших времен.

Довольно философствовать. Понять бы, почему торговец Воробьев и его современники говорят *знал*, даже не всегда **знал есмь**, но в книгах ставят по-прежнему **зналхъ, уби, приидохъ, прияша, кричаху**... Почему по-разному говорят и пишут? Есть ли тут порядок?

## Признаки разных языков

Люди редко пишут и говорят одинаково, и в средневековье вообще письменный язык был обычно другим, чем разговорный, – ученым, искусственным, священным, часто совсем чужим. Ведь чужое, иной раз малопонятное, всегда кажется каким-то особенным, очень часто модным, необыденным. Иностранные слова предпочитают как научные термины, ибо они вроде и не совсем слова, однозначны, лишены живых ассоциаций.

*Темна вода во облацех* – до сих пор старая форма предложного падежа. Церковь любит таинственность, воздействующую на подсознательные чувства. Поэтому у православных до сих пор с амвонов звучит книжно-церковный язык, у католиков – мертвая латынь, у мусульман – язык Корана. Это просто счастье, что в России этим чужим и освященным верою языком оказался близкородственный русским и другим восточным славянам южнославянский язык.

Но все-таки это другой язык. Получается, что москвитяне не могут писать и рассуждать по научным вопросам, не прибегая к другому языку. Наоборот, в домашних беседах никому из них не обойтись книжным языком. Так и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-авенски. Получается двуязычие, славенороссийское. У каждого языка, а можно сказать, памятуя о том, что они близки, родственны, у каждого язычия свой произносительный облик, грамматический строй, свой словарь: *вижду – вижу*, *пещи – печи*, *свещи – свечи*, *аз – я (яз)*, *един – один*, *делаеши – делаешь*, прежде – *прежний*, *страна – сторона*, *абие – скоро*, *еже – которые*, *паки – опять*, *дондеже – покамест*, *стогна – улица*, *стезя – тропа*, *одр – постель*, *алчу – исти хочу*, *рекл – сказал*, *двоим пушкам – двум пушкам*...

В книжном языке есть двойственное число (**ногама своима** – двумя, в отличие от ногами, если их много, как у толпы), звательный падеж (**сыне, друже, царю, жено**; впрочем, устойчивая форма, правда не совсем признанная и наблюдаемая только при собственных именах, есть и в разговорном



языке: *Вань, Коль, Маи, Насть!*), краткие местоименные формы (**помилуя мя, досадно бо ми есть**), древние глагольные формы прошедшего времени (уби, приидох, кричаху), особые синтаксические обороты вроде дательного самостоятельного (**солнцу взошедшу – когда взошло солнце**).

Недаром книжный торговец мнит о книгах: **зело невразумительны**, но в то же время восхищается, когда по-писаному звучит. *Как по-писаному* – в России вечная похвала умеющему красно говорить! О вере, власти, учености, возвышенной премудрости только так пристойно изъясняться, и неприлично низводить книжные речи до простой беседы невежд. Надобно не книжные речи народным вяканьем бесчестить, но от книжных народную естественную речь исправлять. Вот как рассуждает этот предок. А во времена Липочки будет казаться уже, по крайней мере молодежи, что пристойно о многом говорить исключительно по-французски!

Когда разговор касается важных предметов, и в устной речи прибегают к книжным средствам выражения. Ими пользуются, говоря о житейских вещах, но в условных обстоятельствах, например в пьесах. Вот как выпендрено и тяжело объясняются действующие лица в «Комедии о Юдифи», с успехом шедшей в основанном в 1672 году придворном театре:

— Что глаголеши, Хабри? Тако ли Июдифь украшается лепо и хочет к Олоферну в стану его избыти?

— Ей, ныне бо от нея приидох и видех сам ее облечену во одеяние благодости своей, истинно сообразну некоему ангелу...

– Зрите же, се тамо уже грядет!

— О Боже! Каков сей есть ангельский образ! Не видех ю никогда же в сицевой красоте...

Лет через сто Сумароков напишет комедию, из которой Сергей Петрович Воробьев со вкусом будет читать отрывки. Настиному современнику они кажутся смешными не столько по содержанию, сколько по языку. Но по сравнению с этим – о, они гигантский шаг вперед. Есть, значит, прогресс в языке! Но тут еще что-то есть... не так уж и смешно, потому что, похоже, уже не на искаженный, неумелый русский язык, а на какой-то другой язык переводить требуется.

Но этот другой язык не вполне заменяем живым русским. Выходит, что много нужных в жизни слов (*рубаха, портки, лапти, шуба, лавка, бочка, кочерга, лопата, блины, похлебка, щи*), которых нет в книжном языке, непечатно – их просто нельзя написать из-за непристойности обозначаемых ими понятий, низости для книжной речи. Крайне неудобно, что по многим темам вроде вообще нет возможности писать, так как книжность не знает соответствующих средств, а разговорный язык как будто не вхож в письменность. Жизнь заставляет искать выход из такого затруднения, но об этом – позже.

Говоря о двуязычии, важно заметить угрозу его углубления. Если книжный язык оставался практически неизменным, его хранили по возможности в неприкосновенности и наказывали за внесение в него изменений (вспомним, как ехидно Третьяковский уличал в искажении старославянских правил своих современников), то живая русская речь была вся в движении. Один московский котел, переваривавший разные наречия и говоры, поворачивал и менял саму речь так, что держись! Вон прабабка из Новгорода окает, но уже и на московский лад приноворилась... Настя сформулировала главный вопрос: двуязычие значит два языка? Откуда они взялись? И куда делись?

– Да, это главный вопрос русского языкового развития, – согласилась Гривна. – И многое ты уже видела. Важное, книжное язычие к середине XVIII века превращается в культовый, жреческий, замкнутый в религии язык. Вспомни, как посмеивались над речью отца Григория. Но элементы этого языка поразительно живучи. Ты же вникала в споры о их роли в пушкинскую и послепушкинскую эпохи. Яркий блеск славяномудрия, глубоки его исторические корни, сильна святость церкви, чтобы затмить его новшествами улицы! Долгое время книжный язык безраздельно царит во многих сферах деятельности; кроме церкви – в науке, письменном общении. В «Арифметике» Магницкого, вышедшей уже в 1703 году, читаем: **Нумерацио есть счисление, еже совершенно вся числа речию именовати, еже в десяти знамено-ваниях или изображениях содержатся и изображаются сипе: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, из них же девять незнаменовательны суть, последнее же 0 (еже цифрою или ничем именуется), егда убо оно едино стоит, тогда само о себе ничтоже значит... Сия изображения от многих называются персты, и толико их числом, елико и перстов есть.** Чем учнее хочешь казаться, тем больше переходишь на книжное язычие. Так и сейчас некоторые щеголяют знанием иностранного языка.

Во всяком случае, чтобы не приняли за неуча, пишешь не так, как говоришь, а по правилам книжности: произносишь «сиводни», а на бумаге *сегодня*. Как в любое время, и в XVII веке кое-кто посмеивается над злоупотреблением книжными формами и в устной речи. Но не патриарх Никон! В

своих вселенских притязаниях он задает тон и в церкви, и в бытовой жизни. Оттого книжное язычие не то что тонет, но, напротив, расцветает даже в светских жанрах художественной литературы – так называемом русском барокко. Этот стиль охватил и драмы, и стихотворения – вирши Симеона Полоцкого, и эпистолы, и ораторскую прозу. К нему тяготеют самые популярные повести «О начале царствующего града Москвы, об Отроче монастыре, о Савве Грудцыне, о Карпе Сутулове».

– Впрочем, – продолжала свой рассказ Гривна, – в последних, как и в сочинениях раскольников-старообрядцев, в замечательном «Житии протопопа Аввакума, им самим написанном», в переводных пьесах и научных трактатах наблюдается и смешение, столкновение двух язычий. Это первый вестник начала конца их обособленности, знаменующий главный путь дальнейшего долгого развития. Близкий ко двору член *Кружка ревнителей благочестия Аввакум* выступил против реформы всеильного Никона. О гонениях, ссылках, 15 годах в земляной тюрьме-яме он и повествовал, пока не был сожжен. Хотя старомосковский церковно-книжный язык долго сохранялся в расколе, Аввакум дал письменное отражение живой устной речи. Он принципиально освободил язык от влияния церкви, в которой видел отход от истинной веры, не совместимой с формальной пышностью обрядов. Соответственно желательно было и обмирщение литературы, обращающейся к земным делам и радостям-горестям человека, и обмирщение языка.

Люди, все больше занимающиеся производством, все более просвещенные, теряют вкус к проповедям, к житиям. Рост хозяйственно-политической роли посадов, жителей торгово-ремесленных частей города, склонных к светским развлекательным или информирующим повествованиям, порождает уже с XV века бытовые и сатирические сочинения. Читатель — составная часть литературы, и под его вкусом она уходит от книжных традиций, испытывает влияние устного народного творчества. Но она написана, и таким образом монополии книжности в письме наносятся непоправимые удары. Можно теперь писать то, что раньше казалось непечатным. Но, конечно, настоящая новая русская литература начнется лишь с эпохи Петра Великого, может быть, и попозже. Настя вспоминает прочитанное в учебнике: в отличие от языка народности национальный язык проявляется в литературно-художественной форме. Интересно, как, казалось, ничего не значащая фраза теперь, при столкновении с исторической действительностью, обретает плоть, конкретный, осязаемый смысл. Национальное языковое единство, ясное дело, отлично от языковой общности народности: серьезно меняются с развитием рынка общественные функции языка (надо же всем хорошо понимать друг друга!), начинают заботиться об однообразии выражения, об обязательной для всех норме (с разнобоем одной орфографии далеко не уедешь!) и в то же время о стилистическом разнообразии.

Пойди справься с нуждами общения, коли у тебя два язычия! Какие тут наука, прогресс? Настя невольно переходит на дидактический тон человека, знающего больше, чем окружающие. Умильны вы, предки, больно: не порядок вам нужен, а бла-а-алепис! Сидят себе в патриархальной замкнутости. Ничего! Дремучая старина медленно, но уйдет. Новый мир, открывающий современность, Петр Великий уже рядом. Скоро, как сказано, он родится, всколыхнет всю страну, обреет бороды... Прощаясь с мрачным домом Воробьевых-купцов, Настя предупредила Гривну:

— Понимаю, но современным этот язык я бы не назвала. Забавно, но он как-то не кажется просто испорченным современным, как в XVIII веке. Вроде какой-то другой. Ну а книжное язычие вообще не назовешь неграмотностью... Чужое, но и родное оно.

Гривна согласно поддакнула:

— Условно давай назовем язык XVII века старорусским. Учитывая, конечно, ситуацию двуязычия. Уверенно зовешь книжность родной? Уверенно или самоуверенно? Куда соваться в волки, коли хвост собачий! Его же надо специально учить, а если учить, то и китайский можно выучить. И все-таки ты права, книжное язычие для русских родное. Глубже в древности оба язычия были очень близки; древнерусский язык, в отличие от старорусского, больше походил на церковно-книжный. Да и вообще они от одного родителя. Но дело и в том, что кроме родства по крови они много веков состояли в браке. И всё же, и всё же. Наличие двух типов языка, даже сближающихся, но разобщенных по сферам употребления и по структуре, не соответствует эпохе формирования нации. Оно становится крупным препятствием для централизации, для создания единого громадного государства – провозглашенной Петром I Российской империи. Весь начальный период становления русского национального языка идет под знаком преодоления двуязычия.

Настя, сморщив лоб, напрасно силилась вспомнить учебник, и Гривна, как заправский лектор, пустилась в объяснения. Вот что узнала Настя.

Товарное производство и товарный оборот, нужды рынка требуют не только государственного сплочения территорий с населением, говорящим по-русски, или с дружественным населением других

языков (такое сплочение стало фактом в XVI веке), но и их экономического слияния, концентрации местных рынков во всероссийский. Для образования нации необходимо устранение всяких препятствий развитию языка и закрепление его в литературе. При этом усиливаются междиалектные связи, общий национальный язык превращается в литературный, отличающийся всенародным единообразием, крепкими и обязательными нормами, представленными в образцовой литературе, признанными и охраняемыми обществом, государством, школой.

В условиях государственно-национального сплочения язык быстро развивается, стабилизируется, совершенствуется. Литература этому активно способствует, сама участвует в этих процессах, оказывает облагораживающее влияние на все разновидности общенародной речи. Богослужбные книги и душевспасительное чтение представляются уже слишком узкими по тематике, по идеям. Громадную роль играет обмирщение книг (слава раскольникам! слава жителям посадов!), появление демократической светской литературы художественных и публицистических жанров, трудов по истории, философии, науке.

Качественно новая система, основанная на противопоставлении не язычий (ни одно из них не в состоянии само по себе быть фундаментом всех сфер и содержаний национального общения), а стилей, которые синтезируют языковые общие богатства соответственно сферам и содержанию общения, возникает постепенно, в противоречивой борьбе. Современный нам русский национально-литературный язык окончательно сложится в XIX веке, начиная с А. С. Пушкина. Но зачатки очевидны уже в XVII веке.

Вот хотя бы новые слова. В образованный обиход привлекается все больше собственно русских слов: *начальник, чиновник, подданство, всероссийский...* Окно, прорубленное в Европу, переводческая деятельность, общая европеизация жизни открывают шлюзы иноязычности: *панталоны, фрак, жилет* – эти слова еще и при Пушкине будут казаться ревнителям старины чужеродными и непечатными. А их было целое море: одни обрусели (*кавалер, церемония, бляха, обыватель, армия, атака, гарнизон, вахта, лагерь, кухня, циркуль, глобус, инспектор, рапорт, верфь*), другие частично или полностью забылись: *вензель, приватный, шкипер, regiment* (полк), *регула* (правило), *виктория* (победа), *конфузил* (поражение). Поток был столь обилён, полноводен, что потомкам надолго хватило из чего выбирать и что выбрасывать. Борьба с иностранщиной станет вечной заботой борцов за чистоту русского языка. Ведь все хорошо в меру.

Точные даты в развитии языка указывать трудно. Но все же именно в петровскую эпоху свершится переход от языка великорусской народности к русскому национальному языку. Учреждение Академии наук, общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, реформа азбуки, обильное издание книг (при жизни Петра I выпущено более 600 названий) – все это ускоряет распад двуязычия, обостряет смешение типов языка. Ломоносов научно осмысляет понятие штиля и создает на месте стихийного сознательно направленный синтез языковых богатств.

Неупорядоченность в применении разных средств царит, однако, долго. Она преодолевалась унифицирующими грамматиками и словарями, как говорили – лексиконами, которые, правда, береглись простых речений, т. е. русских языковых особенностей, были в книжном русле.

Одной из первопечатных книг стала «Азбука», изданная Иваном Федоровым во Львове в 1574 году.

Это львовское, самое раннее из известных датированных изданий «Азбуки» сейчас сохранилось лишь в библиотеке Гарвардского университета в США. «Азбукой» первопечатника открывается история российских наборных книг для обучения чтению и письму.

В 1634 году издал «Букварь» В. Ф. Бурцов-Протопопов — красиво оформленный, с четким шрифтом и красным цветом для выделения букв. В нем, кстати сказать, впервые дана иллюстрация — черно-белая гравюра с изображением сцены из жизни училища: учитель сечет розгами нерадивого ученика. Как и в «Азбуке» Федорова, здесь вначале дан алфавит в прямом и обратном порядке, затем – слоги и грамматические правила; во второй части – молитвы и «Сказание како состави святыи Кирил Философ азбуку по языку словенску». Во втором издании 1637 года этого «Букваря языка словенска сиречь начала учения детем хотящим учиться чтению» даны стихи:

**Сия зримая малая книжица/  
По реченному алфавитица/  
Напечатана бысть по царьскому  
велению/  
Вамъ младымъ дѣтемъ к научению/  
Ты же благоумное отроча сему внимай/  
И от  
нижней степени на вышнюю восступай.**

Авторитетны были «Грамматика словенска свершенного искусства осьми частей слова» монаха Лаврентия Зизания (1596) и особенно «Словенская грамматика» Мелетия Смотрицкого (1619, 1621).

Любопытно, что *простые речения* описывали только иностранцы, например: Р. Джемс в своем «Словаре» 1618 – 1619 годов, Г. Лудольф в своей «Русской грамматике», неизвестный автор в «Словаре московитов» (Париж, 1586). Русским же не своя родная, а книжная речь казалась достойной описания. Впервые не только для обучения познания книг божественного писания, как, скажем, «Букварь» Бурцова, предназначался лицевой (т. е. с картинками) «Букварь славенороссийских писмен, уставных и скорописных» Кариона Истомина; этот первый иллюстрированный букварь вышел в 1694 году и многожды переиздавался – до 1829 года. Он учил, как видно из названия, и российскому некнижному языку, хотя и очень осторожно.

Симеон Полоцкий свидетельствовал в виршах, которые потомкам кажутся косноязычными, а для его современников звучали весьма складно:

*Писах в начале по языку тому  
иже свойственный бе моему дому.  
Тоже увидев многу ползу быти  
словенскому ея чистому учити.  
Взех грамматику, прилежал читати...*

*Тако славенский речем приложился елико дал  
Бог знати научился.  
Сочинение возмогах познати  
и образная в словенском держати.*

Еще в 1627 году вышел «Лексикон» Памвы Беринды, в 1704 году Федор Поликарпов издал знаменитый «Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище, из различных древних и новых книг собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное». О переводных словарях, облегчающих освоение западной науки и культуры, пекся Петр I. Он сам участвовал в их создании, требуя, «где какое именование явится, выписывать в особливую тетрадь. Сие выписав, перевесть на русский язык». Он собственноручно правил «Лексикон вокабулам новым»: чувствуя эпоху и *сгиб* ума русского, вычеркнул редкие слова, исправил ряд толкований (вместо *застава* при слове *барьер* написал куда точнее – *преграда*; при слове *глобус* – *круг земной, в подобие яблока построен*, заменив неточное сравнение *в подобие яйца*).

Настя устала от фактов, ее вдруг увлекло величие царя, сумевшего во всем сказать свое слово, верное слово. Петр был самым прозорливым художником России, смог нарисовать в своем воображении замечательный город, культурную страну, даже удобный алфавит. Не только вообразить, но во многом и сотворить на огромном холсте картину новой России, картину строгую, четкую, как черно-белая графика... Но Гривну было не остановить. Согласно кивнув по поводу восторга от Петра, она заметила, что он далек от первого упорядоченного описания собственно русского языка в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова. И снова затараторила про двуязычие, которое укреплялось не без помощи филологических пособий:

– Самая письменность способствует укоренению подчеркнуто книжного духа; это даже при печатанье светских книг, а оно началось много позже книгопечатанья духовного и церковнослужебного. Отступления от традиций письма кажутся досадными, хотя в разные эпохи мера терпимости к ним, как вообще к нарушениям порядка, различна: в XVII веке, например, за грамматические описки перестали сечь! А совсем еще недавно церковники видели ересь в каждой ошибке и надо было повторять любой текст слово в слово. Отсебятина в текстах священных книг расценивалась как преступление.

В сборнике церковных постановлений «Стоглаве» указывалось: **Которые писцы по городом книгу пишут, и вы бо им велели писати с добрых переводов да написав прави.** Продажу непроверенных и неисправленных книг возбраняли «с великим запрещением»: доставалось и продавцу, и покупателю, а книга изымалась. Расхождения между язычиями было и в орфографии: ее единообразия в книжности устанавливалось жестко и законодательно (в основном копировали старое и одобренное), в иной письменности требования менее строги, позволительны вольности (да и опыта-знания у пишущих меньше, чем у книжных начетников). Указ о едином правописании 1675 года демократично позволяет, например, **того в бесчестье не ставить и судов в том не давать и не разыскивать, кто в челобитье своем напишет А вместо О, Е вместо Ъ и иные в письмах наречия.** Но заповеди строгой старины преступались с трудом, а в церковных книгах вообще не преступались.

— Ты же твердила, что живое язычие только устное, что его не писали, – уличила рассказчицу внимательная Настя. – И что это еще за штука – *челобитье*!

— Записывали, конечно, и живую речь, особенно деловые бумаги, документы разные. Как без них? Как-то сам собой создавался особый письменный язык – *приказной*. На нем целые книги писали, например «Учение и хитрости ратного строения пехотных людей» или знаменитое «Уложение» Алексея Михайловича. В приказной письменности двуязычие как бы растворялось в пестрой, подвижной речевой ситуации, где есть лишь стремление иметь норму. Постепенно складывалось в этом многослойном дисгармоничном обобщении славянизмов, канцеляризмов, заимствований и народных слов и выражений *гражданское посредственное наречие* – предвестник ломоносовского среднего штиля и, шире, нового языка вообще. Ведь опора на народную речь придавала этой смеси жизнестойкость, хотя порядка в ней не было и как раз необходимо было разграничить неуживавшиеся средства, чтобы затем понять, что происходит в выбранный нами случайный день остановки, надо и вперед и назад от этого места заглянуть, а то дороги не увидишь – одни лишь привалы в стороне от нее, на обочине. История – это процесс!.. Ну ладно, о деньгах так о деньгах.

В старину бумажных денежных знаков не было (в России первые – *ассигнации* – появились в 1769 году), а стоимость металлических определялась ценностью веса золота или серебра, из которых они изготовлялись. Как всякое феодальное средневековое государство, считавшее себя независимым, удельные княжества Руси XIV – XV веков чеканили монету по своему образцу и весу. Наиболее распространены были *денга* Новгорода и *московская денга*, вдвое легче новгородки.

Пестрота разнотипных монет затрудняла расчеты, тормозила торговлю, подрывала экономику. Настоящим бичом была постоянная порча монет: вопреки всем карам люди, вроде твоего предка, стихийно обрезали их; да и сами властелины, желая получить больше монет из одного количества металла, тайно уменьшали их вес или содержание в них благородного металла. Меняли вес и, следовательно, стоимость монет и различные официальные реформы. Вот и Алексей Михайлович Тишайший реформировал деньги без учета рыночной стоимости металлов, без технической подготовки и знания экономики, потребностей рынка в монете. Впервые выпущенная монета *рубль* равнялась по номиналу 100 старым *копейкам*, а по весу – лишь западноевропейскому талеру, известному у нас под именем *ефимок* и весившему немногим более 50 копеек. Их перечекивали штемпелем, удостоверявшим, что эта монета отныне не ефимок, а рубль – *ефимок с признаками*. Еще их разрезали на четыре части и каждую клеймили как *полуполтину*, т. е. 25 копеек. Одновременно выпустили медные деньги, в частности *полтину* или *полтинник*, которую народ ехидно прозвал медным ефимком. Желая собрать у населения ценный металл, казна принимала налоги только серебром. Расстройство экономики из-за обесценения денег, спекуляции и фальшивомонетничества, недовольства купцов, ремесленников, посадских людей, у которых отбирали серебро и которым за все платили медью, и вызвали Медный бунт, подавив который правительство благоразумно вернулось к дореформенной денежной системе. Ты видела только что, как падал курс медных денег, их покупная способность. Они не удержались в цене на одном уровне с серебряными, ибо рынок не подчиняется прихоти даже царя. Равноценными они могут быть, лишь став знаками стоимости, когда номинал законодательно гарантируется государством и не зависит от веса, вообще реальной ценности знака – как при бумажных деньгах XX века. Превратить монеты в номинальные денежные знаки царю Алексею Михайловичу не удалось.

Это сделал его великий сын, свершивший то, чего хотел отец, но без катастрофических последствий. Свою реформу Петр I провел тактично, исподволь, 15 лет готовя народ к принятию столь ненавистных медяков. Сначала выпустили медную *денгу*, *полушку* и *полуполушку* (1/2, 1/4 и 1/8 копейки), втолковывая населению, что по закону две денги, четыре полушки или восемь полуполушек совершенно равны серебряной копейке, что медь введена исключительно как мелкая разменная монета для удобства расчетов. Ее и называли *мелочь* – словом, сохранившимся с более общим значением до твоего времени. Серебряный рубль был такого же веса, что и рублевик Алексея Михайловича – западный талер, но по весу теперь действительно равнялся 100 незаметно облегченным копейкам, которые превратились в такие крохотные кусочки серебра, что считать их стало труднее, чем медяки. Так Петр хитроумно менял психологию людей, привыкавших к меди и уже не так боготворивших неудобные серебряные копейки.

Гривна продолжала свой рассказ, пока наши героини переносились в очередную историческую сцену – в какую-то точку XVI века.

## ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК

## Не только о деньгах

Зачатки прогрессивного денежного счета ввела единая общерусская монета, которой ознаменовала возведение на престол малолетнего Ивана IV его мать Елена Глинская. Новая денга по весу равнялась новгородке, а традиционный для Москвы всадник был изображен не с мечом, не с саблей, а с копьём в руке. Впрочем, говорили, что изображен государь великий князь на коне. Чтобы отличить новую монету от вдвое меньшей старой *московки*, тоже оставшейся в обращении, новую, большую стали называть *копейной денгой*, *копейкой*, а меньшую, старую, – *мечевой*, *сабельной*, *сабляницей* или по привычке просто денгой. И люди долго еще считали по старинке на денгу, называя копейку двумя денгами.

Полушка (полуденга), тоже выпущенная как всероссийская монета, составляла половину сабляницы и четверть копейки, но слово не прижилось, и вопреки смыслу говорили *полушка*, хотя на ней впоследствии стояло: «1/4 копейки». И монету 1/2 копейки, выпускавшуюся еще в 20-х годах XX века, называли по-прежнему денгой, денежкой. Слово *полушка* живо, пожалуй, лишь в пословице: «За морем телушка полушка, да рубль перевоз», а слово *денга*, по происхождению, кстати, восточное (тюркское *шаньга* – *звонкий*; индийцы называли серебряную монету *танка*, татары – *тенга*), в конце XVIII века стали писать через **Ъ**, употреблять во множественном числе и собирательно обозначать им средства, знаки стоимости. Рубль с возобладанием десятичного принципа стал пониматься как 100 копеек, а до того был названием счетно-платежной единицы, равнявшейся 200 денгам или 400 полушкам.

За рассказами наши героини отсчитали еще сотню или около того лет. Перегон не открыл чего-то совсем нового: Москва и до опричнины громадная, с населением в 150 тысяч душ. Земляной вал и частью кирпичная стена обозначили Белый город – будущее Бульварное кольцо. По Яузе разбиты сады вплоть до Сыромятников. Растут застройки Китай-города, достигшего сегодняшних размеров, Заречья (Замоскворечья, Занеглименья, Заяузья), строится кольцо монастырей – Новодевичий и др. Современники-иностранцы восторгаются:

«Это самый славный из всех городов Московии как по своему положению, которое считается срединным в стране, так и вследствие замечательно удобного расположения рек, обилия жилищ и громкой известности своей весьма укрепленной крепости... Почти все дома имеют при себе отдельные сады как для пользования овощами, так и для удовольствия, отчего редкий город представляется столь огромным по своей окружности... У самой главной части города впадает в реку Москву речка Неглинная, которая приводит в движение зерновые мельницы».

Настя узнаёт многие давно не существующие строения, башни, ворота. Откуда? По альбому зарисовок «Старая Москва»? Скорее из-за кирпича: раз с папой ходили в Донской монастырь и там в филиале музея архитектуры изучили брусковый кирпич, появившийся в Москве с XV века, отличный от плиточного – от плинф, которыми началось каменное строительство на Руси еще в XI веке. Перед глазами прямо по улице кирпичные сараи, где вырабатывают кирпичи, особенно небольшие – для выкладки печей. Обязательно ставят клеймо, принадлежащее Приказу каменных дел: «орел и единорог» или «лабиринт». С «лабиринтом» везут на кладку Китайгородской стены – об этом экскурсовод, помнится, толковал: изобретение литых пушек заставило думать о стенах, рассчитанных на артиллерию, более низких, но более толстых, чем кремлевские, вокруг Великого посада – будущего Китай-города.

Кирпичные стены Кремля с шестью проездными башнями и отводными стрельницами выложены из *государева большого кирпича*; его обжигают в этих же сараях. Вспомнилось, как папа читал надпись, вырезанную на белокаменной плите в проезде Спасской башни: «В лето 6999 (т. е. в 1491 году) сделана бысть сия стрельница... а делал Петр Антоний от града Медиолана». Так увековечил себя миланский мастер Пьетро Антонио Соларио, а память о другом приглашенном итальянце – Марко Руффо – хранит созданное им первое гражданское каменное сооружение Москвы – Грановитая палата для торжественных приемов: **предивным мастерством устроена из белого камня, тесаны грани акы чешуя** (по граненому камню фасада на Соборной площади и название). Настя знает, что и в ее эпоху – разве другими словами – восхищаются люди этим прекрасным строением.

Центром крепости служит Дворцовая площадь с заново выстроенным главным храмом столицы – Успенским собором, где коронуются правители, с княжеской усыпальницей – Архангельским собором, затем Благовещенским. Настиным современникам кажется, что все это стоит вечно, но сейчас она понимает, что окружающие, кто постарше, помнят город без этих зданий, а кто помоложе все-таки

ощущает их величавую новизну. Насте интересно, что, оказавшись в прошлом, многие вещи воспринимаешь по-новому. И слова многие впервые слышишь. Вот предок, попади он в Настану Москву, ясное дело, столкнулся бы с новыми вещами и словами, возникшими после него. Но выходит, что новое есть и до тебя!

И как новость узнаёт наша героиня, что на месте деревянных хором Ивана Калиты и каменной церкви Спаса на бору стоит теперь тоже невиданный ее современниками Большой государев дворец. Начатый Иваном III и законченный его сыном Василием III, он достраивается Иваном IV, но служить будет Борису Годунову и Романовым. Многовековой строительный процесс приведет в XIX веке к Большому Кремлевскому дворцу, включающему в себя Грановитую палату и Золотую царицыну палату, Теремной дворец с церквями. Вход в Верхоспасский собор, построенный вместе с Теремным дворцом, запирается Золотой решеткой (оттого и собор зовут Спас за Золотой решеткой). Гривна не преминула рассказать легенду: отлита будто решетка из медных денег, изъятых из обращения после Медного бунта. Помнится, Воробьев-торговец в будущем веке о такой возможной переплавке медяков говорил... Но решетка-то раньше поставлена, выкована из железа и расписана золотом, и люди еще не знают, что будут когда-то медные деньги и бунт.

Пока перед нами Кремль XVI века. Лепятся друг к другу хоромы, высокие терема с пестрыми яркими верхами, церковки с золочеными, серебряными и желяными главками-маковками. То и дело сторают, сносятся за ветхостью, но неизменно стоят с конца XV века каменные соборы, зубчатые стены, башни, пока не увенчанные мастерски шатрами, не говоря уже о рубиновых звездах и даже золоченых орлах. Но стоять им вечно! Монументальность памятников Новгорода переплетена здесь с изысканностью владими́ро-суздальского зодчества. Великие кирпичные работы придали Кремлю и всей Москве византийскую пышность (такова была воля Зои-Софьи Палеолог, супруги Ивана III) и очертания, сохраняющиеся полтысячи лет. Так была подчеркнута роль Москвы – непререкаемого и великого вождя страны. Роскошь царских обрядов подавляла воображение не меньше, чем торжественность архитектуры.

Вот и знакомая усадьба. Но дом малюсенький, бедняцкий. Не зря, ясное дело, Воробьев-букинист отпиливал кусочки от серебряных монеток да книжками спекулировал. Шипи себе Гривна, не желая снизойти к родственнику: зато какой дом отгрохал в будущем веке! Без излишней скромности родоначальница русских денег (Настя уже поняла, что Гривна не только украшение, отлитое из монет, но и вновь материал для них) нетерпима и со злорадством напоминает, что любая нечестность наказуема и что пострадает нечистый на руку, пусть и разбогатевший торгош. Книжки стоят немалых денег – за одну платят столько, сколько за рабочую лошадь и за 30 овец. Да разве переведешь в деньги мысли автора, каторжный труд писца?

Истинный книжник живет не наживой от перепродажи чужой работы, а своим благородным тяжелым трудом. Гривна с трепетом уважения цитирует дописываемые им слова: **Кто сию книгу помыслит продать, тому пропасть, а кто замыслит заложить, тому голову положить.** Вон он, государев подьячий Московского казенного двора Федор Борисов сын Воробьев. Знал бы, что правнук разбогатеет, торгуя переписанными им книжками, даже частными грамотами, подделывая их для шантажа! Не обрадовался бы новому дому. Хоть мошна пуста, да душа чиста.

Стоит подьячий за высокой конторкой, макает остро очинённое перо в чернила, нанизывает орнамент вязи. Жалованье у него приличное – целых 30 рублей в год, но и расходы большие. Подрабатывает он заказами на дом, благо переписывать есть что, но главное для него – *челобитные*. Ворохом навалены в *свитках-столбцах*, в них за завитушками скорописи – судьбы людей, сама жизнь. Они все на бумаге; пергамен дорог (он для важных царских бумаг); на досках и лубе (берёсте) Федор не пишет.

Рукописные книги, искусно, с любовью сделанные, – предмет почитания. Их берегут как зеницу ока, первыми спасают от пожаров, набегов. Скоро начнется книгопечатание, в Москве откроется Печатный двор, крупнейшая типография Европы. Первопечатные книги воспроизведут на новой технической базе лучшее, что накоплено рукописными. И не дешевле они сначала будут. Издатели начнут выдавать свою продукцию за выполненную вручную – настолько велик авторитет рукописи. Печать одобрена церковной и царской властью ради несомненно точного копирования святых книг, чтобы устранить отсебятину, неизбежную при кустарной переписке. Оттого-то, первая русская книга – «Апостол». Иное дело, что книгопечатание, как окажется, способствует не одному только расцвету богослужебной литературы, ее благословенной унификации.

Насте приходит на ум памятник первопечатнику напротив нынешнего «Детского мира»: «Иван Федоров – 1563», а Гривна все никак не слезет с темы денег. Причудливо складывались их названия. По

случайности у нас рубль и копейка, а не гривна и денга. Могло статься, что мелочь бы мы считали сабляницами. А полушка, т. е. половина, ставшая обозначать четверть копейки! А *алтын*, *алтынник*!

Была еще такая монета (от татарского *алты* – шесть), наверное, для удобства выплаты дани татаро-монголам, имевшим двенадцатеричную денежную систему: рубль=33 алтына + 2 денги. Алтын составлял 6 московок, потом 3 копейки – немного! Про приданое бедной девки в «Капитанской дочке» Пушкина сказано: «чистый гребень да веник, да алтын денег, с чем в баню сходить». Языковая метаморфоза, превратившая 6 в 3, ощутима в более позднем названии 15-копеечной монеты – пятиалтынный. Своеобразная русская монета в 3 копейки (такого номинала не знает, кажется, ни одна страна), ее неразумно называли гривенным, когда после реформы 40-х годов XIX века она по ценности сравнялась с 10 копейками предыдущих выпусков. Не очень внятно назван введенный Петром I *гривенник* и появившийся в 1760 году *двугривенный* – названия монет достоинством в 10 и 20 копеек.

— И главное, все эти названия от тебя – от Гривны, – сочувственно заметила Настя. – Знаешь, давай к делу. Цель-то наша, ясное дело, язык. Про архитектуру, про деньги – все это интересно, но ты рассказываешь больше, чем я хочу знать.

— Поневоле заяц бежит, когда лететь не на чем, – выдала Гривна, оправдываясь. – А названия монет, разве это тебе не язык? Я и объясню, что в книжном языке не было этих нужных слов, как и других многих, важных для развивающегося хозяйства, производства, государства: *пуля*, *запал*, *дуло*, *окоп*. Нет в нем слов *дума* (орган управления государством), *приказ* (орган управления отдельной отраслью), *повытчик*, *подьячий*, *дьяк* (кто сидит в приказе), *земские* и *съезжие избы* (на местах), *сотни*, *стрелец*, *пристав*. Нет в нем и необходимых иностранных названий, как *капитал*, *солдат*, *оказия*, *персона*. Книжные параллели, если и существуют, не равноценны: *господин*, *вотчина* (с XV века московский князь именуется *государь*, а объединенные вокруг него земли – *государством*; с Ивана IV появляются новые титулы – *царь*, *царство*), *раб*, *смерд*, *холоп*, *селянин* (укореняющееся крепостничество же требует новых слов – *крестьянин*, *мужик*). И соотношений таких пруд пруди: *дворец*, *башня*, *кушанье*, *еда*, а не *терем*, *вежа*, *страва*. Книжный словарь не отражает русскую жизнь, а русские слова писать как бы неудобно, если не запрещено. А жизнь требует свое.

С трудом, но все же и на письме-бумаге выводят: **зажигальник** (поджигатель), **живота не дати** (предать смертной казни), **отказатися** (*расторгнуть договор* вместо книжного *отречися*), **лай** (ссора, брань), **язык** (пленный), **бой учинити**, **по чину**, **вылазка**, **сторожевой полк**, **окольные пригороды**, **кормовые запасы**, **посад**, **пищаль**, **отхожий промысел**, **целовальник**, **жалобник**. Сюда относятся и слова, порожденные взаимоотношениями с татарами, монголами: **ярлык** (грамота на княжение), **казна**, **караул**, **каланча**, **башмак**, **чулан**, **зипун**. Их-то уж явно не было в книжном языки, на котором писали. Московский говор изменяет значение и форму многих слов, известных книжному языку.

Вот как, например, идет развитие слова *господин*: **господарь** – **государь** – **(о)сударь** (еще у Грибоедова первоначальное ударение: «А вас, сударь, прошу я толком / Туда не жаловать ни прямо, ни проселком... Боюсь, сударь, я одного смертельно»), вплоть до «словаерса»: *прошу-с*. Книжное и древнее **боярин** (**боярский**) – член верхушки княжеской дружины и совета, вольный слуга князя – в московской речи становится обозначением лица, пожалованного высшим придворным титулом, члена боярской думы. Одновременно развивается значение «крепостник, землевладелец, вотчинник, помещик», при этом меняется форма слова – **барин**, **баре**, **барский**, **барыня**, **барышня**.

Отражая жизнь, живая речь европеизируется, демократизируется. В кипящем котле диалектного многообразия, говоров посада, речи образованных людей, аристократов выплавляется система отшлифованных практикой средств выражения из устной речи, фольклора. Вносит свой немалый вклад изобретательство подьячих и дьяков, мудрствующих в приказах. Но, конечно, сильно влияние и церковнослужителей, духовников, твердо держащихся книжного языка, не признающих никакого другого даже и после Петра Великого. Отмирают одни, переосмысляются другие, творятся третьи слова и выражения. А это, в свою очередь, перегруппировывает семантические пласты, изменяет продуктивность типов словопроизводства, меняет даже общие морфологические формы, отрабатывает синтаксические модели.

— Ну, что размусоливаешь? – перебила Настя. – Усвоила я уже, что жизнь требует фиксации нового, что в книжности нет слов для его обозначения и что двуязычие не допускает до письма новшества как непечатные, некрасивые. Назревает, ясное дело, взрыв.

По Маяковскому: не объяснишь церковными славянскими крюками ничего! Когда пишут о делах всерьез, юридически, по необходимости ставят выражения из ежедневного разговора. Но это не оживляет книжный язык. Это может лишь углубить двуязычие, развести язычия дальше друг от друга.



— Именно! – поддержала Настю Гривна. – Иван Грозный, пользующийся славой и искусного книжника (**в науке книжного почитания доволен и многоречив зело**), строго соблюдает книжные правила в официальных бумагах, но в частных письмах не скупится на разговорность, даже обычную брань.

Гривна поведала о знаменитом «Домострое». В нем как бы на разных языках написаны главы по домовому строению (о быте, ведении домашнего хозяйства, об устройстве жилища) и религиозные главы, касающиеся власти, веры, поведения русского человека. В первых, например, читаем: «А у кого дочь родится ино рассудны люди от всякого приплода на дочь откладывают на ее имя... а как за муж заговорят, ино все готово, и толко ранее хто о детех не смышляет да как за муж давать и в ту пору все покупать». Широко прибегают к живой речи первые публицисты XVI века, например Иван Пересветов в «Сказании о Магомете салтане»; то же в «Повести о Горе-Злочаштии», «Повести об Азовском осадном сидении» (об осаде Азова турками в 1641 году; в основе повести подлинная казачья отписка, т. е. отчет).

Смешение двух язычий, и изрядное, наблюдается порой в одном тексте, но вообще-то их стараются особо не смешивать. Во всяком случае не пишут, вставляя в книжный текст житейские слова, ничего, кроме повседневных документов. В них-то и складывается особая деловая письменность, не обладающая величием и блеском книжно-славянской, церковной, но играющая громадную роль в жизни общества и отдельных людей, – так называемый государственный *приказной язык*.

### Челобитье и писцы

Федор Борисов сын Воробьев, знаток и мастер приказного языка, рассуждает о челобитье:

— Бить челом, т. е. лбом, головою о землю, значит кланяться низко, земно. Не писали раньше бумаг, а являлись лично и сказывали жалобу. Теперь так говорят, когда просят, жалуются, даже когда благодарят, приветствуют, встречаясь или прощаясь. Говорили смешно – *жалобница*; ныне, после общерусского Судебника, составленного в Москве в 1497 году, порядок наведен: *челобитная*, чтобы едино со всеми грамотами, как древние *договорные, dokonчальные, перемирные* или *данные* (от слова *дань*), *жалованные, духовные*. Эти все и в прошлом веке были. А нынешний век принес еще новые – *льготная, беглая, бессудная, купчая, крепостная, вкладная*. Грамотой теперь больше царскую бумагу величают, а если частная, то *грамотка*. И *челобитная* вроде стало общим названием разных документов.

Настя соображает: вот откуда *похвальная грамота*. И *филькина грамота* отсюда, и *верительные грамоты*, что послы вручают. Предок тем временем распространяется:

— Челобитная – и жалоба, и прошение, и иск, и извет, и какой ни есть письменный акт. *Исковая челобитная* – заявление в суд; *изветная* – донос по государеву слову и делу; *повинная* – признание вины и мольба о смягчении наказания; *мировая, отсрочная* и много иных. Важнее всего, конечно, царские *указы*, потом *отписки* (донесения воевод в ответ на указ), а также *сказки* (обличительные речи, что зачитывают государственным преступникам перед казнью), *допросные речи, ставки, доезды* и иные дела Тайного приказа, *дипломатические письма, таможенные, писцовые, записные кабальные книги, поручные записи*. Но это не челобитные, они не по мне.

Все же, снисходя будто к Настиному любопытству, прочитал образец указа: **От царя и великого князя... столнику нашему и воеводе... По нашему великого государя указу Степан Григорьев сын Борисов для старости от нашия государевы полковые службы отставлен, а в его место нашу государеву полковую службу с поместья его велено служить сыну его Ивану. И как к тебе ся наша государя великого грамота придет и ты Степана Борисова на нашу государеву службу впредь высылать не велел. Писана на Москве, лета 7076, февраля в 3 день.**

— Колико удобно, толико и непременимо. В ней что ни слово, то на своем месте должно стоять, а то челобитчику не послужишь и сам осрамишься. – Предок вздохнул, признавая, что грамот побайвается царских и не считает себя способным их писать, но со знанием дела, вдохновившись, продолжал: – По обычаю Москвы все челобитные адресуем лично царю государю и великому князю. В крайнем случае: царя государя гетману. Хотя, конечно, ни гетман, ни тем более царь читать ее не будет... Не приведи лукавый ошибиться в титуле. Писали *государю царю*, потом *царю государю*, а скоро будут опять по-старому, но с добавлением *великому государю царю* и не *всёа Руси*, а *всёа Руси* или *Росии*...

Гривна поддакнула:

— Верно мыслит. *Великий князь всеа Руси* – официальное титулование с XIV века, а с XVII века – *великий государь царь*, и не *Руси*, а *Росии*, *России*. После воссоединения Украины в 1654 году добавят *всеа Великим и Малыя Росии*, затем *Великия, Малыя и Белья*, а также слово *самодержцу*. В челобитных от неимущего люда, от крестьян часто все напутано. Чего взять: пишут их выпендренно, но искренне грамотеи из мелких приказных людишек, там сельский или церковный дьячок, приказчик, староста, сиделец. А то и сам челобитчик: раз-де грамоте учен, могу не платить писцу. Только грош им цена, таким бумагам. Бывает, правду сказать, и от них прок. Один безграмотный, сказывают, ловко в конце покаяние приписал: «а я убогай лутчи тог написат не умел и списат у мени некому». Федор рассмеялся:

— Царю показывали, так тот цельный день потешался, а просьбу благоволил исполнить. Но это редкая удача. Хочешь дело продвинуть, иди к искусным подьячим в приказы, в воеводские управления, в земские избы, где за всем оным дьяки наблюдают. На крайний случай, по безденежью – к площадным подьячим.

Сам рассказчик у знаменитостей учился, всю жизнь пишет, куда как наторел и то иной раз задумается, начерно напишет, потом правит и перебеливает. Дела ох разные! Кто и о чем только не приходит написать – о суде и пересуде, льготах и откупках, приеме на службу и увольнении от нее, о служебном продвижении и наградах, обмене поместьями, возвращении беглых крестьян, разрешении открыть кабак или поехать к иноземцам торговать... О сыске «безвестных плутов, еже связали воротилки и подложили голики веничные». А то доносят о преступных против государевой особы словах, о колдунах и ворожеях, магических зельях и кореньях.

— О извет! Страшен он, но избавляет от обвинения в недонесении. Потому вот и пишут про мастерицу, сыпавшую пепел на след царицы и говорившую про нее посмешные слова. – Федор тяжело вздохнул и передернул плечами точь-в-точь, как Настин папа, когда всерьез сердится. – Неприятно писать, хоть платят за извет изрядно. Для богатеев он!

Сам-то Федор старается тем охотней, когда ему заказывают написать жалобу на незаконные поборы и издевки воевод, приказчиков, старост. Он сочувствует тем, кто хлопочет о назначении или прибавке денежного и хлебного жалованья, умоляет выдать деньги на похороны умершего с голоду или от ран, *чтобы собаки на улице не съели*, кто бьет челом об отсрочке уплаты оброка, о ссуде семенами, **О даче кормцу и на одежку и лаптишки**. То и дело драмы: **по грехом своим оскудал от хлебного недороду, а что было животинишки, кляченко да коровенко, все на хлеб испроел**. Одним словом, шумел-горел пожар московский, дым расстилался по земле!

И тут, впрочем, не без обману. Подключник царского хлебного двора молит пожертвовать лоскутишков дочеришке на свадьбенку. И домогся! Дали ему шкурку собольих, куньих, бобровых, только белых не имал!.. Но писцу не мнение высказывать, а все многообразие упорядочить. Он – испытанной расторопности и верности советник.

Много светлых голов билось над формами порядка, и теперь, как верит прапрапрадед Федор, легко изложить кратко, ясно суть любого челобитья: от кого оно, в чем дело, да еще и польстить тем, кто читать будет. Затевая хлопоты или испрашивая разрешения, вразумительно вложить в принятые формулы всякие взволнованные, пристрастные, многословные людские желания, просьбы, жалобы, заявления.

**Бьет челом и просит милости, бьет челом и плачется, бьет челом на** – так вводят личность. *Рукоприкладства*, т. е. личной подписи, как, впрочем, и имени писца, в челобитных нет, разве в коллективных жалобах – заручных челобитьях. Кстати, подписная челобитная – такая, по которой верховная власть, приняв решение, не стала издавать указ, выдавать льготную или иную грамоту, а прямо на ней *подписала*, т. е. сделала юридической силы помету. Крестьянские просьбы об откупе, предоставлении отпуска, разрешения отправиться в отхожий промысел на заработки или съездить на побывку к родичам становятся пропуском на проезд, видом на жительство, заменяя особую бумагу – *отпускную* или *проезжую память*, если на них помещик (или его приказчик) сделал подпись и приложил печать.

Настя невольно перевела на современный: *наложил резолюцию, поставил печать, получил визу*. Ей открылось назначение делового языка, выработавшего обобщенные бланки и формуляры для кодирования типовой информации, чтобы четко и эффективно обслуживать сложный управленческий и хозяйственный аппарат государства, нужды граждан. Без этого обработка данных и принятие решений были бы затруднены, замедлены, а за ними ведь судьбы людей, всей страны! Предок же, по-нашему сказать, стенографистка, машинистка и делопроизводитель.

В классе не смолкал смех, когда учительница заставляла писать заявления, автобиографию, справки, докладные записки, стенограммы и выписки из них, решения, постановления, протоколы

собраний. А если всерьез: как без них? Очень трудно сочинить простейшее заявление, даже зная принятый стандарт: *Директору... от ученицы (или от не надо?) такого-то класса, такой-то школы (имя впереди фамилии или после?) Заявление* (с большой буквы, хотя странно последнее слово в общем-то одной фразы писать как заглавие). Честь и хвала Федору и другим подьячим средневековья, изобретателям разных *дана сия в том*, выдержавших миллиарды повторений! Как жить, не будь удобных образцов, экономящих силы и время?

Излагая, как положено, суть, важно и живое словцо вставить, которое на жалость бьет. С извиняющейся улыбкой Федор объяснял, что словесной ловкостью правого обвинишь и виноватого выгородишь. Хитрость в том, чтобы прошение униженным вышло: челобитчик именуется *холоп, сирота*, а то *раб, смерд*. Хотя *холоп* – кабально зависимое лицо, *сирота* – просто крестьянин, здесь они значат «покорный», «верноподданный», «слуга». *Сирота* в письме только и употребляется, в обиходе говорят *человек, крестьянин, крепостной*. В народе *сирота (сиротка)* – беспомощный, неприютный бедняк или оставшийся без отца-матери ребенок, овдовевшая женщина, но грамотные люди этого не принимают...

Настя подумала, что ошибается предок, именно этому значению слова *сирота* суждено будет стать литературным. А увлеченный рассказ про дела приказные шел дальше:

– Челобитчика именуем полуименем – ставим имя в уничижительную форму, пусть он князь. Многоопытный писец искритится косвенно упомянуть чин и княжество: **бьет челом холоп твой государев князя Юрьев сын Мещерского Алешка**. Целыми именами называем только иных поминаемых по делу лиц. Слова, относящиеся к челобитчику, и те ставим пренебрежительно: *одежонка, кафтанишко, зипунишко, коровенка, поместьишко, усадьбишко*. В меру добавляем принижающие *многогрешный, худой, разоренный, последний, погорелый* или *пожарный* – от пожара пострадавший. *Убогий* пишу, *нищий, скудный* и о кирпичнике, сидящем в тюрьме, и о сотнике московских стрельцов, который, видишь ты, платьишком ободрался! Униженность тем больше, чем выше великого царя превознесешь – назовешь праведным, милосердным, благоверным, милостивым, ублажишь словами *смилуйся учини указ, смилосердья дать, милосердуй, умилостивись, умилосердись, помилуй-пощади*. Если чего просишь, точно не называешь: *как, чем тебя Бог известит, наставит, по душе положит...* одним словом, *сколько соизволишь*.

Настя поняла: славословие лилось каждодневно, как лава из вулкана, по челобитным, указам, иным бумагам, накладывая отпечаток на весь быт и весь язык. Изошренное, изобретательное титулотворчество составило суть этикета. Обязательные обращения, словесные излишества, когда словечка в простоте не напишут, были больше чем модой: за упущения наказывали, а простоту речи, откровенность просьбы воспринимали как неуважение, как недостаток любви и хладнодушие. Странно и противно!

Но из приказных формул (это уже Гривна вмешалась) вышло много жизнеспособных речений: *милости просим, прошу любить и жаловать, взять на поруки, дать очную ставку, неявка в суд, принять к делу, возложить вину, найти управу, отдать под суд, не дать умереть голодной смертью, вконец погибнуть, дать видеть свет, быть в опале, душой и телом предан*. Так сложился тип глагольно-именных сочетаний, без которых трудно представить себе русский язык: *принять решение, обеспечить выполнение*, хотя, казалось бы, можно обойтись глаголами *решить, выполнить*; они нужны, ибо точны, хотя злоупотреблять ими не след!

Особая судьба открылась в деловом языке слову *пожаловать (пожалуй)*. По интонации оно включало в себя множество оттенков: *пожалуйте в горницу, корову пожалуй продай, пожалуй вели, пожалуй ста укажи выдать*. Усилительная частица *ста* – от *стать* или *сударь?* – была очень распространена. Вспомним у Пушкина в «Истории села Горюхина» уже явно иронически: «Все листа здесь?» – повторил староста. «Все-ста», – отвечали граждане». Так вот эту разговорную частицу мудрые подьячие облагородили и из разговорного *пожалуй ста* сделали вполне литературное и красивое слово со значением «будь добр, будь милостив» (у украинцев и сейчас: *будь ласка*): пожалуйста [пажалста]. Сначала, конечно, его многие, особенно из старых грамотеев, считали вульгарным, плодом неграмотного приказного самоуничтожения. Его не советовали употреблять вместо «правильного» *пожалуйте* или *будьте любезны* и тому подобных еще в середине XIX века. Но все же стало оно удивительно многозначным, универсальным и общепринятым, даже любимым русским словом.

Настя пережила и восторг, и влюбление, и возмущение.

— Но как там ни говори, – заметила она, – тошнотворны эти *человечишки, человеченки, людишки, сироты и холопы, Васьки, Петрушки, Ваньки, Варварки*.

Гривна возразила:

— Это же этикет феодального общества! При обращении на «ты» выражать вежливость было принято – и не только в России! – уничижением себя и возвеличиванием адресата. – Ее понесло в рассуждения: – *Челом бьет холоп твой Петрушка Рамодановский*, а в указе-ответе *От царя стольнику нашему и воеводе князю Петру Григорьевичу Рамодановскому*. И в демократическом обществе конца XX века есть свой этикет, ты знаешь, когда надо имя и отчество, когда фамилию, когда со словом *уважаемый*, а когда без него! Может быть, в XXII веке это тоже покажется людям странным... Машек и Мишек, т. е. употребление полуимен в формально принятом этикете (они, как ты знаешь, останутся в бытовой речи молодежи), отменил, устанавливая новые европейские нормы, Петр I указом 1701 года: «Полуименами никому не писаться». На практике помещики-крепостники сохраняют их, впрочем, до 1861 года. А кстати: не злоупотребляешь ли ты сама в школе кличками Петька, Колька, Халим-ка, Настька?!

Петровские «Приклады, како пишутся комплименты разные» 1708 года и «Комплименты или образцы, как писать письма к разным особам» узаконят *Вы, Ваши* как обращение к одному лицу с формулами *Милостивый государь, Господин мой, Высокочтимый приятель, Дражайший друг, Приятнолюбезный сродственник* и подписями *Ваши покорный слуга, Остаюсь к услужению готовый*. Укорениться новому этикету способствует популярное руководство 1717 года, как вести себя в той или иной ситуации, – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению». Галантный язык, предшественник карамзинского языка милых дам, долгое время причудливо уживается с традиционными нормами. В письмах самого царя: **Матка, здравствуй, объявляю вам... достойные презенты: ты ко мне прислала для вспоможения старости моей, а я посылаю для украшения молодости вашей**. Если его сын пишет в ранних письмах **Государю моему батюшке Петру Алексеевичу сынишко твой Алешка благословения прося челом бьет**, то поздние начинают словами *Милостивейший государь* и подписывают *Всепокорнейший сын и слуга твой Алексей*.

Гривна смолкла, а Федор продолжал ворошить бумаги. Всё больше посадские пишут. Вот купец, конюх, ямщик, пушкар, певчий дяк, иконописец, лекарь, денежного двора боец, костяного токарного дела мастер, иноземного кружевного дела мастер. Нерусские уже не то, что залетная птица, – прибывает их в Москве с каждым часом. Вот служилый ясашный татарин Арсланко Ишиев сын Мустафин, мордва Одушко Арнаев со товарищи, нововыезжий немчин Иван Радов, старый иноземец греченин Фетька Лазорев сын Короман.

Посадские люди московских сотен и слобод обозначают свое положение не профессией, не словами *посадский человек*, а словом *тяглец*, т. е. лицо, несущее государственную повинность и платящее подать. Купцы высших гильдий, Гостиной и Суконной сотни, и это слово опускают: **бьет челом холоп твой гостиные сотни Васька Шорин**. По «Уложению» 1649 года за бесчестье суконщика на 15 рублей штрафуют, а за бесчестье члена Гостиной сотни на 20, тогда как за оскорбление людей черных сотен и слобод всего на 7. Особняком совсем уже стоят кадашевцы – жители Кадашевской хамовной слободы, где ткачи-хамовники ткут столовое полотно (белье), а ткачи-кадаши – особой тонкости ткань для нательного белья государева семейства. Имеют большие привилегии также жители Огородной и Садовой слобод, поставляющие ко двору овощи и фрукты.

Федор совлечением читает одну грамоту за другой: **Црю гсдрю бьет челом холоп твои москвитин Больших Лужников теглец Сенко Федоров снь Дюпин, умиловствися гсдрь пожалуй ссудою для моей скудости как тебе милосердому государю обо мне бог известит; Гсдрне прце биет челом раба твоя беспомощная вдовка Варварка дочь Логинская все о нужде своей и о бедности...; Бьют челом и плацютца сироты твои государевы вотчины твоей старостишко Петрушке Трофимов да крестьянишко Ивашка Евстифеев пожалуй вели милосердый государь отпустить к Москве работишкою своею покормица; Гсдрь смилуйся пожалуй бьет челом и извещает холоп твои государь стрелец Минка Глазун на стрельца Харламка Хлоповского что он про тебя великого государя говорил непригожие слова...**

Отглаженные этикетом, как галька волнами, фразы отливаются под пером подьячего – всё о мудрости, о благе и покое великого царя. И невмоготу Насте от них: голова кругом идет от писанины, крючкотворства, возведенного в принцип самоуничтожения, подобострастной лести.

Обороты тяжеловесны, длинные, мертвенны. Кажется, их нарочно запутывают, чтобы грамотеям легче было околпачивать простых людей, малограмотных истцов, ответчиков, обвиняемых и свидетелей. В мутной водице разные хитрецы крупную рыбу, ясное дело, вылавливают.

– Доносят, потому что себя берегут, – вскричала Гривна. – Иван Грозный на троне! Знаешь, и в XX веке такое, увы, бывало...

Но Настю не остановить: от приказной волокиты и наши несчастья, не заслуживает бюрократия ни одного доброго слова! Ей вспомнились перлы, возмущавшие отца: «освобождение от работы за упущения, связанные с недообеспечением должного уровня руководства предприятием». Кроме нужного управленческого дела, канцелярский язык всегда служил обману, угнетению. Недаром Чехов сказал о нем «какая мерзость»!

Гривна и согласна вроде, и несогласна. Мерзость мерзостью, но и источник нашей непростой и всемогущей речевой культуры. Что до смысла, то *волокиту* (самое слово изобретено в недрах приказного языка XV века!) едко высмеивали в сатирах на крепостной строй и московскую централизованную власть. Как заметил Вольтер, богословы порождают атеистов! «Повесть о Ерше Ершовиче» рассказывает, например, как судили вора и разбойника Ерша Ершова сына: «Бьют челом и плачутца сироты божий и ваши крестьянишка Ростовского озера жильцы Лещ да Гололавль... А тот Ерш щетина к нам в Ростовское озеро з женою своею и з детишками своими приволокся в зимнюю пору на ивовых санишках, нас из вотчины вон выбили и озером завладели насильством... Нас хочет поморить голодною смертию. Знают Ерша на Москве князи и бояря и всяких чинов люди...»

Сатирически имитируют челобитные повести «Шемякин суд», «Лечебники, как лечить иностранцев». Злые шутки отпускают не только люди невоздержанного языка, но и истинные борцы. Потомкам бывает трудно понять, если не давать себе труда погрузиться в обстоятельства другого исторического времени. Приказной язык служил, конечно, волоките, но служил и высмеиванию ее. Он породил художественную литературу, пришедшую на смену душеспасительному духовному чтению и имевшую яркую социальную окраску и боровшуюся против угнетения.

Фактом боевой социальной литературы, а не только делопроизводства стали, например, «Стоглав» и челобитные Ивана Пересветова, публициста времен Ивана IV, обличавшие боярскую знать и утверждавшие ответственность царя. Освещая широкий круг важных вопросов просвещения, быта, нравов, они предназначались для массового чтения. В силу злободневного общеинтересного содержания не удовлетворялись книжностью и, тяготея к живой речи, обращались к деловому языку *статейные списки* – отчеты русских послов о выполнении статейнаказов: именно этот язык, в отличие от книжного, накапливал опыт отражения живой речи и живой жизни.

Складные, длиной в несколько метров, узкие листы бумаги исписаны столбom (отсюда название) сверху донизу без перерывов пересказом речей, которыми послы обменивались с деятелями стран пребывания. Рассказы о церемониях, городах, нравах и обычаях населения, политических событиях, отношении к русским – всё это вызывает острый интерес. Правда, *столбцы*, позднее названные *курантами*, как любая зарубежная новость, окружались на Руси государственной тайной, знать их иной раз опасно. Но всё же они становятся известны и содействуют развитию форм описания и повествования, обогащению языка. Эти процессы усиливаются, когда новости официально стала сообщать газета Петра I, не снявшая, впрочем, с зарубежной жизни завесу секретности или таинственности.

Развитие повествовательных и описательных форм укрепляло связи делового языка с разговорным, сказываясь в лексике, синтаксисе, орфографии. В столбцах много даже диалектных черт, например: *чепь* вместо *цепь*, *орать* вместо *пахать*.

Вот посол Микулин докладывает из Англии, как его встретил **королевин дворовый воевода лорд Хартберг Пенброк, а с ним князи на жеребцах и на конех в наряде и в золотых чепях, как въехали в посад в Лунду и в те поры было по реке по Темзе в судах и по берегу по обе стороны и по улицам людей добре много. Есть и описание Лондона: А город Лунда Вышегород камен невелик стоит на высоком месте и около него воды обводные. А большой город, стена камня ж, стоит на ровном месте около его версты с четыре и болыни; через реку Темзь меж посадов мост камен, а на мосту дома каменные и лавки и торг великой устроен со всякими товары.**

Вот рассказ о заговоре лорда Эссекса (Разве не стоит его засекретить? Вдруг кто-то за пример для Руси примет!): **И Лунда-город был заперт недели с две, а улицы замкнуты были чепми, а лунские люди все ходили в зборе наготове в доспесех с пищальми, остерегаячи королевну... И февраля в 17 день сказывали Григорью и Ивашке: сего дни эрль Эксетцкому суд был, а судили деи его вотчинные большие двадцать четыре князи, и по суду деи Эксетцкой стал виноват и осужден на смерть. И февраля в 24 день эрль Эксетцкой казнен смертью в Вышегороде, и после его по нем в Лунде было великое сетование и плачь великой по всех людех.**

Посольский приказ – средоточие профессионалов пера, писательских кадров: тут служили возведению языка на политический небосклон для целей миротворчества. Иной выход за пределы официальных документов получал деловой язык в разных хозяйственных наставлениях, лечебниках,

путевых заметках. Вот кусочек из знаменитого «Хождения за три моря», написанного тверским купцом Афанасием Никитиным, который отправился в 1466 году в Персию, был схвачен по пути татарами, но попал после долгих злоключений в Индию:

**И есть тут Индейская страна и люди ходять нагы все, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу плетены... А князь их фота на голове, а другаа на бедрах, а бояре у них фота на плеще, а другыя на бедрах... А зимовали есмя в Чюнейре жили есмя два месяца, а всюду вода да грязь. В те же дни у них орюють да сеють пшеницу.**

При всей непринужденности повествования купец не уберется и архаически-книжных *град, ночь, в руке, в дорозе, придох, сказах*. Однако книжная стихия тут явно идет через приказной слог.

### Мочь и немочь приказного языка

Особо важной станет приказная письменность в эпоху Петра I. Деловой язык упорядочивает синтаксис, вытесняя *яко, зане, коли, аще* свойственными живой речи посада *потому что, оттого что, если*, и во многом поспешествует переходу от языка народности к национальному литературному языку.

До сих пор живет шутивым архаизмом официальная формула *атаман казачий Васька Ус со товарищи*. Но вот повтор предлогов, взятый челобитными из древней письменности и отчасти из фольклора, как норма не прижился: **Извещает на кадашевца на тестя своего на Федора, являет на Микифорову жену на Орину Федорову дочь, тягался с Сидором с попом, на твой на боярский на житный двор, на реке на Шуе**. У Афанасия Никитина читаем: **полез есми на судно на пословно и съ товарищи**. Уже Ломоносов признал такой повтор простонародным излишеством.

Письменность приказов, весьма органично сливая народные и книжные средства, обладавшие жизненностью, расширяла поле своего применения. Отражая пестроту московского разговора, она не копировала его рабски, но учитывала традиции и хранила преемственность. Она училась у книжности многому, ибо было чему учиться. Ведь в Киевской Руси издавна бытовала деловая письменность, отражавшая живой язык (только, конечно, древних киевлян) и сохранившая, скажем, утраченные позже аорист и имперфект. Но московская приказная письменность – и это главное – закрепляла поиск своих великорусских норм и правил, свою фонетику и морфологию, своеобразный синтаксис.

Фиксируя живую речь, письменность приказов в свою очередь ее упорядочивала. Будучи государственным средством общения, она воздействовала на речь москвичей и всех жителей Московии, распространяя свои нормы в присоединенных областях. Это же были столичные нормы, а из столицы – и делопроизводство, и вера, и власть!

Освященные официальными сношениями, эти нормы и правила воспринимаются как образец для всех грамотных людей в быту, в переписке, в сочинительстве. Они кажутся красивыми и единственно верными. Да, впрочем, и по головке не гладят за их нарушение... Унификация проводилась по всей стране сразу: централизирующая рука Москвы была строже церковной; в отличие от языка церкви тут не терпелись ни местные изводы, ни раскол. Столичные приказы закладывали фундамент общего языка решительнее, чем даже древняя книжность, чем святые книги.

Настя почувствовала, что ее оценки вновь перевертываются. Еще, наверное, в восьмом классе была, когда маму вывела из себя. Та всерьез возмутилась школьным жаргоном и потребовала: «Надо чистить язык! Железной щеткой!..» Папа, насмешливо-терпимо снисходящий к словесным фокусам, заметил: «Язык у тебя действительно грязный, но хорошо, что не канцеляритом болен, по диагнозу К. И. Чуковского». Тогда еще «Литературка» дискутировала: растет ли доброе слово на асфальте или только на пашне, в лесу, в деревне, преимущественно старой?

— Ясное дело, растет. Да еще как! – Настя повторила свой тогдашний аргумент и добавила: – В том-то и величие русского языка, что на пользу ему питание самое разное. В том числе и с канцелярского стола.

— Верно, хотя, конечно, только слепой курице всё – пшеница, – закивала Гривна, довольная ученицей. – Такой уж он, русский язык: всё переваривает себе на пользу, всему дает *постоянную* или *временную прописку*, а то и *кладет в долгий ящик* или *под сукно*. Это я специально выражения вспомнила, которые канцеляристы-бюрократы изобрели, а общий образованный язык – не без сомнений сначала – взял.

Но она со вздохом не поддержала следующую мысль увлекшейся Насти: не двуязычие, а трехязычие.

– Деловая письменность, – предположила Настя, – породила свое «язычие» – приказной язык, зафиксировавший (и тем давший им большие права) черты живой речи Москвы, письменно их облагородив, нормировав. И главное, этот письменный язык был собственно русским, великорусским. Он и стал основой общего будущего литературного языка. Ясное дело! Ежу понятно!

– Нет, не стал, – возразила Гривна, – по счастью, канцелярский язык основой нашего литературного языка. Не было в нем той силы, что нужна была Ломоносову, Пушкину. Даже в лучших образцах был он скован делопроизводством, чернильной печатью однообразия и трафарета. Поэтому не мог по-настоящему расширить свои функции и, хотя закрепил собственно русскую живую норму, не стал довольно богатым и народным, творческим. Вклад его велик, но не во всем благотворен: он породил немало болезней, от которых люди и в твоё время страдают. От него канцелярит!

И Гривна стала размышлять, словно убеждая себя саму:

– В приказном языке очень неблагоустроена грамматика. Далеко ему до той организованности, которая была в книжнославянском и есть в современном языке. Упорядоченность устанавливается ведь многовековой шлифовкой, всесторонней обработкой. Он не замыкался, правда, в канцелярских бумагах, но созданные на нем произведения, выходящие за рамки служебного пользования, – те же сатирические повести, становившиеся материалом для широкого чтения, – пахли чернилами приказов. Густо лежала на них печать крютворства!

Одно время казалось, что приказной язык синтезируется в единый общий литературный. Указующе властно звучал совет царя Петра Великого переводчикам: «Со всем усердием трудиться и высоких слов славенских класть не надобеть, но посольского приказу употреблять слова». Приближенные императора, «птенцы гнезда Петрова», вели на этом языке дневники, записи о заграничных путешествиях. На нем составлялись «Ведомости», на нем пробовали писать художественные произведения. Всё же светские сочинения по традиции да и по фактическому богатству языка более примыкали к испытанной книжности. Устная речь и приказная изобретательность лишь иногда прорываются сквозь завесу славянизированного языка в повестях «О Петре и Февронии», «О купце Дмитрие Басарге», «О воеводе Дракуле» и других популярных произведениях XV – XVI веков. Вот что получалось: **Девицу же хотя в ответах искусити, аще мудра есть, яко же слыша о глаголах ея от юноши своего. Посла к ней с единым от слуг своих... Некогда же преиде купец гость некий от Угорския земли в его град. И до его заповеди остави воз свой на улице града пред полатою и товар свой на возе, а сам спаше в полате. И пришел некто украде с воза 160 дукат злата...** Не годился этот язык!..

Более осмысленно, но причудливо книжные и разговорные элементы переплетены в «Сказании о псковском взятии». Но и тут ни то ни се: живое взаимодействие книжного и русского языков в формах приказного к началу XVI века оказалось недееспособным. Русский ушел столь далеко в развитии особой своей структуры, что просто не сочетается с книжным, что было возможно раньше – в эпоху Киевской Руси, как доказано гениальным текстом «Слова о полку Игореве». Теперь взаимодействовать должны не разные элементы в пределах одной языковой структуры, а именно две структуры. Но «в одну телегу впрячь не можно...» Деловая письменность и примыкающая к ней светская беллетристика не отделены китайской стеной от книжности и отражают сдвиги в живой речи непоследовательно. Да и сама книжность сильно архаизировалась.

Не получается из приказного языка моста между двумя язычиями, и живая речь не стала самостоятельной. К сожалению! Двужычие царит: ты видела, что в одном тексте излагаются книжно оценки событий, торжественно-важные места, а самые события передаются просторечно. Будто кусками сложены послания Иосифа Волоцкого, сочинения инока Максима Грека, переписка Андрея Курбского и царя Ивана Грозного, произведения митрополита Даниила. Характер языка тут меняется в зависимости от содержания. Чередуются контексты, а смешения книжных и народных средств в одном отрывке нет. Органичной смеси не наблюдается, во всяком случае у образованных людей. Иной раз, например в «Новой повести о преславном Российском царстве» начала XVII века, одно и то же изображается сначала книжно-риторически, потом по-бытовому. О цели великого посол сообщается в метафорически-книжном ключе, затем эта цель описывается простыми словами, начиная словом *сирень* (то есть) – вро как разъяснение для тех, кто в книжности ела как перевод тирады на обычный язык. Но мы совсем забыли про Федора Борисова сына Воробьева. Вот он приветствует родственника из подмосковной деревни, крестьянина Петр; Воробья:

— Здравствуй, каким делом приехал?

— Как вас Бог милует, защитник вы наш. Возьмите вот, гостинцев привез – огурцы, капуста соленая и свежая, репа, яйца, мед пресный. А приехал я, Федорушко, не с торгом, а бить челом. Вся надежда на искусство ваше...

Настя пропустила мимо ушей, о чем просит Петруха и что Федор обещает *утре написать*. Ее смутили имена: почему не Федор Борисович, не Петр Воробьев? Всезнающая Гривна вновь пускается в объяснения:

— Разве не говорили вам на уроках истории избитую шутку: «Как фамилия Ивана Грозного? Неужто не знаешь? Нет у него фамилии, хотя он из рода Рюриковичей – дедичество от Рюрика». Трудно это себе представить, но в узком малоподвижном мирке обходятся одними именами. Это потом, с XVI века, записи типа «се куписе Анфиме у Тимофея нива на Марожи на реке» стали приводить к спорам. Поди докажи, что ты наследник именно нужного Анфима! Даже князя, с XI века добавлявшие отчества, прибегают теперь к прозвищам-уточнениям: *Василий Большой Андреевич*. Примеру следует и люд поплоче: *дьяк Угрим Львов сын Выродов, Федька борода Петров дворник* (т. е. арендатор двора). Многие фамилии вышли из этих *пушкарь, рыбник, портной, кузнец*. Прозвища спасают от хаоса, но разброд мешает, и центральная власть приказывает в XVII веке «писаться с отцы и с прозвище», т. е. узаконивает трехчленную форму (прообраз нынешних паспортно-анкетных Ф. И. О.): *воевода Борис Семенович Дворянинов, подьячий Игнатий Петров сын Недовесков*.

Фамилии у русских людей массово появляются в XV – XVII веках, как правило, из отчеств, дедичеств или прозвищ. Кого как зовут по рождению, кого как нарекли по выходке и замашкам для каждодневных разговоров в трудовых буднях и в праздниках, то и остается навечно. К твоему роду издревле пристало прозвище *Воробьи*, от него и фамилия. Деревенского Петра по-прежнему кличут просто *Воробей*, а горожанин Федор зовется уже *Воробьев* – притяжательное прилагательное: потомки Воробья – *Воробьи, Воробьины, Воробьевы*. Сначала только так, а потом и официально – в переписях 1646, 1678, 1710 и 1715 – 1717 годов, когда писцовые книги заменят ландратными, более известными как *ревизские сказки*, и сложится единая для всей России система фамилий. Кстати, уникальная в мире. Единица учета в переписях – тягловый двор, записываемый по мужчине, за исключением вдов, несущих тягло. При имени дают имя отца (отчество) и деда (дедичество): *Ивашка Петров сын Федоров*. Твои предки на месте имени деда ставят древнее семейное прозвище, которое помнили, но скрывали от людей: языческие мирские имена были с XIII века под запретом, хотя и жили упрямо в бытовых домашних разговорах. В писцовых книгах 1495 года они записаны: **Ефимко Воробей, крестьянин; Во дворе Андрей Осипов сын по прозванию Воробей, у него два брата Алексей квасовар и Тимофей швец Воробьины, а сын его Алексей взят на Москву в плотники, а жена Федосия умре.**

Прозвища и сейчас служат фамилией, особенно на Украине. Будь твои предки украинцами, звалась бы ты *Анастасия Воробей* или, поскольку украинцы переименовали самое птичку, *Анастасия Горобець*. Между прочим, на Украине даже слово *прозвище* значит «фамилия», а русское *прозвище* переводится как *прізвисько* или старым словом *назвище*. Принимая фамилию, твои предки подчеркивали свое посадское социальное положение, не столь низкое, чтобы по-крестьянски именоваться, но и не столь высокое, как у наследников земельных наделов.

Вот возьми отчества: на -ич имеют право употреблять только князья: *царь Иван Васильевич*, а не *Иван Васильев сын*. Нельзя Федора назвать Борисовичем, ибо это привилегия высшей знати. Петровская «Табель о рангах», развитая в «Чиновной росписи» Екатерины II, и то позволит писаться на -вич лишь особам первых пяти классов. Лица в должностях с 6-го класса по 8-й могут именоваться полуотчеством, остальные вообще только по именам. Но это будет, когда фамилии узаконятся. Само слово *фамилия* войдет в русский язык тоже только при Петре Великом. До того фамилии случайны, необязательны. Этикет имен и обращений менялся медленно и неохотно. Сложившаяся в XV – XVI веках система поместий – земельных вознаграждений за военную и иную службу царю – стала мощным рычагом поддержания дисциплины и боевой готовности, преданности ратных сил в руках правителей Москвы. Угроза лишиться земли у помещиков отпадет, когда в 1714 году уничтожат разницу между вотчинным и поместным землевладением.

Все это мало касалось Воробьевых, живущих трудом рук своих. Одна из твоих дальних родственниц, правда, вышла замуж за Балашова (татарина, от *бала* – «дитя»), кому царица Елизавета Петровна пожаловала дворянское достоинство. Родичи посмеивались над инородцем и его дитятком, сыночком – дворянским недорослем, которому мамаша готовила сюзму, каймак, дулму, непривычные москвичам. Но чего это я тебе про тех Воробьевых рассказываю, к которым нам не наведаться?..



А хозяйева, в доме которых невидимо присутствует Настя с талисманом, тем временем садятся за стол вечерять. Беседа с житейских дел перепрыгивает на государственные. В устах подьячего зазвучала иная речь:

– Мы хвалим за милость, яко же родихомся во царствии скипетродержания царского. Самодержавство изволением промысла почин прияше от великого князя Владимира, иже просветил есть Русскую землю святым крещением, и великого князя Владимира Мономаха, иже от грек высокодостоинейшую честь восприемшу, и храброго великого государя Александра Невского, иже над безбожными немцы победу показашу, и хвалим достойнейшего государя Дмитрия, иже за Доном великую победу одержавшу.

Подьячий вздохнул, перекрестился, а за ним перекрестились и все слушатели. Потом продолжал нараспев:

– По грехом нашим князи и бояри учили изменяти. Власть, дворы, села, имения, самую казну малолетнего Ивана – все себе восхитиша. Ивану же осьмому лету от рождения тогда преходящу, сие положило есть ад аспиден, умякнуша словеса его паче еля, и та суть стрелы. Тела ради и славы мимотекущая душе погубил есть, яко же рече: а жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же есмя. Егда же достигоше лета пятагонадесят возраста, пламень огненный царьствующий град Москву попа-лише и бояре наустиша народ, бутто царь чародейством сие учинил. Яко бы и его убити, но бях тогда в своем селе Воробьева. Гривна помогла понять:

– Да, на Воробьевых горах есть село Воробьева – собственность царя Ивана Грозного. И он там в самом деле прятался в 1547 году. А вот имеет ли это село отношение к твоему роду, не знаю... Сейчас же твои предки повторяют слухи.

И дело тут вот в чем. Все горожане и довольны, и недовольны разделением страны на *земщину* во главе с боярской думой и *опричнину*, подвластную только и лично царю. Опричина ведет к перераспределению земель в пользу дворян, к разгрому боярской оппозиции, к казням. Она усиливает власть царя, который ловко маневрирует – ставит бояр между двух огней: между собой и народом. В 1564 году он выезжает в Александров, откуда шлет два послания. В одном обвиняет бояр в измене, в другом заверяет черный люд, что гнева и опалы на него не таит. – Гривна вздохнула:

– Ох, хрен редьки не слаще! Дворянство крепнет, бояре с думой не сломлены, на местах сидят наместники... Вводимое правление *приказами*, может быть, разумнее. Суд вершат губные старосты из местных дворян, подати собирают *целовальники* – кто крест целовал государево добро блюсти; конечно, хорошо, что бояре поприжаты, что *излюбленные головы* из посадских людей и государственных крестьян хоть какие-то права получают. Вместо дружин создается дворянское ополчение, становящееся с изобретением огненного боя и устройством отрядов пищальников грозным регулярным войском.

Развивается землеустройство, а с ним математика, геометрия; путешествия дают толчок к развитию географии. Успехи производства засвидетельствованы Царь-пушкой, отлитой Андреем Моховым. Но московская администрация в то же время стала совершенно безжалостной. «Судебник» 1550 года ограничил право крестьян менять владельцев Юрьевым днем – 26 ноября. Вспомни: немногим позже, чем мы сейчас видим, в 1581 году, указ о *заповедных летах* отменит и это ограниченное право, полностью закабалит крестьян за помещиками крепостным правом. Ты же знаешь поговорку: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» – пропала-де и последняя надежда!

Настя вновь вслушалась в речь подьячего, который вроде бы немного оправдывал Ивана IV, но и обвинял его в жестокости:

– Царь такие досады стерпеть не мог, за себя есть стал. Ныне же в небытную ересь прельщен: изменников всего лишае, от земли туне отгоняе и всех смерти предасть. – Говоривший посмотрел боязливо по сторонам (не сказать бы лишнего!), но продолжал: – И яз грешный коего зла и гонения не претерпех, егда есми писал все по ряду ратное дело одного воеводы. Коих бед и напастей на мя царь не подвигл есть! От многие горести сердца пощуся мало изрещи ти. Испро-сих умиленными глаголы, умолих многослезным рыданием милости сохранить живот и чин. Не изрекох зане лутче Бог весть, нежели человек, он бо есть за все сие мздовоздатель.

Настя взмокла от напряжения, с которым вслушивалась, чтобы не потерять смысл. Мрак! Откуда двуязычие только взялось? Почему неприлично важные темы, государственные или церковные, тем же приказным языком изложить, если уж никак нельзя простым разговорным, каким с родственником из деревни беседовал? Ведь не пишет сейчас подьячий, а устную речь держит и все равно лукаво мудрствует...

Настя смутилась, заметив недовольство Гривны. А та бурчала, что легко, мол, быть умной полтыщи лет спустя. Нет авторитета нужного ни у живой русской речи, ни у приказного языка, которому к тому же и физических возможностей не хватит осветить серьезные материи.

— Ну, ладно, а как с дежурным нашим вопросом: понимаешь ли язык предков?

Настя задумалась: «Говорят явно на этом, на *старорусском* языке, переходят с одного язычия на другое, но различия очень заметные. Единой нормы нет ни в грамматике, ни в произношении, а о лексике и синтаксисе и говорить нечего – совсем разные. Книжное язычие знают все образованные люди, не то что в XVIII веке, когда только некоторые, вроде попа Григория, им щеголяли, да и то, видно, не всегда правильно. Сергей Петрович, если и понимал, книжной речью сам не пользовался, а большинство уже и не знали, что **свене, овогда** – это *кроме, иногда*. Впрочем, трудно сказать, насколько Петруха такие слова понимает. Им учиться надо специально».

Настя заметила, что Гривна довольна ее мыслями. Пчел не поморивши, меду не есть!.. И вновь отсчитываются вспять десятилетия. Мелькнула Русь Василия III и Ивана III, отца и деда первого русского царя – Грозного Ивана IV. *Русь, Рдсия*, как ее начинают называть, протянула границы за Урал, Обь, присоединила все русские земли – народоправства и удельные княжества: Новгород, Псков, Вятку, Ярославль, Тверь, Пермь, Ростов, Рязань, Смоленск. В 1552 году взята Казань, в 1556 году присоединено Астраханское ханство. Добровольно вошли в ее состав Башкирия, Кабарда. С конца XVI века осваивается Сибирь: строится Тюмень, Тобольск, идет в поход Ермак...

И Настю захватило вдруг чувство принадлежности России, безбрежным просторам, сложной и славной истории. Ей стало яснее открываться величие русского языка, ценность которого в России вечно осознавалась чуть ли не как главный стержень общественной жизни. У нынешних дискуссий о языке многовековая традиция, древнейшие корни. Уже в Древней Руси было нормализаторство: упорядочивались правописание, употребление и сочетание слов.

Централизация, формирование народности и нации, рост общего рынка вели к возвышению московского наречия. Оно легло в основу общего литературного языка, в какой-то мере вытесняя, нивелируя все остальные. Помогло тут и творческое начало делового языка и, значительно больше, древней книжности. В сложении литературного языка они не смогли, однако, сыграть решающей роли, ибо первый был слаб, не имел широкой народной основы, а вторая была уже малопонятной, чужой и явно скомпрометированной. Гривна внесла поправки:

— Не скомпрометированной, а слишком связанной с церковью, удалившейся от житейских тем, от быта. Но не забудь про потуги старую книжность оживить. Это особенно сильно было в XIV веке, когда понималось как дело первейшего государственного значения так называемое *исправление книжное*. Оно сопровождалось яростными спорами, которые волновали все слои русского народа и послужили поводом для раскола русской православной церкви.

И тут Гривна вдруг провокационно предложила:

— А может, вернемся в твой век? Ничего ведь интересного, как ты говорила, в истории языка нет. Испорченный просто язык был...

Но Настя уже и сама стыдилась своей оплошности, когда великую историю великого языка по наивному незнанию и недомыслию свела к порче и неграмотности предков. Предки, ясное дело, разные – странные и хорошие, умные и поглупее, честные и не совсем. Но они – предки и по-своему для своего времени не глупее нас. И язык их для нас странный, но для них прекрасный, вполне удовлетворявший их нужды, идеалы, помыслы. И грубовато от смущения наша героиня попросила:

— Давай крути свое обратное кино!

## СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

### Третий Рим

Москва видна за десяток верст, восхищая взор своей возвышенностью и красою, сиянием куполов и башен. «Над Москвой великой, златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной...» Вместо дворца в Кремле златоверхий терем, храмы совсем другие. Откуда Настя знает эту неизвестную, непохожую на ей привычную Москву? Наверное, из учебника, где говорилось, что стены Кремля, расширив его почти до сегодняшних размеров, возвел из известняка князь Дмитрий в 1366 – 1368 годах.

Полтысячи лет складывают здания из белого камня подмосковных карьеров. Эти традиции градостроительства начались каменоломнями на левом берегу Москвы-реки еще в XII веке! В начале XV века был построен Спасский собор в Андрониковом монастыре – это самое старое белокаменное здание в Москве, сохранившееся до Настиных времен.

Пока же перед нашими путешественницами во времени открывается город, во главе с которым формально еще порабощенная Русь скоро освободится от ненавистного рабства. В стоянии на Угре осенью 1480 года золотоордынцы не накажут, как задумали, непокорную Москву, но и не решатся напасть на угрожающе противостоявших русских воинов, до последнего вздоха готовых отважно драться за право на самостоятельность, независимость и свободу. Знаменитый завоеватель Тамерлан, дойдя до Ельца в 1395 году, уже не рискнул двигаться дальше – на Москву. Князь вот-вот бросит наземь и растопчет *басму* – знак послов хана в удостоверение их полномочий. Поворотная веха освобождения от ига, более полутора столетия обескровливавшего Русь хищническими набегами, позади.

Победа на поле Куликовом 8 сентября 1380 года, подготовленная ростом патриотического самосознания, ознаменовала и усилила перелом в умах, определила всю дальнейшую жизнь Руси. И хотя преемник Мамай, ворвавшись спустя два года в неприступный Кремль через доверчиво растворенные стражами ворота, разграбил Москву и восстановил зависимость от Орды, а ордынцы нет-нет да и возьмут откуп от Москвы, уплата вековой дани прекращена. Неизбежность освобождения ясна для обеих сторон. Настя знает, что недалеко даже присоединение к Москве самих Казанского и Астраханского царств. Историки сравнивают битву в междуречье Дона и Непрядвы с Ледовым побоищем и Бородинским сражением. В ратных подвигах зрели и крепили патриотизм, любовь русских людей к отчизне, ростки новой государственности.

— Да, Московское государство – итог победы на Куликовом поле, как белокаменный Кремль, островерхий терем в нем – ее предчувствие, – вслух продолжила мысли Настя Гривна. – Верой и правдой служили кремлевские стены, но уже ветшают, устарели по устройству. Скоро, знаменуя окончательное свержение ига, начнется грандиозное строительство, и к концу текущего, XV века стены Кремля обретут привычный тебе темно-красный кирпичный вид. Воистину, Москва не сразу строилась!

— Железные предки, москвичи! – воскликнула Настя. – Как никто сильны, решительны. Язык свой создали. Четырежды освобождали родину от иноземных угроз – от монголо-татарского ига, от польско-литовского нашествия, от французского вторжения, от коричневой чумы фашизма. Их грудь хлебнула огня, спасая и своих, и всю Европу. Что с Русью разрозненной стало бы, не будь их! Погибла бы...

— Нет, – запротестовала Гривна. – Несгибаемый кряж русские: нашелся бы другой оплот, чтобы исполнить патриотический долг. Правда всегда побеждает, но помогать ей необходимо, и заслуги Москвы в самом деле трудно переоценить. Прокладывать непроторенные пути в вечность – такова судьба Москвы. Она – целый мир, хранит русский характер, национальный дух. Что Россия без Москвы? Справедливый вопрос. Но что Москва без России? Великая страна питает свою столицу, оттого-то она и стала великим и славным городом. Центром огромного пространства, географического, социального, хозяйственного, духовного. И языкового. Ведь Москва впитала в свою речь северные и южные говоры, спланила их и, облагородив литературной традицией и нормой, передала всей стране. Москва – объединительница и собирательница! Хорошо, что в тебе пробудилось уважение к земле предков, их быту, обычаям, культуре, языку. Да, город сей – твоя родина, любимый уголок. Но нельзя жить только малой родиной, даже если это Москва: твой город – «кусочек отчизны в громадной стране». Нет истинного патриота без чувства большой России. И как бы ни нравились московские словечки, главное – в общем русском языке. Конечно, можно особо гордиться тем, что московский вклад в него велик.

Гривна увлеклась морализированием: чтобы не затеряться, надо-де и вперед заглянуть, и к прошлому обратиться, всё воспринять внутренним взором. Тогда станет широко видно на все четыре стороны света, тогда сиюминутный быт переплавится в вечное историческое бытие. Москвичи преодолели соблазн местного чванства и эгоизма, вознесли Россию и сами с ней вознеслись к масштабности чувств и деяний Петра Великого, к державности национального мышления.

В Насте заговорили корысти: своего тоже упускать не надо. А то вон при Петре уступили так трудно добытое право быть столицей! Съехидничав, она перескочила на другую крамолу:

— Батый да Чингисхан помогли Москве выйти вперед. Нет худа без добра!

Гривна возмутилась, да так, что Настя прикусила язык:

– Один богохульник уже высказался на такой манер – «Пожар способствовал ей много к украшению» (про Москву, отстроившуюся краше прежнего после наполеоновского нашествия). Нет и

нет! Не будь немецких псов-рыцарей, не будь 1941 года, только краше был бы град Москва, счастливее жили бы люди...

Достойные наши предки героически творили настоящее и для этого умело славословили свое прошлое. Но зачем тратят наши герои время на словопрения, находясь в XV веке? Лучше сразу войти в круг интересов, знаний, взглядов образованного человека русского средневековья – прямого Настинного предка *Демьяна Воробья*. Правда, он предпочитает величать себя *Дамиан Врабий*. Почему? Да потому, что так благолепней. Святых Козму и Дамиана, покровителей ремесленников, его родители называют Кузьма и Демьян, сам он настаивает на славянском произношении. Так и с прозвищем: зачем простолюдные *воробей*, когда по-книжному *вrabий*.

Предок исполнен такой патриотической гордости, такого восторга, что и Настю захватывает необъяснимая радость просто от взгляда на герб города – каменную фигуру всадника, ездоца (первоначально, видимо, святого Георгия, покровителя города, по-московски – *Егория*) на главных воротах белокаменного Кремля.

Торжествует в это время надменная формула: «Москва – третий Рим. А четвертому не бывать!» Пусть и не столица Российского государства, лишь стольный град княжества Московского, но Москва уже властвует над соплеменниками. Княжество неудержимо возвышается, присвоило себе титул великого и назвало своего князя *великим всея Руси*. Оно восхищает всех вольнолюбием и отвагой, суровой собранностью москвичей. Оно становится средоточием общих интересов, великорусской силы и власти. Москва безоговорочно признана объединительным знаменем пестрой мозаики маломощных княжеств. В ней видят хранительницу национального достоинства, сумевшую пробудить самосознание и возвеличить роль русской народности.

— Не оправдывает ли это предка, для которого, видать, все гуси – лебеди? – Настя с сомнением вопрошает Гривну.

— Кто знает? Дела вроде подтверждают неповторимую ответственность, взятую на себя москвичами. Отброшены последние черты татарского улуса. Посмотри кругом! Вот самотечный водопровод, построенный *осадного ради сиденья*. Скоро он будет каменным: **на основаниях каменных водные течи аки реки текущая через весь Кремль град**. Несмотря на все свое величие и бурный рост, Кремль не в состоянии вместить даже знать, не говоря уже о посадских людях, а приток народа усиливается с присоединением новых и новых земель. Богачи строятся на Великом посаде (потом его назовут Зарядьем), и ремесленникам приходится переселяться за реки Неглинную, Язу и Москву. Только сапожники да мастера тонкой резьбы по дереву и кости остаются здесь до XVII века. Посад обносят земляным валом, который вскорости укрепят и назовут Китай-городом – от слова *кита*, как называют связки жердей, составляющих основание земляного вала.

Не успела Настя удивиться тому, что московский Китай-город не имеет, оказывается, отношения к китайцам, как ее внимание привлекло странное башенное устройство с гириями, установленное в Кремле ученым монахом Лазарем Сербиным в 1404 году. Предок Демьян то ли для собственного удовольствия, то ли для незримой родственницы из будущего объяснял с восхищением и гордостью;

— Сий же **часник** наречется **часомерье** – на всякий час ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитывая часы ночные и дневные, не бо человек ударяше, но человековидно, само-звонно и самодвижно, странолепно...

Рассказывая, предок вроде сам себе не верит: **не како сотворено человеком!** Настя же «в полном отпаде» не из-за этого «преизмечтанного преухищрения», а узнав, что на ночь часы не заводятся и показывают время с восхода до захода солнца – да и то: кто их в темноте увидит, город-то не освещен! Поражена она и словами **часник, часомерье, часозвоня** (башня с

бьющими часами, изображение которой Настиным современникам известно лишь по Лицевому своду летописи). Вот, оказывается, откуда наше слово *часы* как обозначение устройства для измерения и показа времени.

В московской летописи упомянута и гордыня купцов-богатеев, замысливших построить себе дом, как на Руси строят только храмы да князьки хоромы, – из камня: **Тарокан купец заложил себе палаты кирпичны во граде Москве**. Эти палаты и демонстрирует сейчас Настин предок. Подпрыгивая от переполняющего его восторга и постукивая подошвами по деревянным мосткам улицы, в возможность которых не верил еще его родной дед, он выкрикивает, что так недолго и мостовые каменными сделать. Правда, пока это еще несбыточная фантазия, но Настя, в отличие от Демьяна, знает, что эта древняя улица, которая древнее самого города, будет и каменной (булыжной, потом из брусчатки), и асфальтированной.

Москва по праву насаждает повсюду нормы общегосударственной письменности своих правительственных учреждений. Она законодательница во всем, и ее язык становится мощным и обязательным даже в бытовом общении. Конечно, и речь самих москвичей сильно зависит от окружающей среды. В столицу стекаются лучшие умы из разных областей, и в этом котле перекипают местные речевые навыки и выплавляются новые – общие.

Как не признать сидящего на троне князя законным преемником римских и византийских императоров? Как не поверить, что Москве суждено стать главою суверенного государства, которому вершить судьбы всей Восточной Европы? Чему удивляться после свершений Дмитрия Ивановича Донского?

Разбил врага. **Сдумаша ставити город камен Москву да еже умыслиша то и сотвориша** – воздвиг Успенский собор и стены детинца. Из него, из трех ворот, выступила русская рать, направляясь к Коломне, а оттуда на знаменитое поле. С ней шел и прадед Воробей, которого Демьян знал скорее по рассказам, чем по собственным воспоминаниям о седобородом старце, нянчившем его в младенчестве.

Позже этот любознательный непоседа **ходил с купцы**: на север – в Двинскую землю и на Печеру; на запад – в Смоленск и Литву по сухопутной дороге, накатанной зимой, а летом ведшей по пням вырубок через едва покрытые гатью топи болот; по Донскому пути – по рекам Москве и Оке, потом волоком – по суху – в верховья Дона и по нему **до устия** Азовского моря, до Керченского пролива, затем по морю Черному в Сурож. Сказывают, **умел глаголати гречески, татарски и половецки**. Он и жену себе из Крыма взял – обедневшую сурожанку.

— Делать ему нечего, – с неожиданным раздражением высказалась Настя и тотчас ощутила Гривнино недовольство:

— Не позор это для рода твоего! Сам основатель Москвы князь Юрий по прозванию Долгорукий женат был на половчанке – из лютых врагов. А из потомков гемузских купцов, освоивших Судак, вышло немало достойнейших москвичей: известные строители Ермолины, некий Тутче – предок поэта Ф. Тютчева, купцы Ховрины, соперничавшие в богатстве с самим князем, служившие ему финансовой опорой и ставшие впоследствии, приняв имя Головиных, крупными землевладельцами. – Ишь ты, чистая вятическая кровь! – съехидничала Гривна, подождав, пока ее тирада дошла до девочки. – Узнаешь еще, что самый первый твой пращур породнился с угрофиннами. Были в твоём роду и кривичи, и иные славяне, да и татары попадались. Москвичи, все русские – ох, какая это непростая смесь! Но правда твоя: закваска в москвичах вятическая. И ты ее, наверное, ощущаешь...

«Есть ли во мне вятическая кровь? Кто знает!» – подумала Настя, но ощутила себя точно прямой наследницей пращура-вятича, первого москвича.

– Москва, русский язык... – продолжала Гривна. – Очень разные начала связаны в них кровно в корнях, в славе предков. Когда обращаешься к истории, в тебе говорят личная гордость и гордость человеческая – за свой великий город, за талантливый народ, за отечество и его богатую культуру, звучный и выразительный язык, вообще за человека-созидателя, творца всего сущего.

Настю пронзила простая мысль: «Что в конце концов за дело, какой ты расы, какой национальности? Хотя, ясное дело, приятно осознавать патриотически свою принадлежность именно к русскому величию. Кто, как не русские, всегда готовы и умели ценить чужую нужду в помощи, обласкать заезжего человека? Русское радушие стало легендой! И любовь к своей нации, своим корням неотторжима от уважения к другим народам, к другим корням, тем более переплетенным с твоими первоначальными и родными».

А прадед Демьян раскрывает тем временем эпоху. Вот купцы-иноземцы. Почувяв, что в Москве сходятся все нити хозяйства, восточные, а теперь и европейские гости, как бабочки на свет, летят сюда. Стекаются самые разные люди, ибо жить в столице если не легче, то на виду интересней. Едут, покидая родину из-за турецкого нашествия, мудрецы из Византии, с Балкан. Потерпев поражение на Косовом поле, Сербия стала вассалом Османского государства. Порабощены Тырновское царство, Болгария, Македония. К счастью для славянства, Москва, предоставив приют и убежище зодчим, живописцам, хранителям сокровищ письма, стала наследницей общей их культуры и языка. Ее самосознание идет вместе с осознанием славянской общности. И прав по-своему Демьян, когда утверждает:

– Москва на века – символ славян, достославной их взаимовыручки. Не менее, чем светоч народа только русского. Весь православный мир, да вся поднебесная взирает на нее с преданностью великою!

Демьян состоит в услужении приезжих книжников. Он освоил греческий язык и славянское письмо, душой и телом предан притязаниям родного города, преемственности византийского политического, идейного влияния, его пышности, его великолепию.

Как не восхититься ростом грамотности и образованности? С появлением бумаги вместо дорогого пергамента и ненадежной бересты книги стали куда дешевле. Москва – главный закупщик итальянской бумаги. Она не прекратит ее ввоз из Италии и Англии,<sup>1</sup> даже открыв свое собственное бумажное производство. Доступнее книги стали еще и потому, что на месте медлительного устава развивается полуустав – не так, может быть, красиво, но удобно, быстро им писать.

Настя прикидывает: если бы сейчас, в XV веке, в литературу ввести живую речь, пусть малость странную, которой говорит Демьян, то формирование собственно своего языка ускорилось бы. Но этого не происходит: живая речь по странному стечению обстоятельств не воспринимается всерьез, более того, ее запись расценивается как ересь, как порча, как растление святости книжного царства. И сколько же потом возникло непреодолимых препятствий, всяких двуязычий! Почему же такой приятный на вид предок Демьян так тупо мыслит? Гривна вмешалась:

– Понимать надо! Люди верующие, текст считают святым, отчего и переписывают его слово в слово, копируют буква в букву, т. е. буквально! Что-либо от себя внести – богохульство. Это все равно что икону испортить, исказить лик святого.

Да, такие представления, типичные для широких слоев общества, определяли идеологию и вкусы, взрыхляли почву для двуязычия. В муках ревнительства святой старины, укрепляемой южнославянским влиянием – книжниками, приехавшими в Москву, затенялось значение собственного языкового развития. Никонианство и старообрядчество, иные религиозно-политические разногласия усиливали языковую драму. Началась правка книг: за долгие годы многих переписок и новых переводов в них накопились нетерпимые разнобой, разночтения, отступления от святых подлинных первоисточников.

Москва взяла на себя нелегкую задачу восстановить чистоту древнерусского наследства. Но она, естественно, не может не вековечить и деяния, жития своих князей, изображает их прямыми продолжателями древней славы после падения Рима и Византии. И конечно же для этого пригоден лишь истинно святой первоизданный язык, чистокровный, на Руси, увы, позабытый, испорченный. Хорошо, что с юга наехали богословы, хранящие именно старые слова и не знающие языка московской улицы и уже потому не могущие им портить святые тексты. Наслаиваясь на вспыхнувшую страсть к архаике, их книжность сильно влияет на речевые навыки грамотных москвичей, на весь русский язык.

Вновь пишут утраченный было еще в XII веке *юс большой* – «красоты ради, а не истины»: ведь обозначавшийся им носовой звук совпал с У еще при Константине Багрянородном, и на Руси давно пишут только У и УК, т. е. ОУ. Теперь же каким-нибудь возрожденным **ПЗТЬ** тщатся вытеснить *путь*, как и искусственным **ПЗТЬ** – *пять*, и будут это упрямо и долго сохранять в церковном чтении-пении. Восстановили совсем уж ненужные для русского письма омегу – ω, кси ξ, пси ψ, фиту θ, ижицу γ, за которыми тоже нет живых звуков.

Настя возмущается: тупость какая! Будто нарочно, чтобы ошибок больше школяры делали! Сколько им, беднягам, теперь мучиться с ижицей и ятем – вплоть до 1918 года! Как сообразишь, что надо писать, коль произносится одинаково? Древние богобоязненные писцы и те смешивали те же **Z**, ОУ, У...

Демьян же в восторге от того, что резко увеличилось число букв. Нравятся ему и все чаще употребляющиеся сокращения под титлами, а еще больше – отраженные и в произношении неполногласия: *хлад*, *град*, *млад*. Русским *невежа*, *свеча* он предпочитает *невежда*, *свещца*, на письме обязательно поставит **братиа**, **всеа**, а также **сльнце**, **вльхвъ**, **врхъ**, **пръвое**, хотя уже древние русичи произносили и писали **сьлнце**, **вьлхвъ**, **врхъ**, **пръвое**. По нему, замечательно, что неестественные правила строго насаждаются – ради единообразия богослужебных книг-образцов. Всѣ, пусть даже мелочи, вроде лишних букв или непривычных для русского уха древних и южнославянских произношений (благо под боком южные книжники!), должно служить росту мощи Москвы, централизации ею власти. Ее судьба задана историей, ореол исконной предопределенности укрепляет, благородит ее права.

Превозносить и ругать на Руси не знают меры. И чувство слова всегда преобладает над чувством жеста – психологическое переживание у нас часто важнее действия. В моде слог изукрашенный, пышно-риторический, получивший название *извития* или *плетения* словес и namного превосходящий изощренностью истинно древнюю литературную манеру. Обходя друг друга в словесном витийстве и

торжественно-панегирическом излиянии чувств, книжники изобретают искусственные слова вроде *вертоград* (сад), синонимы, метафоры, цветистые сравнения и эпитеты: *огнезарный, долготерпеливый, златоструйный, храбросердый, храбродобро-победный, преблагословенный, подобострастный*. Подумать только, что последнее слово оказалось живучим и существует в Настином языке!

Причастия на **-ший, -вшний, -щий** (*горячий, могущий*) прямо-таки вытесняют русские на **-чий** (*горячий, могущий*), становящиеся прилагательными. Вместо *посадник* пишут «вельможа некий, властелин граду сему». Все направлено на цель, кажущуюся единственно важной, – достойно повествовать о дворе и церкви, о власти и вере, о высоких материях, из коих наиглавнейшая – возвеличивание, прославление Москвы, ее величавой мощи, самодержавной пышности. Но самовосхваление не ослепило всё же москвичей, выросших из московитян.

– Как хорошо, – сказала Настя, – что языковое безумие, названное университетским лектором, ясное дело, по-научному *вторым югославянским влиянием* (первое было во времена крещения) или акклиматизацией книжного языка на русской почве в XIV – XVI веках, привело к двуязычию, а не к чему-то еще более страшному. А могло бы! Слава не знаю кому, что не удалось повернуть вспять колесо истории русского языка!! Подумать только, говорили бы мы сейчас **егда, аще, дондеже**, а русские их эквиваленты *когда, если, пока* были бы забыты! Нет, нужна своя кровная живая речь, а не реставрация славянщины. Она уродует русский язык, если ее много, убивает его собственные возможности. Отлично, что она существовала дальше как особая сфера, как «язычие», а не въелась в собственно русский язык.

Гривна одобрительно слушала эти рассуждения, хотя и заметила, что в словах *егда, аще* и подобных ничего плохого нет, что они просто слова иного языка, иностранные, так сказать. А когда иностранных слов много, это плохо – будь то старославянские или новоанглийские слова. И долой надо кричать не книжному языку, а попыткам излишнего смешения этого языка со своим родным, русским. Когда не знают меры, всегда плохо. Во всем! И правильно, что по здравому смыслу разрешат скоро указом 1675 года писать, по крайней мере в приказных бумагах, кто как произносит. Конечно, это приведет к еще одному – деловому языку, но...

— Главное, что сечь перестанут за отступление от глупых правил, – перебила ее Настя. – И в наше время орфографию хвалить не стоит.

— И вас в XX веке можно было бы иной раз розгами попотчевать, – полушутя-полусерьезно заявила Гривна и стала защищать исторические ответвления от магистрального русла развития русского языка: – От них во многом его богатства, его глубины. Нельзя забыть про полезные ужившиеся слова *громогласный, животворный, рукоплескать*, про тьму находок искусного пера, да и про прямые заимствования – все они, обеспечивая русскому языку необыкновенную гибкость и разнообразие, приспособляли его к передаче самых разных идей, новых понятий, образов. Нынешний век, век предка Демьяна, обогатил высокий стиль русского языка, создал почву для выражения отвлеченных понятий.

И слепая лошадь везет, коли зрячий на возу сидит. Тот же приказной язык отсюда немало питался – вспомни хотя бы формулы возвеличивания: *многомилостивый, преблагословенный*...

Всё не зря в этом русском языковом хозяйстве! Законы преемственности найдут приличествующее место для всех источников, в том числе и для славянской книжности. Древняя письменность помогла переводчикам не отступать перед труднейшими текстами, хотя, конечно, восприятие вековых богатств византийской культуры требует усилий и дает издержки. Издержки были и от приказного языка, и, может быть, от самого животворного источника – от живой народной речи.

Мысль обращена к своей античности – времени домонгольских столетий. Познать прошлое, чтобы знать, чем гордиться, и не повторить ошибок. В истории ищут современники Демьяна ключ к единству и независимости страны. Изучение былого служит подъему культуры, языка, живописи, архитектуры. Расцвету помогают и веяния с Балкан, новые переводы с греческого, умножение книг. Кисть Феофана Грека, Андрея Рублева, Даниила Черного, величавые храмы Кремля и Подмосковья, обширные летописные своды, собрания великолепных былин о Владимире Красное Солнышко – вот что дает эпоха. Согласно этому настроению великолепия, благолепия, возвышения и торжественная языковая мода.

Пышная, запутанная манера речи вызывает у Дамиана Врabria трепет, раболепное преклонение перед блеском величественных слов. Он ловко кроит из словес похваления Стефану Пермскому, житие которого записано премудрым монахом Елифаньем: **бесам проклинатель, идолам препиратель, мудрости рачитель, правде творитель, хотящий вся человеки спасти**.

Настя удивляется: ни словечка о характере, конкретных делах, внешности приснопомнимого епископа, создавшего азбуку для пермских иноязычников! Не без помощи Гривны она узнает, что речь идет о нынешних коми, которых Стефан крестил и для которых перевел священные книги кирилловским алфавитом, приспособив его для их языка. Зачем факты? Хвалословие само собой поражает воображение слушателей!

Будто подтверждая эту мысль, предок любовно повторяет восхищающее его место: **аще бо и многажды восхотел бых изоставити беседу, но обаче любы его влечет мя на похваление и на плетение словес.** Выразаться надобно возвышенно о теме, в кою ласкательством и угождением завлечен, и чураться реальных действий, обиходных, обыденных слов, кои низки, недостойны суть. Не о деле речь, а сама речь – дело!

Мечтая отвлеченно, Дамиан вчитывается в «Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича». И здесь почти ничего не говорится ни о жизни, ни о смерти выдающегося полководца и патриота. Одни общие шумливо-условные фразы: **умом свершен всегда бываше, ратным же всегда в бранех страшен бываше и многы враги встающая на ны победи.** Даже о Куликовской битве сказано кратко, невразумительно: **съступишася акы силнии тучи, блеснуша оружия яко молния в день дождя, ратный сечакуся за руки емлюшеся и по удолием кровь течаше и Дон река потечаше с кровию смесився.**

Настя не поймет себя: неконкретно, но увлекает! Почему не видят, что прекрасно, коль скоро коротко и ясно? Самоумная неученость насаждает косноязычие, будто это и есть высшая красота. Вот откуда шел «нелепый беспорядок слов, терзающий ухо», с которым придется бороться Гоголю... И все же, и все же! Настю колдуют чары этой беспредметной речи, этих синтаксических нагромождений. Они обволакивают. Они действуют на эмоции, минуя разум.

Ясное дело, думает она, приятно слушать про деяние князя, написанное реалистично, по делу: **славен град свой Москву стенами чудными огради и во всем мире славен бысть яко кедр в Ливане и яко финик в древесех процвете.** Москвичи всегда ценили и помнили добро, содеянное их любимому городу-граду. И Дамиан, и Настя Воробьевы.

Ясное дело, что жизнь пронизана Куликовской победой. Русь, свершившая, казалось бы, невероятное, ставшая примером всей Восточной Европе, на которую наступило Османское владычество, естественно преисполнена благоговейного восхищения собой. Это удивление перед собственным свершением вообще свойственно русским – то ли к счастью, то ли к сожалению.

Тем временем предок подал тремя персты мал кус хлеба пшенична и рек: «Зини усты своими, чадо, и разверзи и приими сие и снежь». Настя же отверзла уста своя и снесть сие и бысть сладость во устех акы меда сладий... Вот и смейся, пра-, пра-, правнучка: сама попала во власть колдовской силы языка и благолепного верования словам, пусть они и не несут конкретного, вещественного смысла. Вот какие чудеса!

## Эхо Куликовской битвы

Прямо пред очами – князь Дмитрий со сподвижником одноименцем своим волынским воеводой прислушиваются к звукам среди широкого поля позади Дона и впереди Непрядвы, где водятся во множестве кулики. **И слышавше клич и стук велий акы торжища снимаются и акы грады зиждуще и яко трубы гласят. И сзади их волцы выюще страшно велми, по десней же стране бысть во птицах трепет велий, кричаще и крылами биюще и враны грающе и орлы клегчюще по реце Непрядве.**

На русской же стороне тишина. Дмитрий Боброк, слывший прорицателем, шепчет: «Господине, княже! Это добрые приметы». Сойдя с коня, воевода припадает к земле и узнает другую скорбную правду: земля горько плачет, будто женщина-мать о детях своих, голосит по-татарски, разливается в печали свирельным голосом русской девицы. «Знай, княже, ты одолеешь врагов, но твоего воинства падет множество».

Настя напряженно вспоминает учебник истории. Внук Ивана Калиты готовился к борьбе тщательно. Заменял вотчинную мобилизацию территориальной. Перестроил армию. Ввел разрядные записи, фиксирующие полки. Сам назначал воевод. Русь заслонила полукругом крепостей, из которых до Настиных времен сохранилось 16 каменных кремлей – в Новгороде, Пскове, Изборске, Смоленске и поближе – в Туле, Зарайске, Коломне. На засечных чертах, из острогов сторожа-дозорные денно и ночью всматриваются чутко вдаль, не покажется ли в степи облачко пыли – татарская конница.



Внеся в удельное своеволие князей и бояр государственный порядок, Дмитрий Иванович советуется с ними на съезде в Переяславле-Залесском и, не ото всех получив поддержку, но смело опершись на черный люд городов и деревень, прекращает выплату дани. Привыкнув самоуправничать, Мамай посылает на непокорных карательную конницу во главе с мурзой Бегичем. Она терпит поражение на реке Воже. Русские уже накопили, нарастили силы!

Через два года известие: Мамай расвирипел и сам в жажде мести движется по степи на запад, рассчитывая объединить силы с литовским князем Ягайлой. Этот Ягайла потом воскликнет о своем недальновидном союзе и измене Руси: «Почто язъ в безумие впадох?!»

Да, Русь готова к борьбе с Золотой Ордой. Нравственную помощь Дмитрию оказывает патриотически мыслящий игумен Троице-Сергиева монастыря Сергей Радонежский. На трапезе перед походом князь увидел двух могучих чернецов – Пересвета и Ослябю, сущих богатырей. Он просит духовника: «Дай мне, отче, на брань этих двух иноков, они смышлены к воинственному делу». Вопреки установлениям настоятель соглашается и благословляет всех на священную войну против иноверных захватчиков родины.

И вот, **Сам крепок и мужествен зело и телом велик и широк и плечист и чреват, брадою Ж и власы черн**, князь Дмитрий строит рать на Красной площади. **Положим головы, чтобы не взяли пришельцы городов наших, да не будем рассеяны по лику земли, а жены и дети наши не отведутся срамно в плен на глумление врагам** – так вместе с князем думают все воины. **И бе им спреди солнце греяще, а сзади по им кроткий и тихий ветр веяше.**

Расставшись с Москвой, воинство идет не напрямиком на врага, а на запад, к устью Лопасни, куда стекаются запоздалые остаточные полки. Изумительная военная дерзость, гениальный стратегический ход! Истолковав движение русских как стремление ударить по литовцам, Мамай вынужден отказаться от намерения соединиться с ними и спешить навстречу. Дмитрий же тем временем встречается у Коломны со всеми русскими ополчениями и великой силой переправляется через Дон, отрезая себе путь назад, дабы не было возможности отступить: честная смерть лучше позорной жизни!

Великая битва на рассвете 8 сентября, по древнему обычаю, предварилась поединком богатырей. Пересвет съехался с Челубеем, и **спадоса с коней оба на землю и умроша. И бысть сеча велика!** Ордынцы в одежде темного цвета и нарядные русские полки сошлись в полдень. Колыхались стяги, светились доспехи ратников, огнем пылали позолоченные и посеребренные шлемы. Страшно видеть, как две такие силы идут на кровопролитие и скорую смерть. Дерзайте, братие, с нами Русь!

Демьян вещал, будто сам там был, про храбрость многотысячных воинств:

– Един бо другого преуспевайте и всяк хоте славу победою обрести. Ломашася копии яко солома, стрел множество аки дождя, и пыль закрыта лучи солнечный, а мечи токмо яко молнии блистахуся. И падаху людие яко трава пред косою, лияся кровь яко вода и протекоша ручей. От ржания же и топота конска и стенания язвенных не слышати было никоего речения и яко князи и воеводы ездяче по полкам, не можаху ничто устроить зане не можаху слышати.

Яростный бой, в коем дралось 200 тысяч ратников, стал избиением Мамаю – *Мамаевым побоищем*. Он длился до вечера, и потери были неисчислимы. С русской стороны погибло несколько князей, 500 бояр и тьма простых воинов. Мамай опрокинут был и бежал со своими беками за 30 верст до реки Красивой Мечи, оставив в ханской ставке богатые трофеи, шатры, оружие, табуны коней. Пошли по шерсть – вернулись стрижеными! **Русь великая одолеша Мамаю на поле Куликовом.**

Настя прониклась грустью по бессмысленно утраченным, бездарно потерянными столетиями, когда варварство, страхом и страданием иссушив душу народов, привело к вековой отсталости и русских, и татар. Иго скрыло Европу: там расцветали университеты, а здесь царила ночь и люди истязали друг друга. Подлое рабство развращало всех, тирания мучила одних и пьянила других. Как бы не позабыть этот горький исторический урок и Настиним современникам!

Смешав кровь в Непрядве, супротивники пришли к дружелюбию граждан одного государства. Ненависть, изжив себя, не перешла в чувство расового или национального превосходства. Вместе народы России страдали и радовались, поровну делили счастье и горе. И тут Настины современники могут извлечь из истории поучительнейший урок. Татарская знать, служившая Москве, получала титулы, и не счесть славных русских, российских семей, гордившихся своим татарским родством или даже происхождением. Но не стихал никогда плач по убиенным с обеих сторон.

**Грозно бо и жалостно, брате, в то время посмотри, иже лежат трупы крестьяньские акы сенные стоги у Дона великого на брезе, а Дон река три дни кровию текла.**

Печально. И красиво. Недаром утверждают: кто говорит тайным языком мудрости, тот говорит с Богом. Кто говорит простым языком, говорит с людьми. Демьян Воробей нет-нет да и забудет, что он Дамиан Вrabий, и заговорит по-человечески. Но и русская речь пересыпана у него славянской.

Он сожалеет о неудобовозможности по его образованию удовлетворить во всем пространстве обязанность повествовать святым языком о великих свершениях. Он признается, что прибегает к словарям «неудобьпознаваемых речей» (т. е. слов в Священном Писании) – азбуковникам. В них даются переводные толкования: **исполин** – *сиречь силач*, **качество** – *естество каковому есть*, **количество** – *мера есть колика*, **самолюбие** – *еже к тому страсть и угодное к тому*, **свойство** – *кто имать что особно*, **смерч** – *облак дождевен*, **художество** – *хитрость ремесла*, **зело** – *вельми*.

Настя удивлена:

— *Количество-то* понятней, чем *мера есть колика!*

Гривна усмехается:

— Ты, как и русский язык, жертва книжности! Попривыкли к иноземным, пусть родственным славянским, словам так, что свои кажутся непонятными, а то и смешными... Первый список толкуемых и тем насаждаемых книжных слов дан в Новгородской кормчей 1282 года, а в XIII – XVI веках азбуковников уже тьма. Легче «обрусить» иноязычное слово, нежели найти ему русский эквивалент, ибо таким путем не надо менять святыя книги. Эта тенденция еще яснее в более поздних учебных словарях. Ведь в XVII – XVIII веках русский язык ушел уже очень далеко от старославянской общности, и книжность надо ему прививать особенно настойчиво. *Исполин*, толкуемый как *силач*, сопровождается теперь примечанием: «Невежды глаголят быти сему богатырь!» Вот как: кто собственно русское слово предпочитает, тот невежда! До того дотол-ковались, что родное слово многим менее понятно, чем книжное! Например, *зодчий* яснее, чем **делатель храминам еже есть каменщик или кирпичник**, а *парус* привычнее, чем **кормило ветренное**. И мода эта продолжилась на другой основе, западноинностранной.

Настя вспомнила, как папа смеялся, читая книгу К. И. Чуковского «Живой как жизнь». На вопрос сына «Что такое улица зодчего России?» мать ответила: «Это по-русски сказать – архитектора!» В XVII веке толкуются слова *лепта*, *клевет*, *изваянный*, *нелицемерный*, *суеверный*, *истый*. Настя поучающе произнесла:

— Лопух, Демьян мой! Жалуется, что вынужден позволять себе нескромную свободу – доходить до подлой речи улицы, Ее бы и ценить! Или совсем бы уйти от плесени московского застоя, как приезжие книжники. Ведь жалобная неуверенность, смешение несмешиваемого снимают ореол волшебства с речи славянской и придают смехотворность речи собственно русской.

— Эж ты! – вмешалась, как всегда, Гривна. – Без смеси и не родиться бы московской речи, всему великорусскому языку! Восточноевропейский простонародный язык слишком беден, а книжный – как это ты любишь выражаться? – *отсвечивает колодезным языком вещать!* Вспомни отца Григория из XVIII века. Вот он, в самом деле, лишь таинственность напускал, ибо книжная речь становилась уже чисто церковной, культовой.

— Что дется, – ершится Настя, подражая неизвестно кому своим произношением. – Извращенно мыслят предки. Делают сами, а за успехи кланяются дяде. У Москвы величие-де не потому, что своими делами, своей речью его достигла, а потому, что она, видите ли, новый Рим!

— Своей речи, которая бы успехам помогла, нет, – твердо заявила Гривна. – Пока еще нет. Вот и приходится прибегать то к одному, то к другому. Сначала двуязычие будет, а потом и собственный богатый язык появится. И совсем не чудачки россияне XV века, что укрепляют свою власть ссылками на авторитеты, а не собственной культурой и языком, которые еще и не сформированы как следует. Не в религиозном фанатизме оживляют они святыни, а в трезвом рассудке используют и древние и чужие ценности. Возвышение Москвы будто бы и не достигнуто, а предопределено. И пафос его подпирают велеречием, ходулями книжного языка...

— Слышала уже, – оборвала рассуждения талисмана Настя, – что книжный язык южный, что пришел как близкий родственник... Пришел в гости да засиделся. Хоть и пришел с даром христианства и культуры. Спасибо!

— Не груби! Умная больно! А как бы сама поступила, если бы всё от тебя зависело? Знаешь другие пути укрепления Москвы? Москва не может быть Москвой, не была бы Москвой, не будучи великой. Ее путь к превосходству честен, смел, прям. Не без хитростей, конечно, но решительности и воли ей не занимать. Москва охраняет свою власть от любых посягательств на авторитет и абсолютность. Если для этого выгодно изобразить себя чьей-то наследницей, то почему нет? Тем более что наследие богатое и законное.

Гривна отводит Настины сомнения этим патетическим пассажем и напоминает: указующий перст книжной мудрости определил неоспоримое превосходство российской словесности перед всеми европейскими и восточными. По Пушкину: у книжного языка чрезвычайно счастливая судьба, ибо древнегреческий усыновил его, открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи. Сам по себе звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Развитый, тщательно обработанный, с богатейшим словообразованием, поразительной; синонимикой, он так сильно влиял на местную речь, что впоследствии ученые сочтут, что вообще литературный язык на Руси – это перенесенный на русскую почву, «порусенный» южнославянский, конкретнее – древнеболгарский, утративший в сближении с живой речью иноземное обличье.

– Вряд ли так, – раздумчиво проговорила Гривна. – Но значение его в самом деле сопоставимо со значением собственно восточнославянского языка. Помнишь, лектор в университете говорил, что исконное родство затеняло иноземность языка церковных книг и облегчало взаимодействие двух стихий? Оно действительно определило на века языковое развитие русского народа. И не только русского! Ты – свидетель второго югославянского влияния. Первое было естественнее: различия между всеми славянскими языками, имеющими одну основу, были совсем не такими заметными, ибо меньше прошло времени после того, как они разошлись, пошли каждый своим путем. Язык книг был сложен, но понятен, во многом совпадал с древнерусским разговорным и деловым. Русичи не воспринимали его как чужой, а его отличия выглядели естественными особенностями любого книжного языка (т. е. отличного от обычного разговорно-устного) – образцового, сознательно отделанного. И чуточку непонятного без изучения и напряжения, но ведь он служил для цели магической, обрядовой, таинственно-важной, возвышенной. Все иначе будет, когда простая повседневная речь приобретет большой авторитет, претерпит собственную перестройку, обогатится. Да и книжность одновременно изощрится усилиями мудрецов, обособится, все дальше отойдет от слова сказанного. Разрыв со словом написанным живого языка, который вспять не обратить ни модой, ни указом – свирепой непреклонностью патриарха Никона, усугубляется так, что синтез становится невозможным, что наступит, как ты знаешь, необходимость преодолевать двуязычие.

И все-таки России свойственна несокрушимая верность, если не веротерпимость: она бесконечно долго будет терпеть, даже насаждать книжность – искусственно, как условную, консервирующую примету грамотности и высокого стиля, как средство религиозное и величественное. Уже в разговоре Демьяна-Дамиана к этому идет, но сродство языков пока перевешивает. Отдельным книжный язык станет, когда исчезнет соприкосновение его элементов с русскими, независимо от содержания речи и выучки автора. Так в нынешней, современной тебе церкви! В истории же эти «язычия» – переходные, крайние точки непрерывной линии, скорее, два типа одного языка, которые нельзя, однако, признать стилями.

У них разные системы, и их противопоставление не осознано стилистически. Развиваясь самостоятельно, из себя, они сосуществуют, распределяя функции по сферам и темам, а не по жанрам. Часто выбор чисто случаен, но в целом более красивые, важные книжные слова и формы, написания и даже отдельные буквы предпочитают всеми, кто их знает, и всегда. В поучительных рассуждениях, рассказах о чудесах, об основании монастырей – безусловно. Напротив, русизмы кажутся естественными в повествованиях о походах, битвах, просто жизни.

— Но не в описаниях Куликовской битвы! – воскликнула Настя.

— Ясное дело, нет! – подыграла Насте Гривна, прибегнув к ее же любимому выражению. – А если серьезно: всё, что мы говорим, касается людей грамотных; неграмотные же славянизмами не владеют, так иногда подхватят что-то в церковной службе. Им и о поле Куликовом приходится простыми словесами глаголить. Не совсем загранично, но все же и не доморощено звучат *выя, вертеп, стогна, абие, присно, днесь, туне*. Куда до них простецким *шея, пещера, улица, тотчас, всегда* или *истинно, сегодня, даром*! Ощутимы расхождения даже в таких совсем общих словах, как *кормить* – *управлять* (отчего *корма, кормило, кормчий*), а по-русски значит всего лишь «питать, давать есть». Деловой язык, допуская и эти русские слова в письмо, не смог сделать их одним многозначным словом, а параллелизм не стал функциональным в пределах одной структуры. То же самое происходило и с грамматическими формами: *любих, рекл, хоцет* и *любил, сказал, хочет*. Или: *сотоварищи* и *с товарищами*. Писцы разрываются между давлением возрождаемой традиции, восходящей к киевским книжникам, и силой повседневного языка. Последний отчасти фиксируется в деловых бумагах, но вообще-то грамотные люди руководствуются установлениями писать так, как писали в старых церковных книгах.

Сотни лет русские вообще учатся писать и читать по Псалтыри, повелительно толкаются на выбор неестественного, чужого, а не своего родного. Сейчас, судя по Дамиану, резко усилилось боготворение всего написанного, хотя писцы всегда писали куда старательнее и ответственнее за каждую букву, чем Настины современники. Древние книги, пользу которых ценил Ломоносов, держат невольную и непрестанную примесь своенародного языка в рамках приличия. Когда начнется литература, народная русская словесность уже будет столь же богата содержанием и жизненной мощью, сколь и язык древними формами и силой, чтобы выражать народные были и думы словом мерным и изящным. И письменность не имела нужды ни чураться народного языка, ни чуждаться народного слога. Слог и язык одинаково сообразны оказались с требованиями приличий.

— На равных они, ясное дело, были, – перевела для себя наша героиня.

— Да. В письме древнерусский язык существовал как принципиально смешанный, – согласилась • Гривна. – Но полярные пропорции смешения рисуются отдельными типами: живой язык с книжной примесью в деловой и частной переписке; книжный с русской примесью в ритуальной канонической и иной серьезной литературе. Между полюсами множество переходных случаев.

Настя нахмурилась:

— Как, как? Тут уже не двуязычие, а какое-то многоязычие у тебя получается! Сама же меня обругала, когда я приказной язык третьим язычием назвать хотела!

— Какая ты непонятливая, – укорила ее Гривна. – Пораскинь умом: тут всё от эпохи зависит. Это потом на полюсах этих типов языка вырастут два язычия, раньше же они были очень схожи, составляли, если угодно, один пестрый язык. Древние книжники пишут будто на родном языке, лишь следуя манере, которая освящена церковью как образцовая. Да и письмо, живя на русской почве, обрусело. Грамотные русичи стараются писать, отчасти говорить по насаждаемым образцам канонических книг из Болгарии, не во всем совпадающим со своими, но в общем-то ясным. Когда писец отличной выучки пишет по-русски, он не повторяет точно ту речь, какой пользуется в жизни, ибо хочет выразиться по-писаному, хочет ученость показать. Это получается, где легко (нетрудно, скажем, запомнить, что надо *аз, а не я, един, а не один, глава, а не голова*), но там, где трудно (попробуй, не будучи докой в фонетике, разобраться, где **дльгъ** и где **дългъ**), возникает вселенская путаница. Все зависит от начитанности, внимательности и педантичности.

Настя вспомнила про неистового протопопа Аввакума, начавшего раскол церкви и обвинившего Никона в ереси. Ей пришел в голову вывод:

– Пока еще русские формы особым грехом не считаются. Это патриарх Никон ожесточится против них, как якобы искажающих Святое Писание. И, увы, победит! Несчастный протопоп погибнет в бесчестье.

Гривна с гордостью за ученицу подтвердила: верно! Русские формы встречаются в древнейшем датированном памятнике – в Остромировом евангелии. Разумеется, ничего они в священных книгах не искажают. И конечно, было бы для русского языка лучше, победи Аввакум. Он ведь едва ли не первый хотел порвать с плетением словес. Самому царю Алексею Михайловичу смело писал: «А ты ведь, Михайлыч, русак, а не грек, говори своим природным языком, не унижай ево и в церкви и в дому» – и признавался: «Люблю свой природный язык, виршами философскими не обык речи красити».

Однако еще в XVIII веке письмо отражало новшества народного языка явочным порядком – скорее в силу необученности пишущего, нежели из-за сознательного желания пойти против обычая и освященных церковью правил. Собственно великорусская норма обретала весомость лишь в приказной письменности, но и в ней залогом грамотности были книжные, пусть неверно употребляемые, искаженные аорист и имперфект со смешением лиц и чисел. Таким залогом были древние деепричастия на **-ще, -вше**, дательный самостоятельный, слова вроде **аше, рече, сиречь, рекше, свеща**. В самом письме – славянская вязь, слитность, орнаментальность.

В ветхие ризы славянщины облакается и светская литература. Торжествен, отличен от повседневного язык «Сказания о Мамаевом побоище», «Повести о взятии Царьграда». Хотя в них и им подобных сочинениях содержание требует предметности, описания фактов, стиль выдерживается в духе древних книжных канонов. Слова из живой речи **я, ево, ажио, прилучи лея, жалобщик, целовальник, волокита, денга, каблук, казна** тут едва продираются сквозь завесу книжных. Вне плетения словес, как наши герои уже знают, остаются лишь деловая письменность и отдельные произведения беллетристики, примыкающие к ней. Но даже в них отзвуки древних божественных книг – в правописании, в предпочтении славянских синонимов, слов и форм. Не один Дамиан раб времени!

Обнажение, оживление древних традиций – этого нельзя не заметить! – в какой-то мере на пользу культурно-хозяйственному расцвету, централизации, грамотности. Старое, книжное,

религиозное вообще всегда как-то облагораживает, одухотворяет. Оно не только отклоняет язык от поступательного движения, но и обогащает его. Может быть, некоторый тормоз даже необходим, чтобы прогресс не обогнал самого себя!

Суммируя всё и вся, нельзя, однако, не признать, что за этот «золотой век» книжно-славянского языка в России заплачено дорогой ценой. Не слившись с восточнославянским живым языком, будучи по природе южным, он и привел к двуязычию, развел книжную и разговорную речь. И развод этот раздирал русское общество так, что гении Ломоносова и Пушкина и то не сразу восстановили семейный мир. Собственно, поиск согласия народной речи и речи книжной сопутствовал всей истории русского литературного языка: все писатели-классики, например, искали пути обращения к народной речи, чтобы оживить книжную, но и не загрязнить ее обособленное благородство. Поиск этот был далеко не всегда мирным и спокойным!

– Мучительны последствия разрыва двух исконных стихий, двух источников, – раздумчиво повествовала Гривна. – Особенно когда разрыв был углублен во многом искусственно вторым южнославянским влиянием. Не замостить его худосочному при всех его успехах приказному письму... А всё вместе – громадная ценность. Всё вместе только и делает русский язык тем, что он есть, – великим языком человечества. Возьми вот архитектуру Кремля: всё противоречиво, разновременное и, как кажется взгляду, несовместимо. Ан нет: получаются и ансамбль, и стройность удивительного шедевра! Святость славянщины использована хитроумными москвичами для возвеличивания своей власти. Ради этого они готовы поступиться (впрочем, временно) самобытностью своей. Свообразием речи (тоже не навсегда!) они пренебрегают, чтобы впоследствии лишь возвысить ее. Московская основа возобладает и, возвышенная книжным благородством, станет только сильнее, ценнее. Несмотря на все помехи, русский язык останется самим собой, возмужает, обогатится. Настя продолжила понравившуюся ей мысль:

— Благодаря помехам, а не вопреки им! Испытания, лишения только укрепляют того, кто не слаб от рождения, кто силен духом. Невероятно долго сохраняемые в восприятии русских людей как правильные и авторитетные книжные черты станут, ясное дело, в одной части смешными архаизмами, а в другой – плотью языка, его красой. Древняя письменность передаст русской языковой культуре свой многовековой опыт.

Гривна горда за свою ученицу:

— Верно, верно! Пленительная звезда учености и святости будет светить благосклонно и тогда, когда плен ее кончится, когда, как скажет Белинский о Державине, русский язык окончательно перейдет «от риторики к жизни». Но написанное слово будет русскому человеку вечно казаться в святом ореоле: его не вырубишь топором.

Обращаясь к дежурной теме – оценке языка, свидетельницей которого была, Настя подивилась:

— Типы ли там или язычия, но третий век уже положение вроде одинаковое. То одно понятнее мне, то другое. Оба чуть чужие, но родные в основе. Если вникнуть да попривыкнуть, то, пожалуй, все понятно, хотя непохожего на мою речь полно. Чем дальше, тем больше.

И тем меньше разницы между язычиями: в обоих **-ом, -ы, -ех, а -ам, -ами, -ах** всё реже даже в живом разговоре. Но привыкаешь разом, после неожиданности первой встречи.

Гривна с известным сомнением хмыкнула, но спорить не стала. Дай Бог нашему теляти волка съест! Да и Насте не до того, чтобы спорить. Мысль вернулась к более увлекательному – к величайшему событию истории. Его славят от «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище» до гениального цикла стихов А. Блока «На поле Куликовом».

Во всех описаниях битвы, в народном ее восприятии – похвала и жалость. Принесла она радость великую и печаль большую. Не жалость – печаль утраты! Победа была нравственной: пали стены страха, но не тюрьмы. Иго иссушало еще сто лет душу народную, но вековой супостат бит был и бежал. Родилось светлое, оптимистичное национальное самосознание, предчувствие грядущей славы. Помчалась молва по всему свету, и не утихал плач о потерях.

«И снова бой, покой нам только снится...» – вспомнились блоковские строки. Если бы идея единства восторжествовала раньше! Гривна, та, ясное дело, скажет, что и величие побед, и боль пережитого – всё необходимо было, чтобы Русь стала Россией, чтобы старорусский язык стал современным русским литературным языком.

Москвичи завоевали право на гордость – отзвук великой ответственности, взятой их городом в истории. Став знаменосцем патриотических идей, воодушевлявших предков и созвучных последующим поколениям, Москва и донныне важнейший центр великих событий. Да, Насте известны сомнения ее современников, считающих, что как центр Москва, Россия многое теряют из своей национальной

самобытности. Государствообразующая, так сказать, роль, роль объединителя сопряжена, дескать, с утратами, с потерей в какой-то мере собственного лица и с лишением других народов и языков их достоинства... Обязательно ли так?

Гривна не дает ответа. Это дело грядущих поколений – Настиного и последующих, а она отвечает за уже свершившуюся историю. Но история эта поучительна. В тех же дискуссиях о государственных языках страны, о статусе русского языка разве не полезно обратиться к истории? Неужто раздробленность, расползание всех по своим уголкам и норкам – желательная цель? Неужто надо на русский язык валить вину за общие беды и недостатки?

Но тем временем Настя подошла к храму *Всех Святых на Кулишках*, мимо которого идет торговая дорога в Коломну. По этой самой дороге двинулась к Дону и вернулась с победой русская рать. В память об убиенных в той битве и воздвигнут сей сначала деревянный храм. Ныне перестроенный в камне, украшенный изразцами с яркой глазурью и резьбой, он смотрит бойницами на древнюю дорогу. Его стратегически удобное положение у Варварских ворот Китайгородской стены не раз еще определит исход боевых схваток, например в Смутное время начала XVII века. Настя сообразила, что *Кулишки* (ровное место, поляна, расчищенная среди леса) в ее время станут площадью, где до сих пор можно осмотреть подлинные постройки времен Дмитрия Донского, ставшие потом опорой фундамента каменного храма и ушедшие за века на семь метров в землю, – дубовый сруб, бревенчатый настил, долбленое бревно-водопровод.

Насте чается взглянуть на 28-метровый чугунный памятник на Красном холме. Она знает пространство Куликова поля с перелесками, оврагами, дорожками, речушками, окаймленное Доном, выпадающей в него Непрядвой и пересохшим Дубняком, лишь по кино. Последние живые свидетели сражения – деревья Зеленой дубравы, где скрывался решивший исход битвы засадный полк, засохли в середине XIX века. В честь 600-летия незабываемого события здесь заложили новую дубраву. Вот посмотреть бы! Да и памятник Мамаева позора по сю пору стоит над излучиной Красивой Мечи – невесть как попавший туда валун. Предание гласит, что это застывший на скаку ордынский конь. Местные жители и сегодня утверждают, что камень почти ушел в землю, а раньше, ну чисто конь был!

Да, просторно поле, а когда сошлись воины, **не токмо от оружия, но и от великой тесноты задыхались, яко не можно было им всем вместиться.** Настя вновь попала под чары словес услышанного жития:

**Сей убо великий князь родился от благородну и от пречестну родителю великого князя Ивана Ивановича, внук же бысть князя великого Ивана Даниловича, собирателя Руськой земли. Воспитан же бысть в благочестии и в славе со вся-цеми наказании духовными, пустотных бесед не творяше и срамных глагол не любяше.**

Слова, к Настиному вящему удивлению, текли перед глазами вязью:

**И призва велможа своя и все князи и рече князем: лепо есть нам, братие, положити главы своя за отчину Руськую землю! И князи ему отвещаша: рекли есмя тебе живот свой положити. И сrete злочестивого Мамаея в Татарьских полах, на Дону на реце...**

Слава, гордость, величие! Русской душе благолепие и величание прошлого милей скучной пунктуальной аккуратности. Русские редко когда считали свое время, настоящий день прекрасным или просто удовлетворительным. Они вечно восторгались прошедшим и надеялись на грядущее. Не мудрено, что прапрадед возлюбил высокопарность: он сын своего времени – времени восторга перед только что ушедшей в историю победой над поработителями.

– А, ясное дело, Дамиан звучнее, чем Демьян, – вдруг решила Настя.

Она **пригну руке свои к персем:** «Почто аз преже тебе не узнах?»

Ей захотелось к предкам, еще покоренным Золотой Ордой, не ведающим о будущих победах, не ощутивших своего главенства, своих сил для непреложного сплочения русских земель, развития своей государственности. Отправляясь в путь, она пела:

**И врагу никогда не добиться,  
Чтоб склонилась твоя голова,  
Дорогая моя столица,  
Золотая моя Москва...**

**ПРАРОДИТЕЛЬ ТРЕХ ЯЗЫКОВ**

## Лихолетье иноземного ига

С опаской ждет Настя встречи с новым временем истории. Вдруг не шутка та угроза, какой по сей день иные мамы страшат детишек: не плачь – татарин заберет! Вспоминает и толстый роман А. К. Югова «Ратоборцы». Там – другое. Мощный и грозный Александр Невский в тяжелых многоцветных шелках на свадебном пиру младшего брата своего и дочери Даниила Галицкого. Хан Батый и хан Берке. Отвага русичей в Ледовом побоище 5 апреля 1242 года, когда на Чудском озере, ясное дело, долбанули псов-рыцарей, рвущихся на восток. И заключили соглашение, **что ся учинило тяже межи новгороци и межю немци то вся отложихом а мир dokonчяхм**. Выиграли, значит, время, чтобы собраться с силами! Но вот перед Настей грустная, хотя и неотчаянная, картина. Из заваленных снегом домов выходят закутанные кто во что горазд москвичи. Она вовлекается в их заботы, дела, надежды. Солнце на лето, зима на мороз. Скоро, скоро весна: снег кое-где подтаивает, воздух мягок. Еще немного, и будут к столу щи из свежей крапивы.

– Ныне зима греховная покаянием престала есть, и лед растаяся. Днесь весна красуется оживляючи земное естество и земля зеленую траву ражаеть. Яко же и есть.

Настя вслушивается в звуки, угадывает смысл сказанного, радуется, когда понимает. Богатей, оказывается, и в этот грустный год **взлег на мякце постели и пространно протягася**. Ему не без угрозы советуют:

— Сидяшту ти в зиму в тепле храминe въздъхни помыслив о убогих како клячатъ над малым огънцьмъ сокорчившеся, болшу же беду очима от дыма имуште руце же токмо согревающе, все тепло же морозом измерзше.

Еле выжили москвичи в эту долгую и суровую зиму. **Множьство хромых и слепых и инеми недугы болящих. Ныне есме погигбли, позябли, сеяти нечего, а ести такоже нечего. Той ж осени много зла ся створи. Поби мраз обилье по волости, ядыху люди сосновую кору и лист липов и мох. О горе бяше! Люди без крова и тепла. Кадь ржи купляхуть по 10 гривен, а овса по 3 гривне, а репе воз по 2 гривне...**

Настя вздрогнула: опрокинулась на нее эта кадь! И произносят так, что Д в конце с Т не спутаешь... Мороз будь здоров, не кашляй. Но солнце яркое, снег под ногами хрустит звонко и ободряюще. Не такая уж она заморенная, Москва. Только что воздвигнуты первые каменные храмы, *детинец* второй половины XII века перестраивают в *град дубов* и начинают называть *кремль*.

Гривна не преминула указать заядлой лошадице:

— Бревна для стен везут из тенистых дубрав у верховьев речки Битцы, где сейчас твоя конноспортивная база. И из Ясенева, где с начала XIII века поселение и усадьба на древней Калужской дороге – пути в Орду. От тех времен и идет Теплый стан – остановка князей и торговых караванов, первый от Москвы ночлег с теплым помещением.

Служить «граду дубову» недолго. Он сгорит в 1365 году, очистив место для будущего белокаменного, который выдержит еще немало пожаров, набегов татар да и своих князей-соперников. Но это будет потом, уже при Димитрии Ивановиче, а пока это все далеко, как и восторги Дамиана Воробья-Врабиа. На Большой улице Великого посада, славного выделкой оружия, тканей и кож, гончарных и иных изделий, затерялась усадьба Кузьки Воробья – деда того Настиного предка, кто юнцом сражался под стягами Димитрия, путешествовал с купцами и женат был на гречанке с Азовского моря.

Кузьма – ювелир-литец, сидит с утра до ночи, скорчившись за мелкой, кропотливой работой, но любит покумекать да покалякать даже сам с собой, коль поблизости никого нет. Дохаживает восьмой десяток и может рассказать без домысла, чем жила Москва последний век, прихватив еще до своего рождения – из рассказов отца-матери и других очевидцев, кого давно нет в живых, но за чью достоверность готов отвечать головой.

Как все дома вокруг, Кузьмин срублен из сосновых бревен, венец за венцом, причем углы скреплены *в обло* – с выступающими наружу концами, как и сейчас еще строят деревенские избы. Пол дощатый, кровля тесовая. *Бабий кут* (место возле устья печи) предназначен для готовки еды. Напротив – *красный кут*, стол и лавки, где семья трапезничает. Спят на полатах. Рядом с дверью – угол, где работает хозяин. Переселяясь в Москву, жители юга строились по-своему, но вскоре убеждались, что это непригодно к здешней стуже.

– Замечательный дом! И усадьба, где еще сарай, погреб, баня, – Настя довольна пра-пра...дедом. По-над высокими сплошными заборами как на ладони видит она шумливую пристань – прямо на месте

гостиницы «Россия». – Люкс-модерн! Жаль, ясное дело, что придется Воробьевым уступить веками насиженное место, когда в Москву потянутся все бояре и дворяне. Ничего, новые места освоим, пусть не в центре, зато под своим именем!

И впрямь, кто знает, права, может быть, наша героиня. Может, не в насмешку, будто они такие, что лишь для воробья горы, а по каким-то предкам Насти пошло сельцо Воробьево, купленное в XV веке княгиней Софьей, а от него и Воробьевы горы, возвышающиеся над Москвою. Тут, около своего загородного деревянного дворца, Василий III прятался в стоге сена от Менгли-Гирея в начале XVI века, а в конце его стоял и отсюда с позором бежал крымский хан Казы-Гирей. В XVII веке отсюда Минин и Пожарский гнали польского гетмана Хоткевича. Царь Федор распорядился в селе Воробьево под деревянные хоромы сделать каменные подклети (цокольный этаж).

Стеклянный и зеркальный заводы, бараки, пересыльная тюрьма, место народных гуляний с каруселями и балаганами, куда переправлялись на лодках от Новодевичьего монастыря, – чего только тут не было! С 1811 года стоит церковь Троицы в стиле ампир. В 1826 году неподалеку от нее Герцен и Огарев дали клятву верности России...

Размышления Насти об истории Воробьевых гор прервались бормотанием своеобразного старца-ювелира:

– Разрушены божественные церкви, осквернены быша ссуди священни, потоптана быша святая. Кровь и отец и братия наша аки вода многа землю напои, храбрии наша страха наполнешеся бежаша. Чада наша в плен ведены быша, села наша лядиною поростоша. Красота наша погыбе, земля наша иноплеменником в достояние бысть.

Златоглавое чудо – стольный Киев, город мудрецов, сражался мужественно, когда дикие кони кочевников рвались к Золотым воротам, дыбились и хрипели на державном майдане перед алтарем Софии. Рухнула в дым и пламень пронзенная татарскими стрелами Киевская Русь, державшая в почете искусства и науки. Запустели, заросли бурьяном руины дворцов и храмов, остатки крепостных стен, ушли под землю мостовые рынков и площадей. Цветущая культура, богатые города с каменными зданиями, расписанными фресками и украшенными мозаикой, яркая литература и кипящая общественная мысль, математические и географические знания, искусные ремесла, широкие торговые связи – всё, выдвигавшее Русь на видное место среди стран Запада и Востока, обескровлено, сметено, разбито.

Настя понимает предка не без труда. Иной раз слова ясны, а что-то мешает – логика рассказа какая-то иная, не привычная ее поколению.

Но главное, ясное дело, как на ладони. Царит ночь неволи. *Баскаки* (сборщики дани) во главе военных отрядов грабят русичей, без жалости вымогая деньги, продукты, скот. Они разоряют города, увозят к себе в Азию ремесленников, уводят людей в рабство. Идет слух, что переписывают население, чтобы никто не избежал непосильной дани, дорожной и воинской повинности, расходов на содержание ханских послов и посылку в Орду богатых подарков. Грустно повествует ювелир:

— Се яз дал есмь блюда серебряно в 4 гривне серебра...

Страшнее всего зависимость духовная. Разруха хозяйства помножена на национальное унижение: иго давит, оскверняет. Оно иссушает саму душу своей жертвы. Выстоит ли в испытаниях нравственность народа, сохранятся ли глубинные его начала? И Настя вновь напряженно следит за речью старика, переводя ее на свой лад.

Люди в наживу пошли, златолюбивы стали, ордынское владычество развращает. Выдвигает худших, губит лучших, воспитывает доносчиков, изменников, кто ради подачек предает братьев. Унижаются, подвергаются глумлению, а то и пыткам русские князья, совершая многотрудные хождения в волжскую столицу хана – Сарай-Бату. Едут, чтобы выпросить милость – ярлык на правление собственной отчиной! Иноземные властелины намеренно разжигают соперничество между князьями, зависть, наговоры. О, злее зла честь татарская!

— Иде к Батыеви на Волгу хотящу ся ему поклони, – грустно говорит про кого-то (назвать-то князя страшно!) старец, то ли сочувствуя, то ли насмехаясь над пресмыкающимися князьками.

Но вот рассказ Кузьмы повеселел. Он уверен, что Русь оправляется от разорения. Возрождается хозяйство, вместо смердов стали *крестьяне* – христианской веры люди, православные. Трудом своим назло помехам живет, мыслит Москва, и в том ее непобедимая сила и правда. Выделившись из великого княжества Владимирского, она уже сильное *удельное княжество* и будет, сомнения в том нет, сама *великим княжеством*. И сильнейшим!

По завещанию Александра Невского Москва отошла к его младшему сыну Даниилу (Даниле), ставшему первым московским князем и превратившему крепостицу на окраине в стольный град. **Град**



**сей татар не пустиша** – перестал первым их бояться, одолел в рязанской земле. Кузьма уже не говорит в третьем лице, как бы

включая и себя в число тех, о деяниях коих повествует. Продолжаем-де собирание земель, начатое тоже Даниилом, присоединившим Переяславль-Залесский, Можайск, Коломну. На татар все смелее ходим ратью, строим оборонный пояс – опять же по примеру этого князя, заложившего первое звено – Данилов монастырь. Слава родоначальнику московских князей! Скоро весь Северо-Восток соберем в единую Московскую Русь. Держись тогда, татарове!

Углич, Галицк, Белозерск, Дмитров, Таруса... Дерзок язык у старика, но и правда за ним. У кузнеца ведь что стукнул, то гривна! Истый *москвич* (слово появилось до него, в начале XIII века), князь Данила начал святое дело возвышения Москвы, поставив его целью жизни и своих сыновей Юрия и Ивана. И внука своего, добавляет мысленно Настя, вспоминая, что Иван II Иванович Красный станет великим князем и что от него родится Димитрий, коему суждено стать Донским. Ее уже не смущает двойное звучание имен: Даниил и Данила, Иоанн и Иван, Димитрий и Дмитрий, а то и Митрий. После Дамиана-Демьяна Врабья-Воробья чего тут удивляться? Предвестники двуязычия!

Предок Кузьма мыслит вслух, анализирует прошлое, оценивает современность, прогнозирует будущее. В возвышении Москвы особую роль сыграл Иван I Данилович. Сев на великий владимирский престол, он дальновидно начал укреплять свою московскую власть. Добился переселения из Владимира главы русской православной церкви: отныне и присно патриархия всея Руси бок о бок с правителями Москвы. Съездив на поклон к ханам, хитроумный Иван возвратился с полномочием собирать для них дань и обещанием послабления.

«Бысть оттоле тишина велика по всей русской земле на сорок лет и престаша татарове воевати землю русскую», – Кузьма прищурил усталый глаз, хохотнул победно. И в самом деле, как уж князь выторговал это, одному ему ведомо. И не вся дань, им собираемая, уплывала в Орду! Зря ли *Калитой*, то есть денежным мешком, его прозвали? Только не на ветер утаенные деньги: не зная ни устали, ни жалости к себе и другим, он скупает земли, крепит могущество Москвы, делает ее великой и по титулу, и на деле. Всё обращает к своей выгоде. Правда-то кривду выводит на чистую воду!

Настя подумала: «Ну, ясное дело, молоток! Монголы у него и то орудие собирательства. Москвичи умеют и поражения обращать в свои победы. Язык их такой же – из недостатков и ошибок выплавляет жемчужины слова!

Но важнее всего – передышка. За эти годы народится не знающее страха поколение, с которым ханы и встретятся на поле Куликовом. Не так, оказывается, жутко всё, коль взять себя в руки, неустанно трудиться, да и немножко похитрить.

Историю родины, историю языка не выбирают. Ее на другую не изменишь. Она наследуется со всем, что в ней хорошего и плохого, но надо сохранять достойное, отбрасывать негодное. У нас много светлых страниц, славных традиций. И всегда важно помнить, что единство – залог успеха, залог свободы. Напротив, раздоры, трения, межусобицы ведут к нищете, рабству...

В русском языке разные отростки, но основной ствол правдив и могуч. Москвичи сильны духом и в том, что умеют посмеяться над собой. И в языке так: посмотрев на него со стороны, они, видя славянщизну, иностранщину, канцелярщину, смеются над этими **-щинами**, преодолевают их. Ясное дело, трудно глянуть на себя будто на чужого, но это спасало, спасает, спасёт, несомненно, и Настино поколение.

Сначала терзаемая ханами Русь напрягала силы, единственно чтобы не исчезнуть, а теперь. Москва забывает про покорность. Сопротивляться и победить, потому что освободительная война святая, справедливая. Москвичи еще на коленях, но душой воспряли, откровенно копят силы. Понято, что освобождения не будет без покорения удельных князей. Понято и то, что жестокие поработители не такой уж непобедимый исполин».

Кузьма в унисон Настиным мыслям уныло сказывает вполголоса и нараспев предание. Было, мол, заколочено железное кольцо в сыру матушку-землю. И за похвальбу, будто русские богатыри, ухватившись за него, перевернут ее вверх дном, послана на Русь несметная рать. Сколько ни бей, неприятеля всё больше. Рубит витязь какого супостата надвое, вместо него двое. А былины про заставы богатырские сказывают, что нет человеческой силы, коей не противустояли бы русичи – не для ради князя, а для вдов, сирот и бедных людишек. Вот и выходит, что беззащитны мы, раз золотоордынцы – Божья кара и бороться против нее непотребно. И монахи подтверждают: **Приидоша языцы незнаемы безбожные агаряне. Их же никто добре весть кто суть и отколе изидоша и что язык их и коего племени и что вера их... Зовутся бо татаре кланяются солнцу и луне и огню...**

Кузьма несогласно мотнул головой:

— Всем ясно вестъ яко суть человеки окаянные!

И язык их человечесий (переводила сказанное предком Настя), многие русичи им владеют, кое-какие слова из него себе взяли. Не страшнее печенегов, натиск которых был остановлен оборонительными рубежами на юге. Надо только не о благополучии князей печься, а о благе народном. Надо по-государственному оборону держать, все силы собрать в единый кулак. И мысль, как положено русичу в трудные моменты, возвращается к истории, в ней ищет ответ на сегодняшние проблемы.

Киевская Русь жила ведь под ежедневной угрозой со стороны степи, но выжила! В крепости-заставы со всей Руси людей набирали, по общерусской повинности из отдаленных краев и от нас, из лесов, хотя Москве степняки не угрожали. Вот и теперь виной свои неурядицы, а не выдуманная сила татарская. Перебороть бы обреченность да приложить усилия на пользу делу для оправдания своего назначения. **Очистити ся ото всех ко всем ненависти.** Тогда покажем, каково оно, неодолимое небесное наказание!

— Покажем! – восклицает Настя, восторгаясь старцем, точно предугадывающим свершения, которые вот-вот грядут, и жалея, что не узнать ему о них. – Как разгадал ордынцев!

## Возвышение Москвы

Москвичи первыми, вероятно, решились скрестить мечи с разноплеменным войском, состав которого никто и никогда в точности не установит. Что воодушевило их? Интуиция? Законы исторической судьбы? Или конкретные события? Осенью 1237 года Батый с Субудаем отступил от Новгорода то ли из-за какого-то дурного сна, то ли испугавшись весенней распутицы, а русичи убедились, что и непобедимые иной раз вынуждены уносить ноги восвояси.

Настя вспоминала детали из романов В. Яна, которыми увлекалась еще в пятом классе. Да, лихо над Русью грянуло из-за соперничества князей, местничества, политического эгоизма. Молодцы москвичи, что поняли это. И дай Бог понять это народам страны Настиной эпохи! В естественном противостоянии этноцентризма и универсализма нужно равновесие, и, хоть трудно его установить, сделать это совершенно необходимо. Иначе – войны, раздоры, муки...

Кочевники впрямь держались воедино лишь военными походами, завоеваниями, агрессивной энергией личностей, возглавлявших их государство, по существу странное, призрачное, кочевое. Среди них монгольские, тюркские племена, к будущему татарскому народу они имеют косвенное отношение, хотя по привычке их считают татарами. Кстати, татарами русские писатели еще в XIX веке называли неславян, в частности кавказцев.

Кочевники привыкли пользоваться, брать, а не создавать! Усобицы между улусами, протянувшимися от Волги-Итиля до желтых китайских рек, были страшнее тех, что сотрясали Русь. Осмыслив все эти драмы XIII века, а также более ранних эпох, москвичи извлекли урок. Не обошлось, верно, и без затаенного желания создать новую столицу, куда бы, как раньше в Киев, устремлялись надежды, стекались богатства, съезжались богатыри-храбрецы со всей русской земли, из стран исторически дружественных народов-соседей, чтобы вместе отстоять ее и отстроить.

В Москве русский народ нашел то, что искал, – надежного вожда, способного взять на себя величайший труд объединения и освобождения родины. Неистощимый дух русского творчества, добротолубия и непокорности, уйдя в глухомань северных лесов, возрождался и креп в деревянном зодчестве, в былинах поморов, шедеврах богомазов-иконописцев. Так что не одни москвичи пеклись о судьбах отчизны, одни бы они ничего не сделали.

Но москвичи решились повести, возглавить – и это потрясающая ответственность и дерзость. Они реально обеспечили то, что жило в сфере умственной, воспитанной культурой домонгольских столетий. Объединяющая сила государства как бы перешла их волей в сплоченную, как никогда, деятельность. Пал позор на славу! Становлению национального самосознания содействовала и литература, книжность, которая как щит единства и нравственности охватила общим, самым злободневным сюжетом все пространство страны. «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Житие Александра Невского» – вот отклики на утрату независимости и всей Русью, и отдельными княжествами. Пробуждая чувство единства, служа символом цельной Руси, именно тогда русскоязычная литература приобрела свой нравоучительный характер. Она на века сделала обозримыми самую историю и судьбу страны, самобытность народа, всеохватывающее величие русского языка, ставшего подмогой, опорой и надеждой людям во дни сомнений и раздумий о судьбах родины.

Круг чтения книжника во времена Кузьмы довольно широк, но книги не развлекают, а обучают, показывают путь, призывают к единению и борьбе. Настя с удовольствием замечает: того, кто умеет и любит читать, называют *вежей*, а *невежей* – наоборот. Гривна ей намекает и на то, что это русские слова, старославянские огласовки, как это ни странно, войдут в русский обиход позже. Настя и сама теперь понимает, что *невежда* – приобретение времен второго югославянского влияния, это Дамианы его ввели, запутав и усложнив всё на свете: *невежда*, а прилагательное к нему в современном Насте литературном словаре – *невежественный*.

Москва и в культурно-литературной деятельности реалист, переводящий умственность в практические дела. «Задонщина» не просто подражание «Слову о полку Игореве», но и своего рода ответ на него, московский призыв к реваншу за поражение. Отсюда и пошло, что литература у нас была и есть учебник жизни: сама за нас ничего не решает, но учит, как решать, опираясь на опыт, на анализ, на исторический пример.

Настя вдруг догадалась, почему Москве надо сравняться в славе с Киевом: нужен оправдательный довод перенять верховную власть! Потом по той же логике москвичи назовут свой город третьим Римом! Ведь Киев XII – XIII веков был величественным, не уступал по размерам и населению тогдашним Парижу и Лондону, даже Константинополю – столице могущественной Византийской империи. 400 его церквей и 8 рынков поражали иноземцев. Литература и искусство стояли на пороге европейского Ренессанса. Высились каменные храмы с великолепными иконами и фресками, процветали книжность, грамотность. Варяги и венецианцы, греки и арабы вплетали чужеземный говор в русскую речь на рынках и улицах Киева, как, впрочем, и Новгорода...

Стать наследницей! Чтобы московский князь был не менее славен и могуч, чтобы с ним мечтали породниться знатнейшие дворы Европы, определяя мировую политику. Чтобы в Москву тянулись пышные посольства и богатые караваны из чужеземных стран, с крайних сторон, вели обширный торг. Всё новое – хорошо забытое старое: мы ныне опять наконец вспомнили про свободный рынок как основу благополучия и процветания!

Москва XIII века переводит на свое имя память о цветущем государстве. И это источник, из которого черпаются силы единения и сопротивления. И великорусский язык, складываясь на землях междуречья Волги и Оки, перенимает древнее величие, общеславянское и общерусское достоинство.

Коренной москвич, потомок первопроходцев, Кузьма Воробей бережно хранит свою речь, хоть по привычке к странно звучащей в церкви книжной, еще не пронизавшей насквозь русский язык. По привычке он и к звучащей вокруг речи новгородской, псковской, киевской, к совсем чужой иностранной и даже к разнообразной речи кочевников. Чуток его слух к капризам речи, велика любовь к чистоте первоначального языка, неизменно стремление к разгадке его тайн и путей. Размышляет себе под нос златоковец, и Насте понятен смысл его речений: «Смерти не боюсь – чего бояться? Уходят сверстники и близкие, когда-то, завтра, через год, через десять, уйду и я. Бояться нельзя, потому что останешься ты – дочь, внучка, правнучка. Человек создан чаять бессмертия, в том высшая красота и дерзновенность сознания. Произрастать сильными ветвями в новых поколениях, плодоносить в делах и идеях, продолжающих жизнь. Любимый человек живет в двух измерениях: среди своих современников и – таинственным образом – в истории».

Настя и Кузьма – совсем разные люди, но есть клеточка, ниточка, их соединяющая. Остаются род, его думы, заботы, помыслы. И все и всех горизонтально и вертикально связывает великое чудо языка. В нем память. Он вечен. Бессмертен. Но он меняется. Его беречь! Смерть страшна, когда жизнь прошла в бесплодном ожидании непржитых радостей. Русский язык – это колосс. Он все может, многое уже радостно содеял для говорящих на нем, для всего человечества. Следи за ним в его обыденности и в его возвышенности. Ты почувствуешь, что было, и что будет...

— До чего же русские в жизни и в литературе горазды на все лады поучать и наставлять друг друга! – тихонько пропела Гривна, не поймешь, с уважением или насмешкой. – Проповедники вы от рождения, совершенно не терпите инакомыслия ни в жизни, ни в языке. Никогда у вас не было довольства текущим днем, никогда не торжествовал призыв, что, мол, все позволено. Особенно в твоём северо-восточном краю, во владими́ро-суздальской, потом московской стороне.

— Как так? – в Насте выиграла московская натура. – По радио каждый день слышишь: разрешено всё, что не запрещено! У нас свобода, гласность, этот, как его, плюрализм мнений.

— Ну дай Бог, – уклонилась от спора Гривна. – Давай лучше о языке, что вокруг звучит, порассуждаем. Не зря же в такую древность перенеслись, чтобы время на заботы конца XX века тратить! Сказочно превращаясь в политическую, экономическую, культурную столицу, возглавив соби́рание земель и борьбу с игом, Москва создает из говоров прилегающих земель великорусский

язык. Переживая общие процессы, восточнославянские наречия, остающиеся за его пределами, удаляются от него, и не было бы у москвичей твердости, то и их язык рассыпался бы, ушел от предков. Тут-то свою консервирующую, оберегающую роль сыграло обращение к славянской книжности, общей для всех и насаждаемой церковью.

Все ли русичи согласны были на единый язык, на единое начало? Увы, нет. И об этом печалится Кузьма. Западная Русь захвачена Литвою, к ней вот-вот отойдут Киев, галицко-волынские земли. Мы под игом, связи нарушены. О былом величии единства напоминают лишь книги, живой же язык распадается. Вновь и вновь является мысль, что лишь книжность, литература остаются бессознательным и сознательным выражением единства. Не потерять бы и языковую общность!

Традиции управления, устойчивые формы государственности и те передаются преемственно, складываются постепенно, длительно. Так и язык требует многих лет для становления, определения своих законов, своей правильности, путей изменения. И на него воздействуют внешняя и внутренняя политика, смещение населения, способы хозяйствования и управления. Вспомним приказной язык, родившийся в управленческих канцеляриях и сыгравший свою немалую роль в развитии русского языка в целом. Вспомним моду, дурной французский манер которой чуть было не испортил нашу великорусскую речь.

Настя усмехнулась, когда перед глазами мелькнула девица Олимпия. Но ее поразил трагизм Кузьмы, созвучность его мыслей с тем, что втолковывает Гривна. Она-то всё знает, а он – ясновидец! Скоро ведь белорусы и украинцы окажутся в Речи Посполитой, будут на долгие годы отторгнуты от братского русского народа. Кровные связи, конечно, не забудутся, но воссоединение левобережной Украины с Россией произойдет лишь в 1654 году, а остальных земель и белорусских территорий – лишь в XVIII веке, после трех разделов Польши...

Настя отлично помнит из уроков истории: условия географической среды, тип хозяйствования, производства, общественное устройство оставляют отпечаток на способах восприятия мира, определяют реакции на действительность, эмоциональные особенности людей, устойчивые психические и культурные черты. Учитель особо любил мысль: национальный дух сказывается даже на идеологии. Так, французы наделили английский материализм остроумием, плотью и кровью, красноречием, придали ему недостававшие темперамент и грацию. Национальное самосознание включает в себя, наряду с осознанием принадлежности к расовой и этнической общности, много других чувств – национальную гордость, любовь к родине, радость при виде творений национальной культуры, эмоциональную убежденность в верности идеологических и политических шагов в интересах развития нации, государства.

Ясное дело, думает Настя, что-то в тебе трепещет, когда видишь березку или рябинушку. С умилением смотришь на лапти и самовар. Говорят, со стороны видней. Вряд ли! Свой народ лучше понимаешь, потому что живешь общей с ним жизнью. Все, что свойственно психике подавляющей массы людей, отражается в специфике жизни и духа, культуры и труда, быта и привычек, проявляется устойчиво в укладе, облике, образах фольклора, символике, осознании своего и чужого в обычаях, одежде и, конечно же, в речи, в языке, в выборе слов, построении фраз, произношении звуков.

Гривна подтверждает эти мысли Насти. Украинцы проверяют встречного: «Скажи паляниця». Скажешь **ныця**, то свой, а **ница**, то чужак! Живя вместе, древние русичи общались, обменивались своими особенностями, вырабатывали общие черты, соизмеряли, сглаживали различия. Главное в том, что настрой был такой. Он пропал вместе с установлением границ, как правило государственных, охраняемых, враждебных, никого и ничего не пропускающих. С ними сменилось и настроение, направленное теперь на различие, развод. Обособливается частное, возвеличивается в заботах о сложении национального характера, непохожего на черты, образ тех, с кем раньше стремились быть похожими, одинаковыми, и, конечно, своего языка, хоть он и выходит из общего.

При формировании украинской и белорусской народностей, напомнила Гривна известное Насте из истории, это в языке проявилось прежде всего. Он отразил особенности природы, социальной среды обитания и деятельности. Настя по-детски пояснила себе: на севере говорили *изба*, южнее – *хата*, но оба слова были общими, всюду понятными; теперь же, чтобы обособиться, украинцы стали говорить *мазанка* – это и их специфику лучше отражает, и четко обособляет их язык, ибо слово это уже не всем русичам понятно. У великороссов, в свою очередь, с развитием языка появляются слова, теперь уже не распространяющиеся по всей территории Руси: *собака* наряду с *пес* (из татарского), *лошадь* (видимо, оттуда же) наряду с *конь*...

Менялись унаследованные от общих предков обычаи и традиции, образы эпоса, былин, сказаний. Несмотря на языковую близость, которая перестала поддерживаться и одобряться в повседневных

связях общими настроениями, жизнь попала под разное и сильное иноязычное влияние, как и церковное, государственное, культурное. Украинцы и русские стали отличаться в бытовом укладе, одежде. Нельзя не сказать, что и при общности, которая, конечно, никогда не была абсолютной, различия были, но они не культивировались, теперь же особенности произношения, отдельные слова стали возвышаться, считаться признаком благородства. У украинцев возник свой язык! А можно и перевернуть утверждение: у русских возник свой язык, когда отошел от общего. Общий-то ведь, может быть, более сосредоточивался именно вокруг Киева, а Москва раньше только равнялась на него, соизмеряла свои речевые особенности с ним, не считая их благородными, достойными, как теперь!

Но пусть успокоится старый Кузьма. Потомки русичей, и разойдясь в языке, в культуре, не забудут о своем родстве. Потери будут, как не быть! Единый еще для Кузьмы Воробья древнерусский язык после XIV века образует три самостоятельные, хотя и близкородственные, ветви, три отдельных языка. Сложатся украинский и белорусский, они удалятся от кровного великорусского брата, который своим путем тоже уходит от языка-предка.

— Постой, постой, – встревожилась гордая москвичка. – Зря это про то, что русский отошел, а украинский наследует... Именно и только русский язык прямой продолжатель. По названию суди: тот украинский, а этот русский!

— Не забудь, что есть белорусский, а украинский называли еще малороссийским. И твой язык всего лишь брат – великорусский...

— Весь мир зовет его просто русским! – упрямствовала Настя, напичканная школьно-газетной пропагандой. – И русский народ не просто брат, а старший в семье всех народов, не только славянских...

— А Москва, ясное дело, лучший в мире город. Может, не первый, но и не... второй! – поддразнила Гривна зарвавшуюся девицу. – Расстояние между тремя языками, как бы там ни было, будет все более непроходимым. Сейчас они плохо понятны друг другу. Но ясно, что языковая картина восточной Славии была бы иной, вероятно более счастливой, если не более легкой, не будь грозных событий XIII – XV веков – трагического нашествия татаро-монгольских орд, затем литовско-польского завоевания. И главное, не будь удельной раздробленности по вине князей. Вот в чем важный урок истории для потомков!

### Три ветви единого дерева

Языки-дети наследуют разные черты родителя, разно их развивают. Из общей основы в Москве возникают одни новшества, в Белоруссии и на Украине – другие. Русский не сохранил, скажем, общее древнее слово *борошно*, *брашно*, означавшее пищу, особенно мучную; в украинском и белорусском оно и сегодня есть и значит «мука». Нет у русских и древнего общеславянского *порати*, имеющегося у нынешних поляков, сербов, болгар, – «стирать, мыть», хотя мы и сохранили производные от него – *прачка*, *прачная*, а в деревнях валец нередко называют *пральником*.

Если верить легенде из летописи, княгиня Ольга, мстя древлянам за мужа, взяла дань голубями и воробьями. Она подожгла их град, когда отпустила птиц, привязав к каждой *церь*. По смыслу ясно, что это нечто горючее, но слова такого в русском нет. В белорусском же языке *цэрь*, *цэра* и сейчас значит «трут». Хитроумная княгиня привязала к птицам ветошку-фителек или сухой тлеющий гриб-трутовик, который они и принесли в свои насиженные гнезда.

Отдельные древнерусские черты то росли, то замирали по-разному в трех районах, когда между ними утратилась живая повседневная связь. Конечно, и общего сохранилось много. Например, во всех трех языках восторжествовало полногласие, но вот древние **т** и **д** перед йотом дали у русских **ж** – *рожу*, *сизу*, а у украинцев **дж** – *роджу*, *сяджу*. Древние сочетания **гве**, **кве** (из праславянских **квѣ**, **гвѣ**, хранимых поляками и чехами: *kwiat*, *gwiazda*; *květ*, *hvězda*) у русских вышли **зве**, **цве**: *звезда*, *цветок*, а у украинцев осталось, как было. Русским *хлеб*, *сено* соответствуют украинские *хліб*, *сіно*, русским *иголка*, *играть*, *из-за* – украинские и белорусские *голка*, *грати*, *з-за*.

Вместо древних и нынешних украинских *нѣбо*, *днѣсь* («сегодня») русские произносят мягко: *небо*, *день*. Но великорусской чертой стало древнее общее произношение *короПка*, *лоТка*, *книШка*, *уСкий*, не фиксируемое орфографически, украинцы же не всегда оглушают звонкие согласные даже в конце слова. На месте древних **ав**, **ов**, сохраняемых русскими, они произносят дифтонг: *пРАУда*, *здорОУ*. Украинцы сохранили древнее мягкое **Ц**, которое у русских отвердело, как и **Ж**, **Ш**: *отець*, *вітця*, *отця*, *вулиця*. У них торжествует фрикативное, или проточное, **Г**, что, пожалуй, особенно ярко

отличает украинскую от русской речи, хотя и во второй оно встречается: в книжном произношении – *блаГо, БоГ, Господи*, как продукт ассимиляции – *коГда, Где, денеГ* (ср. *денёК*) или в экспрессивном произношении – *Гад, Гусь* (т.е. как будто *ххусь!*).

Почувствовав, что у Насти закружилась голова от разрозненных примеров, Гривна разрядила напряжение шуткой.

– Так что по-украински спутаешь кошку и морское млекопитающее: *Kim* (кот) и *Kim* (кит).

Различия захватили и грамматику. Русские, например, развили невиданные сочетания с йотом: *перья, коренья, свинья, колосья*; у белорусов и украинцев долгие мягкие: *карэння, коріння, калосся, життя, суддя, жьщцё*. Украинцы сохранили давнопрошедшее время: *пісау, быу, приносила була, я быу зрабиу музыка, що була змовкла, заграла знову*. У них возникло и неведомое русским будущее простое: *працюва-тиму* и *буду працювати* (наряду с будущим совершенного вида *писатиму* – *буду писать* и *напишу*), а также особая неопределенно-личная форма: *книжку прочитано*.

Различия пронизывают словарь. Русским *либо, или* соответствуют украинские *альбо, хіба*, белорусские *ці, або, хіба*. *Грустить, сокрушаться, беспокоиться* по-украински *журитися*, по-белорусски *журыцца, сумувать*. *Обозреватель* по-белорусски *аглядальнік, зритель* – *глядач*. Украинцы вместо *мечта* говорят *мрія*, вместо *работа, дареный, видеть* – *праца, смажений, бачити*. Перечень можно продолжить часами, читая словарь: *сапог* – *чобот, черевик*; *сапожник* – *чоботарь*; *кузнец* – *коваль*; *например* – *наприклад*; *красный* – *червоний*; *облако* – *хмара*... Нередко общее слово хранится обоими языками, но значение его иное: *дружина* по-украински – *супруга, неділя* – *воскресенье* (а в русском смысле говорят *тиждень*, белорусы – *тыдзень*). Даже местоимения стали разными: по-украински *цей* (из древнего *сей*), по-белорусски *гэты*, по-русски *этот*.

Обособлению языков способствовало закрепление их в литературе, отдельное описание, научное упорядочение. Полоцкий первопечатник Ф. Скорина издает в Праге белорусскую Псалтырь в 1517 году. В 1586 году в Вильне выходит «Грамматика словенська языка» с яркими белорусскими чертами, в 1631 году – букварь С. Соболя – почти метровый в развороте, стихотворение на каждую буквицу.

В работе XIV века «О осмих частех слова» по аналогии с греческой грамматикой перечисляется пять падений, или прав, т. е. падежей: *родна, виновна, дателна, звателна*. Грамматика Зизания добавляла творительный; любопытно, что и в современной белорусской грамматике употребляется термин «родный склон».

Украинские особенности запечатлены в трудах М. Смотрицкого, П. Берынды и других ученых. И великорусские черты узакониваются пусть пока в обще книжных словенских грамматиках: аканье, мягкое *ч*, взрывное *г*, твердое *ц* и т. д. Типичное русское окончание *-ава* (в орфографии *-ого* – *черного*), как и *-ой* в некоторых прилагательных (*злой, золотой, молодой*, в украинских и белорусских как в древности – *молодий, злий, золотий*), вносится в них постепенно, но уверенно.

— Все-таки, – заметила Настя вполне искренне, – лучше то, что у нас. Москва сберегла настоящий язык, это другие его уродовали. И изменения только у нас по-настоящему нужные.

— Какая же ты националистка! – возмутилась Гривна. – Как не стыдно считать все свое хорошим, все чужое плохим! И неизвестно, кто сильнее изменил общее наследие. Открой первородство в глубинах языка чужого! В украинском, может быть, больше верности общему языку...

Отповедь Гривны заставила Настю вспыхнуть, напомнив раздражение отца, когда в Киеве, наслушавшись украинской *мовы*, она высокомерно обозвала ее испорченной русской. «Приятно ль тебе, – возмущался отец, – если русский украинцы назовут испорченным украинским, а он ведь именно таким может им казаться! То, к чему привык с детства, что освящено поколениями, то и есть настоящее, родное. Украинцы – сильная и достойная нация, и в их языке, совершенно законном (если не старшем!) сыне древнерусского, самобытность и современность замечательного народа, вклад которого в мировую культуру велик и неоценим. Да и русский язык много хорошего от него взял уже после того, как разошлись. Ведь прекрасно слово *косовица* (по-русски было только *косьба*), а сколько таких заимствований в русском языке! И жаль, что нет у русских звучного слова *мряка*, обозначающего дождливую, сырую погоду...».

Исторически сложилось, что жизнь потомков русичей протекала по-особому, и язык просто не мог не отразить этого. Сначала общий, он, отражая природу, уклад хозяйства и государства, быт, становился вроде бы новым языком у каждого народа, накапливая изменения, различия. В обособленных условиях существования расцветали те территориальные черты, которые существовали, но были сглажены совместным проживанием, общей судьбой.

И все же Насте никак не верится, что русский язык не лучше украинского и белорусского, как и любого другого. Свой язык всегда кажется лучше, он и в самом деле ближе, лучше для человека, который с детства воспитан в нем, научился на нем мыслить, познал через него мир. Оттого-то он и зовется родным, материнским! Важно лишь, чтобы это естественное чувство не обернулось принижением других языков, каждый из которых для кого-то материнский, родной и наилучший в мире.

Настя знает, что о вкусах не спорят. Но всё же, всё же... Как ей нравится размеренная речь Кузьмы, не испорченная чужезычными книгами, народная, звучная! И куда понятнее она, чем речь раздираемых двуязычием более близких к нам Дамиана и даже Федора Воробьевых. Выговор у Кузьмы, ясное дело, особый, но показной иноземной учености меньше. И о важных материях говорит нормально:

— Разорю, сказывает, землю русскую и баскаки посажу по все градам-городам русским, а князи русские избию...

Бытовая же речь у него прямо как наша:

— Дорога тесна, пойти нелзя, всюду вода да грязь... вздевают на себя портки и пояса... три блюда серебрена, пять обручи с жемчугом и с камнем... на Москве ис порт есть купил кожух да шапка...

Настя готова принять за порчу и новоявленные обобщения падежных форм **-ам, -ами, -ах**. У Кузьмы их совсем нет, и ей кажется, что *со товарищи* звучнее, чем с *товарищами*. Попри-выкнув, она готова видеть в окончаниях **-ом, -ы, -ех** не приметы книжности, а нормальную черту живой речи, как и отсутствие одушевленности, даже именительный падеж вместо винительного у слова *шапка*: *купил шапка, посадил баскаки*. Не замечает она, что Кузьма уже все-таки многое древнее путает: например, глагольные временные формы *творяху* и *твориша*, предпочитает даже во всех случаях говорить *суть творили*.

Как определить его язык? Настя всё понимает, но, наверное, потому, что, останавливаясь у предков, входит, пусть искусственно и вспять, в колею непрерывности, преемственности. Может быть, попади она сразу к Кузьме, меньше бы понимала, труднее преодолевала бы непривычность. Если подумать, то тут какое-то новое качество: не отдельные формы и параллельные окончания, а весь речестрой. Хотя и понятнее, но другое – другой язык.

– Да, – подтвердила Гривна. – Это другой язык – древнерусский. Не поверишь, но он также похож и непохож на украинский, на белорусский. Его, может быть, и другим славянам легче понять, чем современные языки друг друга.

Настя поражена: братья друг на друга меньше похожи, чем каждый из них на отца? А ведь это нормально! Сходство древнерусского с белорусским и украинским больше, чем современного русского и украинского между собой. Но это усугублено разным влиянием книжности на общие восточнославянские, т. е. древнерусские по сути, слова и формы, когда восточные славяне исторически разошлись. В русском языке, например, *побежен, прежде, мочный, одежда, хождение* в последующие века «выправлены» по-книжному: *побежден, прежде, мощный, одежда, хождение*. Отсюда и современные пары: *невежа – невежда, мочь – мощь* и т. п. В других языках-братьях картина пусть немного, но иная. Если здесь книжность чисто православная, то там был у нее и католический налет. Тут ориентировались на греческие образцы, там могли быть в моде латинские.

Книжность архаизировала русский литературный язык, а извечная борьба за его сближение с живой народной речью тоже шла иначе, чем у украинцев и белорусов. Русский язык в целом похож не только на родного отца, но и на отца приемного – на книжный язык. Вот украинский, пожалуй, на отчима похож меньше. Другой сын древнерусского языка, он не испытал столь сильного влияния южнославянской письменности, не знал столь Долгого увлечения французским (уж если украинцы и увлекались «политесом», то польским).

Разойдись друг с другом, они схожи с общим предком разными чертами. У русских и белорусов родимое пятно – аканье, причем у вторых оно отражено и в орфографии: *наги* (нога), *слова* (слово), *гарача* (горячий). Украинцы по-древнему окают, но вместе с белорусами утратили хранимое русскими древнее взрывное г. Белорусы отличны стали тем, что развили не известные ни древнему языку, ни современным братьям дзеканье и цеканье: может быть, под польским влиянием они произносят на месте старых мягких **т** и **д** аффрикаты – *деці* (дети), *ціха* (тихо), *Цімофей* (Тимофей).

В украинском и белорусском языках меньше старославянских книжных слов, чем в русском. Древнерусское полногласие (*оболоко, хоробрый*), почти забытое русскими, замененное часто по южному образцу формами с неполногласием (*облако, храбрый*), хранится украинцами и белорусами.

Оно живет и в общих былинах, признаваемых и русскими: *жил Володимир да переставился*. Все-таки почему из одного вышло сразу уж целых три языка? И какие такие особенности были внутри единого языка, что он так легко распался?

— Не превратился же немецкий язык в три разных в Германии, Швейцарии, Австрии? – недоумевает Настя.

— Да как сказать! – поясняет Гривна. – Пусть там не разные языки, а варианты одного языка, но весьма различные. И английский язык существует теперь в довольно обособленных вариантах – британском, американском, австралийском... Говорят и о нигерийском, индийском, южноафриканском его вариантах. Шутят, что есть даже московский вариант англо-американского варианта! И повсюду причины не только в государственном обособлении народов, говорящих на данном языке, но и в каких-то диалектных, местных чертах, свойственных его носителям и до обособления, или же в разных иноязычных влияниях. Совсем одинаково никогда не говорили на бескрайних просторах Руси, и ее общий язык не был един в сегодняшнем смысле единства общенационального литературного языка, закрепленного письмом и школой. Общей нормы не было, а была лишь совокупность диалектов, близких и взаимопонятных, уходивших в диалектную неоднородность праславянских племен. Вообще, что такое единство языка, единый язык? Это, конечно, когда друг друга незатрудненно понимают. Но в чем реально это проявляется, если полного совпадения всех элементов никогда не бывает?

— Никто не говорит совсем одинаково, – соглашается Настя. – Иной раз сосед по двору и то вполне не поймешь: слова выбирает непривычно, не как все, и сочетает их по-своему, а то еще какое неизвестное слово вставит. Все говорят *пошел на работу*, а папа любит иной раз архаично сказануть – *пошел на службу*. Мелочь, а понимание иной раз затруднит: *жалованье мне не дали*, сказал, и мама не вдруг поняла, что о зарплате речь...

— Сегодня русский язык един для всех говорящих на нем людей, – продолжает растолковывать Гривна, – но это отнюдь не означает тождества всех элементов в устах всех носителей. Вполне образованные люди различаются в произношении звуков, в употреблении и сочетании слов. Говорят *бобер, сколько, сейчас, тысяча, этаж, темп*, но понятны и *бобр, скока, счас, тыща, итаж, тэмп*. А книжно-русские пары *сей – этот, око – глаз* или *млад – молод, злато – золото!* Русский язык не только образованная литературная речь, но и диалектные вариации. Они понятны, но общению могут и мешать. Не сразу поймешь старика из глубинки, если он окает. Надо что-то перебороть в себе, чтобы привыкнуть к **нн** вместо **дн**: *онна* (одна), *нно* (дно) – *менный таз упал на нно, и обинно, и досанно, но уж ланно, все онно*. В то же время ясно, что по-русски говорят, хотя вместо *с руками, идет, знает* деревенские скажут *с рукам, с рукама, с рукамы, идеть, идё, иде, знаат, знат*. В родном языке есть поразительное умение опознавать свое, чувствовать, скажем, что *Саня, Саша, Шура* – это *Александр*, что *молодец, девица* – это *молодец, девица*. Двойное ударение с вызовом декларируется в песноречии: *вечернюю зарю – зорю утреннюю, летает – лётает, высоко и далёко – высоко и далеко*. А вот иностранец никак не может уразуметь, что *их* и *ихний* – одно слово!

— Понимаешь, потому что когда-то где-то слышал, – слабо возразила Настя.

Гривна строго заявила:

— В языке всё, что знаешь, – знаешь, потому что слышал или прочитал когда-то где-то! Но мало узнать, надо еще чувствовать! Вариантность литературного языка (кстати, показатель высокой его развитости) позволяет выражать массу семантических и стилистических оттенков, важных для полнокровного общения, для обмена эмоциями, для шутки. Вариантность – отражение непрерывного обновления языка, смены противоречий его развития. И еще: как заметил твой современник писатель В. Распутин, «язык чем чудней, тем милей». В том прелесть родного языка, его поэзия.

— Вот и значит, что иной раз такое скажешь, чего не слышал, чего никогда в языке не было! – уличила Настя Гривну в непоследовательности.

— Наверное, и ты права, – признала себя побежденной умудренная Гривна, тайно довольная успехами и сообразительностью ученицы.

Из последующих разъяснений Гривны Настя узнала много для себя нового. В языке, может быть, есть оптимальный уровень вариантов, чтобы было из чего выбирать: *сох – сохнул, две основных – основные задачи, дрёвко – древко́, несколько человек сидело – сидели, фóльга – фольга́, лóскут – лоскут, манёвры – маневры, жёлчь – желчь*, причем в последних шести примерах правилен лишь первый вариант, а второй, хоть и распространен, лишь допустим. Ученые считают, что в современном Насте русском языке вариантов, одинаково признаваемых правильными, более десяти тысяч. Чаще всего они находятся не в безразличном или дополнительном отношении друг к другу, а конкурируют, отчего их состав очень подвижен. В начале нынешнего века, например, правильным признавалось ударение



*пéтля*, теперь, вероятно, большинство русских спокойно говорит *петля́*; за последние сто лет правильным считали то *просек*, то *просека*, то *про́сека*, то *просека́*.

Вариативность в литературном языке принципиально отличается от различий в диалектах и наречиях. Обычно эти различия, которые могут вести к разделению языка на отдельные варианты или даже языки при соответствующих общественно-государственных условиях, сопровождаются пристрастными оценками. Именно они могут затруднять понимание, вызывать неприятие, а то и раздражение. Так, потешаются над рязанцами, хотя без труда понимают смысл: «У нас в Рязани хрябы с хлазами, их ядят, а они хлядят». Дразнилочка хоть отбавляй: «Благо во Володимире стокан испить», «Мы вячкие робята хвачкие – семеро одного не боимся» (или: «Семеро на одного – не боимся никого, а один на один – все котомки отдадим»), «Милый цо, милый цо, не чалуй так горяцо». Культивирование, осерьезнивание таких отличий и вело к особой фонетике, специфической грамматике, когда люди обособились, захотели свои отличия возвысить, олитературить, закрепить в книгах.

В иностранном языке эти чувства слабее. Не сразу признаешь русское *лён* в сербском *лан*, в польском *dziad* и в украинском *did* – русское *дед*. Настя вспомнила, как удивилась, узнав, что Марк Твен – псевдоним от возгласа лодочников на Миссисипи *mark twain* (отметка два на шесте, которым измеряли глубину), т. е. судоходно, можно плыть! Неплохо зная английский, никак не могла взять в толк, что *two* и *twain* – одно и то же, хотя любой англичанин без оглядки чувствует, что это разные произношения одного слова (русские *тыща* и *тысяча* произносительно более различны). В общем-то можно, напрягшись, догадаться, что и немецкое *zwei* (*zwo*) родственно английскому числительному.

Если судить о понимании, то дело не в том, сколько расхождений, а в том, сколько совпадений, сколько общего в речи отдельных людей, их групп и целых народов одного языка. Общее преобладает количественно у любого носителя русского языка над расхождениями и захватывает наиболее важные стороны. В отборе общего выражена многовековая народная мудрость. Всё цементируется едиными звуками, основным словарным фондом, грамматическим строем. И русский, владеющий с младенчества литературной речью, и не так уж грамотный крестьянин, и иностранец, выучившийся по-русски с акцентом, говорят по-разному, но на одном языке. Они понимают друг друга, ибо их речь скроена по общей выкройке и из одного по большей части материала. В его массе что-то частное, отдельная непривычная или совсем непонятная чужеродность не мешает очень уж сильно, не нарушает взаимопонимания.

Слыша в связной речи *векиша*, *дежа*, *корец*, *кочет*, *корова брухает*, рано или поздно сообразишь из контекста, из смысла речи, что это *белка*, *квашня*, *ковиш*, *петух*, *корова бодает*. Непонятное гасится массой понятного. Если об одном слове *коса* нельзя сказать, женские ли это волосы, песчаная отмель, инструмент ли для срезания травы, то в конкретной ситуации сомнений не бывает: в фразе «Девушка заплела бант в свои длинные косы» никто не истолкует это слово как железное лезвие на длинной рукоятке. В крайнем случае язык общими словами позволяет всегда переспросить. Различия в произношении обычно не требуют ни контекста, ни переспроса: *в лясу*, *вясна*, *сястра* вполне ясны.

Конечно, чем больше незнакомых частностей, тем диалект труднее понимать. Если же они переселят общее, то перед нами другой язык. Центробежные исторические силы, развивающие и обособляющие местные различия, ослабляют единство языка, а центростремительные, задерживающие или даже устраняющие местные различия, напротив, его укрепляют. Эпоха феодализма с ее раздробленностью, натуральным хозяйством и слабыми связями между землями, стремящимися к неоправданной самостоятельности во что бы то ни стало, нанеся сильные удары по древнерусскому языку, вела его к расколу на диалекты и наречия, из которых при государственном обособлении и вышло три разных языка.

— Так что же, из нынешней рязанской речи, если ее от московской оторвать, вырастет особый язык? – изумилась Настя.

— В одном государстве, – успокоила Гривна, – где постоянно общаются, где общий центр верховного правления, такое вряд ли случится. Да и эпоха совсем иная, и язык другой, он уже закреплен в литературе, насаждается повсюду однообразно радио, телевидением, прессой, а главное – школой.

— А варианты одного языка в разных странах? Неужто британцы, американцы когда-нибудь перестанут друг друга понимать? – не успокаивалась Настя.

— В принципе такое может случиться, – согласилась Гривна. – Возможно, но невероятно. В интересах народов и отдельных людей позаботиться о сохранении взаимопонимания. Мир становится все взаимосвязаннее, теперь это мир сформировавшихся наций, а не народностей, племен, этнических групп. Люди все свободнее, массами переезжают из страны в страну постоянно или на время, перемешиваются. Они не дают различиям перерасти через определенный край или уровень,

допустимый и даже необходимый для утверждения своей идентичности, своего «необщего лица». В то же время всячески поддерживают национальную индивидуальность, ибо это как раз то, что обогащает человечество, многообразит жизнь, делает личность каждого высшей ценностью.

— Ну, а все-таки если принять в расчет фактор времени? – настаивала Настя.

— Если бы да кабы! – Гривна рассердилась на упрямую Настю. – Привели лошадь ковать, когда кузня сгорела. Кому это нужно? В худшие времена русские не позволили своим диалектам разойтись слишком уж далеко. Порожденное Москвою центрирование, жизнь в большом сильном государстве, равнение на одну столицу ближе русскому сердцу, чем местничество. Да и не будь этого, съели бы русских завоеватели. Держава! Общая мощь дороже личного процветания, и строго карается преувеличение местных интересов, переоценка своей важности, своих сил.

Насте симпатична такая позиция, но гложет ее и червь сомнения: в ее дни зародилось у многих неприятие имперской философии. Но она отложила эту тему до возвращения в свою эпоху. Чтобы Гривна чего не заподозрила, она вновь ринулась к вопросу: как получилось, что понятие «русский язык» изменило содержание и стало обозначать язык одной из трех восточнославянских народностей, затем наций? Почему имя общего предка, языка древнерусской народности, осталось у нас, а не у белорусов, не у украинцев?

– Может быть, московские черты раньше выявились – уже в древнюю пору, а украинские и белорусские – позже, после отторжения их от главной восточнославянской массы. Может быть, влияние чужих языков было меньше у русских в силу географического окружения, состава соседей. Еще, вероятно, важнее, что именно Московская Русь ощутила себя преемницей всего наследия, обратилась к книжности как главной опоре славянского духа. Наконец, древнерусский язык был в периоде относительного покоя: вся Русь, как улитка, затворилась в своей раковине, спасаясь от иноземного гнета. Первой возродившись, поставив общегосударственные интересы выше местных, восприняв их как свои, Москва, уже самостоятельное княжество, ощутила себя географическим ядром. Она возглавляет складывание новой великорусской народности.

А какая же народность без своего особого языка? Пока другие собираются, Московское государство объявляет своим весь древнерусский язык, даже всю славянскую книжность... Ну хватит лысы точить, – оборвала себя Гривна, испугавшись, чтохватила лишку в оценках москвичей. – Пора в глубь царства древнерусского языка, к тем твоим предкам, у кого язык совсем понятен предкам киевлян или минчан.

– И узнаем, чем именно выделялся говор москвичей и почему! – обрадовалась Настя.

## ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОСКОВИИ

### Искус удельного возвышения

И вот Москва, в которой не узнать Москву. Нет в ее облике законченности, которую придаст крепостное строительство. Город-деревня: лишь по приметам, узанным в гостях у Кузьмы Воробья, Настя нашла Большую улицу Великого посада и привычно направилась в знакомую усадьбу.

Москва тучнеет, хорошеет, лезет во все стороны. Она потребляет и перераспределяет продовольствие, изделия, сырье – через свой торг, где жизнь бурлит до ряби в глазах, где звенит в ушах от криков: «Сбитень горяч, мед!», «Ковриги бери»... Ночью кругом огни, по улицам плывут фонари в руках прохожих. Среди пешеходов видны конные, гарцуют княжеские дружинники – *отроки*, дети, хотя, конечно, они дети по положению, не по возрасту. Они и живут при князе в совсем еще не похожем на Кремль детинце. Эту крепость **заложи на устьях же Неглинны выше реки Яузы** Юрий Долгорукий или его наследный сын Андрей Боголюбский в 1156 году.

Богатая, ремесленно-торговая Москва рвется вперед. Правящий ею *тиун* – наместник великого князя Суздальско-Владимирского все больше сам себе хозяин. Право стать и устоять во главе ближайших соседей ей завоевывают успехи хозяйства, торговли, железодельного, кожевенно-сапожного ремесла.

– И ювелирного, – добавляет верная правнучка Кузьмы Воробья. – А кстати, кто он, кем работает, хромой Акакий, нынешний хозяин усадьбы, прямой мой предок конца домонгольской эпохи?

— Да просто обыватель, горожанин, – объясняет Гривна.

— Что значит «просто»? Позже Воробьевы тоже горожане, но один – ювелир, другой – писец, третий – торговец? У одного хлебная профессия, у другого менее доходная.

— А этот универсал натурального хозяйства. Хозяин – сам избу ставит, огород возвращает, скот разводит, хлеб печет, запасы на зиму запасает. И швец, и жнец, и в дуду игрец. Это потом труд дифференцировался – настолько, что теперь мужчина удивляет домочадцев ловкостью, если сменит в доме электропробку. А этот все может, чего не может, то идет на торг купить, добыв деньги продажей излишков сделанного самим. Крестьянин с ловкими, все умеющими руками. Чтобы было чем заплатить да и налоги отдать, должен исхитриться произвести больше, чем семье необходимо, или урезать себя в чем-то. Конечно, у каждого что-то лучше получается – у одного огород, у другого плотницкая работа, у третьего шитье сапог.

Так, узнает Настя, живут все 8 миллионов жителей Руси XIII века, из которых горожан лишь полмиллиона. Но в городе выделяются уже специалисты. Возникая среди сельской округи, ремесленное поселение не существует без обмена. Город не порывает полностью с сельским хозяйством, но нуждается в натуральном обмене – оброке с крестьян и в дополнительном привозе сельских продуктов – не меньше, чем в сбыте изделий.

Наряду с местной торговлей необходимы и широкие торговые связи: из Галицкой земли, например, по всей Руси развозят соль, а предметы роскоши для богачей доставляются даже из заморских стран. Профессиональные купцы – источник пополнения феодальной казны торговыми пошлинами, *мытом*. Мытищи – место взимания мыта, от этого слова позже и Мытная улица в Москве. В условиях раздробленности мыто взимается на каждом шагу, что и отражено в словах *мытарь*, *мытарить*, *мытарство*, получивших переносное значение мучения. Великое дело и забава человечества – торговля! Она требует освоения водных и сухопутных дорог. Она усиливает и языковой обмен, разнося общие слова и речевые навыки. Она изощряет ум и речь даже уловками и обманом, рекламой и похвальбой.

Купцов, особенно иноземных, называют словом *гость*. Это смелые, предприимчивые, а главное, бывалые люди, много повидавшие, разносчики известий. «Ой вы, гости-господа, / Долго ль ездили? Куда? / Ладно ль за морем иль худо? / И какое в свете чудо?» – так вопрошал, наверное, не один пушкинский царь Салтан. Гости разносят славу о тех, с кем встречаются. Неравнодушные к ней князья это отлично понимают. Мономах поучал сыновей ублажать купцов: **Боле же чтите гость, откуда же к вам при деть, аще не можете даром, то брашном и питием: ти бо мимо ходячи прославят человека по всем землям.**

*Торг* (торжище) – самое оживленное многолюдное место в городе, важное и для политической жизни. Здесь *бирючи* (глашатаи) объявляют указы. Недаром слова того же корня *торжество*, *торжественный* стали обозначать «праздник», «праздничный». Население города менее консервативно, чем сельское, а городской пейзаж меняет образ жизни. Позже это отразит песня: «По улице мостовой, по широкой столбовой шла девица за водой». Вот и встреча с суженым, который в городе уже и не суженый, а жених. Город притягивает свободой выбора дел по силам, по душе. Среди городского скопления людей возможны многие вольности, хотя и здесь вольномыслие преследуется, может быть, и построже, чем в деревне, где его от природы меньше.

Бродя по узким улочкам, Настя наблюдает, делает выводы: в городе, ясное дело, не в деревне, где все одинаково привязаны к хозяйству. Тут любят подначить, говоря затейливее. Всё проверяется находчивостью, разумом, а не бесхитростными чувствами, интуицией. Город строг, логичен, жёсток и жесток. Москва слезам не верит!

В то же время язык города рассудочнее, суше, склонен к административной строгости. Город-государство отрывает человека от природы, от поэзии, но и превращает язык в более удобное средство общения. Из древней диффузности, когда звуки служили символами предметов, действующими на слух, а жесты изображали предметы, воспринимаемые зрением, из звуков-предложений стал выявляться дифференцированный синтаксис. Вклад города в развитие, шлифовку языка весом. В городе язык теряет прямую зависимость от капризов природы, географии, климата. Вперед выдвигается его зависимость от людей, от общественного устройства. Все более управляясь творчеством мысли, он приобретает полноценность, становится историей общества. В городе уже не лес, а парк, не река, а речное русло, одетое кое-где по берегам в камень. В центре житейского моря, в недрах городов, в их многослойной гуще приобрел русский язык закалку, прошел огонь, воду и медные трубы. Ум горожан вложен в него кирпичиками к уму крестьянскому.

Акакий – рачительный хозяин, больше занят ремесленными делами, чем сельскими. Нет у него зернового поля, корова одна, зерно и мясо докупает. Зато научен тому, что не у всякого селянина

выйдет: кует топоры, тесла, ножи, серпы, кресала, подковы. Знает больше и оттого – источник сведений, авторитет для селян. Сейчас вот собрались у него родственники, живущие под Москвой – в Воробьеве-селе. Хромоногий Акакий повествует о паломничестве в какое-то святое место, делится жизненным опытом, который у него, горожанина, богаче деревенского:

– Град есть от Москвы вдале четыре дни пешему ити. Ту есть путь тяжек вельми и страшен зело, три дни ити в лесех тех страшных, а день по полю ити. Аз же идох к князю и рекох ему с мольбою кланяся: княже, господине, аз бых хотел пойти с тобою да пойми мя, княже! Князь с радостию повеле ми ити с собою. И идох с ним и приряди мя ко отроком своим. Яз наях конь под ся и рече отроку одному: се не могу на кони ехати, нь сице сътвориве – да аз ти лягу на воде, ты же могый на кони ехати всяди на конь.

Он вста и вседе на конь. И тако проидохом места та страшная бес страха, а без вой путем тем никтоже может пройти в мале дружине.

Настя вслушивается: тоже мне, самобытный москвич, так и сыплет, убогий, славянизмами. В церкви, видно, выучил эти **съседше с конь покланяхуся убо блаженууму отцю**. Так он тебе исцелил отсохшую ногу! Но он причудливо мешает их и с самобытным, даже не великорусским, а московским: *нетуть, начаца верещати свойскы, ударил в бубны ума своего*. Московские окончания *таво, зеленава, нашива* предназначены стать нормой, как и ударное о вместо е после шипящих: *в чом, жолтый, пошол, с ключом*. Москвичи произносят **к** в формах *лѣг, денег*, оставив, пожалуй, древнее произношение **х** (*лех спать*) только в словах *сних, денех, в четверх*, да и то не всегда. Много почечек, из которых вырастет милая Настиному слуху речь: *с Масквы, с пасада, с Калашинава ряда*. Так переделать **о** на **а** может, ясное дело, только москвич, оттого и посмеиваются над ним на окающем Севере: «Был в Маскве, хадил по даске, гаварил на а – карова да каза».

Отлично, что появляется звучное московское окончание **-ой**: *злой, молодой* куда благозвучнее, чем старые *злий, мелодий*. К тому же нередко живут обе формы: *большой* и *больший, запасный* и *запасной*. Но, ясное дело, не все московское можно принять, не все и уцелеет в будущем литературном языке. Ну те же, например, *верх, перьвый, гьде!* По большей части Настя все оправдывает, особенно появившуюся категорию одушевленности. Вот Акакий последовательно употребляет винительный падеж: *кого*, а не старое *кто*. Позже это перенесется на лица мужского пола, а потом и на все живые существа. Молодец старик, что начал уже путать, рядом со старым, пока еще, так сказать, правильным *сede на конь*, будто обмолвился – *сede на коня*; так же наряду с *послати сын мой, призови муж твой* говорят *отец любит сына, пригласи мужа своего*. Но до сих пор мы скажем *идти в гости, отдали в солдаты*.

— У украинцев, – не совсем к месту вмешалась Гривна, которой понравилась Настина лингвистическая наблюдательность, – категория одушевленности так и не пошла особенно далеко, охватила только живые существа, и то не все: *didie, вѣтцѣв*, но *раки, голуби, жоны*, а не *раків, голубей, жен*. Впрочем, и у русских есть не только застывшие выражения (к твоим примерам добавлю еще *выйти замуж*), но и формы *вижу микробы, вирусы*, а не *микробов, вирусов*. Будто и неживые они! *Вижу мертвеца*, но *вижу труп*. Видно, мертвец менее мертв, чем труп...

— Увлелась ты, – укорила Настя. – Лучше вот о чем: Акакий говорит *конь* – это потому, что чисто русского, т. е. не известного другим славянам, слова *лошадь* еще нет?

— Конечно, *лошадь* из тюркского *алаша-ат* придет позже, в конце XIII – начале XVI века, когда появятся кочевники... А ты молодчина! – Гривна радуется наблюдательности Насти.

А ее смущает, что говорят иногда *ногы, мухы, руки*. Гривна поясняет, что так правильно, по-древнему. И сегодня на стыке слов произносим **ы**: *к Ывану, волк ы лиса*. В падежных формах перед **и** и перед **е**, напротив, смягчение шло далеко, до превращения **г, к, х** в особый звук. Получалось чередование звуков: *нога – нози, на ноге; река – на реце; муха – о мусе; отрок – отроци; супруг – супрузи; человек – человекче, друг – дружече, волк – волне*. Москвичи первыми из великороссов стали произносить мягко **ки, ги, хи** и заменили **ц, з, с** в формах типа *нозе* (стало *ноге*), *помози* (стало *помоги*). Это произношение окончательно укрепилось после XV века.

У других славян не так: украинцы чередования хранят, болгары тоже (у них, правда, не *помози*, а *помози* на месте нашего *помоги*). Собственно, колебания были в древности (говорили и *греки, варяги, и греци, варязи*; по сей день мы сомневаемся: *петербургский* или *петербуржский*).

— До чего живучи эти языковые причуды! – воскликнула Настя. – Значит, от *печь* мы говорим *пеки*, а болгары *печи*, но и у нас есть слово *печь*. Мы, ясное дело, скажем *греки*, а не *греци*, но прилагательное и у нас *грецкий*. Впрочем, есть и *греческий*... Все-таки молодцы предкимосквичи, что хотя бы мягкие **г, к, х** узаконили, всё лучше этих чередований!

— Почему же лучше? – будто руками всплеснула Гривна.

— Да потому, ясное дело, что для слуха приятнее.

— Поди-ка докажи, что **ки, ги, хи** благозвучнее, чем **кы, гы, хы** или чем **ци, зи, си**! Что в воздухе красивее, чем в воздухе или на востоке – чем на востоке, в дороге – чем в дорожке... Да, для твоих предков оказалось почему-то проще смягчать несмягчающиеся звуки, а не оставить их как есть и не чередовать с другими. А украинцам и белорусам больше нравилось менее последовательно противопоставлять мягкие и твердые согласные, сохранить чередования: *на нози, в книзі, на воздусі, в руце*... Нет, тут «лучше – хуже» сказать нельзя! По-разному, да, «лучше» – это самомнение!

Настя соображает: закон смягчения еще и у милого Кузьмы Воробья был хрупким. Он говорил и *акы, руки, рускыя, погыбаеши*, и *аки, руки, русскыя, погыбаеши*. Самого себя звал твердо *Кузма*, хотя это вроде из другой оперы... У Дамиана, ясное дело, под древность все поддельвалось, но его **кы, гы, хы** – искусственные, из книг. Вот и в Настино время искусственно для русского уха *кыргыз* вместо *киргиз*...

Воспоминания о Кузьме, о Демьяне вернули Настю к мысли, которая при всем при том никак не укладывается в ее голове. Пусть маленькие княжества в своей самостоятельности и делают своих подданных побогаче, посвободнее, но какую цену придется за это заплатить?! Дело в том, что она замечает – и это ее очень волнует – желание современников Акакия действовать по принципу: сами с усами! Пусть бедные, но ни от кого не зависим! Пусть маленькие, но сами себе хозяева!

Да, их отнюдь не беспокоит, не печалит разъединение русских земель, не видят они в удельной раздробленности никакой беды. Напротив, радуются обособлению Москвы: что, дескать, за польза в зависимости быть от всемогущего Киева или от Новгорода, от того же Владимира? Чем больше княжеств, тем слабее центральная власть этих великанов, подчиняющих и обирающих маломощных соседей. И превосходно, что рушится империя Рюриковичей, что Москва освобождается от указаний с юга и с запада! В этом уверены современники Акакия. Куда как лучше сейчас зажили, чем когда отдавали и добро, и волю далеким великим князьям! Стали пусть маленькими, но цветущими государствами.

— Ишь ты, свои черты раздувают, чтобы обособиться, – недоумевает Настя, воспитанная в духе, что единство, большое государство всегда хорошо. – И в языке, значит, узаконивают собственные черты не в заботе об общем языке!.. Это потом спохватятся и будут эти черты раздувать по противоположной причине – чтобы объединиться. Парадокс!

— Да не парадокс, а диалектика, – уточняет Гривна. – И разница есть: была служанкой, стала хозяйкой. Москва сейчас отъединяется, чтобы стать самостоятельной, ни от кого не зависеть. Потом она возглавит общее дело и станет объединять другие земли вокруг себя. В истории вечно воюют два взаимоисключающих принципа: «маленькое всегда хорошо» и «большое всегда хорошо». Разрешение противоречия между ними – одна из движущих сил развития. В разные эпохи бывает полезен крен то в одну, то в другую сторону, хотя спокойнее для живущих баланс этих сторон!.. Так, в твою эпоху явно стремление к самостоятельности республик, вплоть до сепаратизма, до отделения. А до того было спокойствие, скорее даже центростремительные тенденции. Вот и в эпоху Акакия активно работают центробежные силы, и Москва в их власти.

Настя с трудом осознает этот поворот, не такая уж прямая, оказывается, история Москвы да и всей страны! Мал, да удал? Что жив этом есть логика. Может быть, если бы не нашествие кочевников, и жили бы мы среди маленьких стран, вон как Люксембург, Лихтенштейн... И неплохо бы жили... Только вот не позволили нам так жить. Получается, что нас как бы заставила объединиться в громадное государство угроза порабощения, от которого в одиночку не отвертеться.

— Так! – подтверждает Гривна. – Заставили, но Москва и сама по себе не прочь была стать головой, объединять соседей вокруг себя как столицы нового своего государства, а точнее сказать – подчинять других своей воле. И она сумела подкрепить это желание моральным правом вождя освободительного движения.

— И все это отражалось в русском языке?

— Конечно! Утверждение своих языковых черт, навыков как правильных, наилучших – сначала, чтобы подчеркнуть обособление, самостоятельность, потом, чтобы заявить о своем праве диктовать подчиненным!

— И подкрепить это право ссылкой на древность, былую славу, истинную веру, провозглашая себя главной наследницей, законной преемницей! – Настя радовалась оттого, что стали ясны ей на первый взгляд непонятные, нелогичные действия средневековых ее предков. – А для этого в свою очередь надо было обратиться к старинному языку, к священным книгам, пригласить греческих

мудрецов и художников... Понятны мотивы деда Демьяна, хотя и осложнили такие, как он, жизнь русского языка!

— Такова уж логика истории, – наставительно заметила Гривна. – Сепаратизм нужен, когда надоел Киев, а как сама центром стала, всю славу на себя перетянула, то наоборот! Вот и в твои дни...

Но Настя больше не хотела рассуждать, ее охватил страх – тот замораживающий, леденящий ужас, который испытала она в век иноземного ига, сидя подле деда Кузьмы.

— Польстились на маленькое счастье и остались едва не без головы. Пошли по шерсть – вернулись стриженые! Погодите, научат вас кочевники своими кривыми саблями, что к чему...

## Накануне нашествия

Кажется, ничто не предвещает беду, которая уже на пороге, но слухи ползут страшные. Темучин, провозглашенный великим Чингисханом, поочередно разбил раздробленно выступивших русских князей в приазовских степях на реке Калке в 1223 году. Его внук теперь двинулся вновь на Русь. Тучи сгущаются. С востока пыль зловеще клубится по небосклону: то идут несметными полчищами из глубин степей завоеватели, распаленные жаждой легкой добычи. Трупам завалены города, заревом пожаров охвачены селения.

Картины из романов В. Яна вставали перед Настиними глазами во всей своей страшной реальности. Вспомнился ей и фильм про Андрея Рублева. А предки вокруг Акакия всё судачат: обойдется, мол, может, минует беда? Не раз было, что какой-то ворог *позже* Москву всю, но быстро восставал из пепла укрепленный стенами и рвом деревянный град на Боровицком холме, оживало поселение вокруг него на месте нынешнего детинца, вновь шумели мастерские, закипал торг на Подоле у пристани. Неистребимым характером наделила природа москвичей, и воистину московский давали они ответ на пожары и погромы.

— Ничего не минует! – гневно шепчет Настя. – Ожидание хуже самой беды. Не о себе бы думать, а об общей судьбе страны, нерасторжимого целого. Нагрянет к вам зимой 1237/38 года Батыхан, и в одиночку ничего вам с ним не поделаться.

Как предупредить покорно судачащих предков, чтобы вовремя одумались? Гривна напоминает, что вмешиваться нельзя: историю все равно не повернешь. Слепое местничество застит историческое зрение, и крах неизбежен, предсказуемы унижение, гибель государственности. Совсем потеряют голову предки после радуги 1238 года, приняв ее за предзнаменование законности нашествия и неотвратимости ига как Божьей кары.

— Божья кара и есть – за ваше самомнение, за местничество! – никак не успокоится наша современница.

Ей горько, что москвичи обречены, *заче не успеши утвердити* даже крепостных стен. После пятидневной осады, по словам летописца, «взяша Москву татарове и воеводу убиша Филипа Нянка, а люди избиша от старьца до сущего младенца, а град и церькови святые огневи предаша, и монастыри вси и села пожогша и много имения въземше отьидоша».

Монголы захватят Рязань, возьмут Владимир, так разорят Киев, что до XIV века там не будут селиться. Один Новгород уцелеет, да и то сдав позиции независимости. Не найдя сил объединиться в общерусское войско, отдельные княжества обрекут себя на гибель в неравных боях. Их ждет упадок, вырождение. Не спасут ни героизм рязанских *удальцев и резвцов* во главе с Евпатием Коловратом, ни отвага киевлян под водительством тысяцкого Дмитра, ни семинедельная осада Козельска-городка, которой на века прославили себя крепко душные козляне.

Гривна сочувственно цитирует древнерусскую летопись: «Злыми человеки наважен чьто хочеть отяти от нив... В лето 6745 прииде безбожный царь Батый на Русскую землю со множеством вой татарскими и ста на реке на Воронеже. И поидоша против нечестивого царя Батыя и сretoша его и начаша бити ся прилежно... Приде Батый Киеву в силе тяжьце и окружи град. И бе Батый у города и отроци его обьсе-дяху град и не бе слышати от гласа скрипания телег его. Стрелы омрачиша свет побеженным, побегоша, потыпташа станы руських князь, смятоша ся вся и бысть сеця зла и люта...»

Понятно вроде сказано, но на другом языке услышано. Прародственники по-своему, язычески сокровенно, страшно заголосят, запричатуют, будто скопом ловят курицу:

— Уже не закаляем бесом друг друга, уже не капишь сограждаем, но Христовы церкви зиждем... Не бысть казни, кая бы преминула нас, и ныне беспрестани казними есмы, не отступихом злых обычаи наших, злоба преможе ны, величанье възнесе ум наш.

— Именно: величание вас вознесло так, что разум потеряли! – никак не успокоится Настя, которой кажется, что можно было бы избежать всех бед москвичам, будь они подальше. – Лабуда какая: им про Фому, они про Ерему!

Не оправдываться тем, что, мол, не язычники мы уже, а за оружие бы взяться, стены вовремя укрепить, с соседями договориться вместе оборону держать – так нет! Будут сидеть и плакаться!

Гривна была на этот раз в полном с Настей согласии:

— Лубян ум, а полостян язык. Всяк зрит у друга сучец во очию, а у себя ни бревна. Никакое не наказание Божье, сами себе виной, а на печи сидя, не того дождутся. Не татар, себя бояться надобно. Забыли заветы Мономаха, что нет безопасности и свободы без единства. Не мог он даже своих детей и внуков на верный путь наставить ни словом убеждения, ни мечом правосудия. Разбилась благая мысль его о княжеские споры, ссоры, междуусобицы. И твоим современникам (тут Гривна наставляюще обратилась к Насте) не худо напомнить, что ужас раздробления хуже поражения на Калке!

«Коль сладка словеса твоя паче меда устом моим», – подумала Настя неожиданно для самой себя по-книжному, по-древнему. Ей вспомнились строки «Слова о полку Игореве»: **Усобица княземь на поганья погыбе, рекоста бо братъ брату: се мое, а то мое ж; и начата князи про малое се великое мльвити, а сами по себе крамолу ковати, а поганіи со всѣхъ странъ прихождаху с победами на землю Русскую.**

Настя продолжила модерно словами Маяковского: «Жилы и мускулы – молитв верней!» Лет через сто Воробей-ювелир в этом же дворе совсем по-другому будет рассуждать. Унизителен удел оказаться завоеванной, подчиненной для державы, которая была великой, которой предопределено быть великой, у которой для этого все есть!

— А другие народы и страны, значит, невеликие? – ехидно подначила Гривна. – Русским предопределено, а татарам нет?! Может, еще и цвет кожи роль играет, а?

— Нет, конечно, – смутилась девочка. – Все, ясное дело, равны: и люди, и народы... Нет, не равны, а равноправны (нашлась она). Живут же различно. У нас, у русских, если река, то широкая, если озеро, то огромное, если равнина, то бескрайняя, если лес, то бесконечный. Отсюда и русский размах: если улица, то широченная, баня – жаркая, песня – залихватская!

— А уж если разгул, то бесшабашный, – в тон продолжила Гривна, ехидно посмеиваясь, но спорить дальше не стала.

Она соглашалась с ученицей во многом, но не хотела ее патриотизм доводить до бездумного восторга, чреватого неуважением к другим народам. Права девочка и в том, что нашествие заставит русичей одуматься, принять иную концепцию жизни – не счастье поодиночке, а борьба за свободу всем вместе.

Москва не впадет в отчаяние, воспрянет, сохранит творческие силы, целеустремленно преодолет упадок, создаст новые материальные и духовные ценности. Возьмет власть над судьбой. Вот и весь сказ! Уже сейчас, на закате домонгольской поры, она из военно-пограничного пункта между старой южной Русью и новой северной становится посредником Северо-Запада и Юго-Востока. Она заселена плотно, сама немало производит. Но и после Куликовской битвы в глазах многих она будет слыть глухой провинцией, удаленной от центров культуры и власти. Это замаскирует ее истинные силы и намерения. Оттого, может, и сломают об нее зубы все враги – и русские претенденты на первенство, не принимающие ее всерьез, пока не окажется слишком поздно? Пострадав не меньше других, Москва быстрее всех оправится, всех возглавит и спасет. Много впереди страшного, но всех и вся одолеет она. Кто сейчас поверит, что в XV веке сам Суздаль причислят к замосковным городам, куда будут ссылать опальных, неугодных Москве? Но это будет, а пока...

Пока Настя узнает от Гривны, что слово *замосковский* не значит, как сейчас кажется, пространственного «позади» (это теперь говорят *подмосковный*, *Подмосковье дачное*), но означает, что города эти *за Москвой*, т. е. за ее щитом, в ее власти, подчинении и заботе. Вроде как замужем! Это будет уже начало собирания земель московскими князьями. Расцвет местных черт заменится новой унификацией уже на московской основе. Отсутствие руководящего центра, грозящее распадом и великорусского единства, как распалось восточнославянское единство в целом, побудит Москву исподволь взять на себя роль экономического и духовного вождя нации. И все же отлично, что Москва приостановит процессы, разлагающие, разобщающие людей, народ, страну. И язык!

Не приемля идей XIII века, будто местничество в принципе может вести к процветанию маленьких государств, Настя по-новому оценивает объединяющее влияние киевской и общеславянской книжности. Пусть она и налагала путы на восточнославянские языковые потенции, не всегда давала им развернуться, насаждала двуязычие с его плюсами и минусами (как бы ни оценивать их баланс, они

усложняли и осложнили наше языковое развитие) – всё так, но она и скрепляла людей, опираясь на единую православную церковь.

Именно благодаря общей вере московская речь смогла явить себя наследницей всего общерусского и, не насаждая своей особости, олицетворить интересы языковых разновидностей всей страны. Эта историческая миссия, вероятнее всего, не осуществилась бы, не стань Москва признанной, законной и сильной первонаследницей всего древнего богатства, а ее язык не смог бы успешно конкурировать с любым другим говором, не обратись он к книжным ресурсам. В языке, как и в литературе, предшествующие традиции хранимы особенно бережно и прочно, неприкосновенно, а на Руси старые обычаи, вообще древность всегда воспринимались как святыни. Лишний козырь для вождя-объединителя, что его язык носитель общих святынь!

Сами москвичи пока, увы, в грамоте не сильны, но и разговорный их язык несет через удельную Русь сущностные древние черты. Почему так? Трудно с уверенностью сказать! Но Москва извечно из всех других мест – особая поклонница и приверженка старины. Она, кажется, менее восприимчива к чужезычным влияниям, кроме, конечно, старославянских. Дело, наконец, и в том, что москвичи хранят черты вятичей, из которых и вышли, а те – народ лесной, основательный, не склонный к суетливости.

Запечатленные в книгах, звучащие в церкви древние языковые формы им по душе, напоминая собственную архаику. *Воробье*е ощущается менее верным, хоть и привычнее стало, чем *вработье*. Вообще чем глубже в века, тем меньше структурных различий между разговорным и книжным языками. Ведь когда-то книжный язык был просто записью устной речи! В душе еще язычники, московские жители внимают и подражают церковному слову как божественной истине, не разобравшись в нем толком: **не составить бо ся корабль без гвоздii!**

Как бы предчувствуя свою будущую роль властительной главы, Москва весьма рано, видимо, осмысляет свой говор, угадывает в нем будущую роль, великое грядущее призвание. Она издавна сознательно начинает облагораживать язык, и не только ценностями древних книг. Для диалога, для того чтобы московский монолог до всех дошел, вырабатывается смешанная межплеменная речь, несмотря на то что ради общения, общих интересов приходится поступаться своим, привычным и принимать распространенное из других диалектов и говоров. Вроде бы инстинкт подсказывал москвичам объединительные устремления даже в эпоху удельного местничества – коль скоро не в территории и государственности, то в языке!

Возводя приметы своей речи в образец для всех мест, тем более тяготеющих и присоединяемых к Москве, москвичи опирались и на то, что их город – изначально междиалектный центр. С XIV века город вообще заполняют пришельцы из разных областей и из других стран. Настя вспомнила прабабку из Новгорода с северным диалектом, всплыл в памяти и разговор в доме предков XVII века: пришельцам-де «русский язык не весь сполна заобычен, говорят они по природе тех городов, кто где родился, и по обыкlostям своим говорить извык». Разных российских городов и областей жители, имея нужды и выгоды пребывать в Москве-столице, примут вкус принаравливаясь к здешнему наречию, а возвращаясь в дома, возбуждая в своих соотчичах ревнование подражать говору стольного города. И это до того войдет в обычай, что каждый за стыд будет почитать пренебрежение непринаравления к сему новому, яко общему уже языку, и всяк возымет как будто некое право оговаривать и стыдить того, кто о том покажет нерадение или сделает в выговоре ошибку.

Спохватившись, что переувлеклась мыслями да и стилем XVII века, Настя возвращается в век XIII, к истокам этих будущих размышлений и мнений. Очагом великорусского языка говор Москвы, бесспорно, станет с XIV века, но уже сейчас в нем ростки нужных для этого качеств. Где же их главные корни? Что-то Гривна про вятичей сказала?

### Наследники вятичей

– Откуда аканье и другие московские языковые черты? – включилась Гривна – Они уходят, как и все особенности славянских племен, в разноречье праязыка. На территории будущей Москвы, в верховьях Оки, верхнем и среднем правобережном Поочье, с VII века жили вятичи. Потомки одного из праславянских племен древнего их единства, составленного славными родами, они отличались в своем говоре даже от рядом расселившихся радимичей и кривичей. Долину, овраг они обозначали, например, словом *дол*, тогда как кривичи – словом *дѣбрь*.

Настя прикинула: в ее языке есть и слово *дол*, хотя и редкое, поэтичное, и слово *дѣбри*, правда, в ином значении. Видно, взяли его москвичи у соседей, но смысл то ли недопоняли, то ли переиначили. И



то хорошо: зачем два слова с одним значением? Но лучше не отвлекаться. Девочка снова стала слушать рассказ Гривны, стараясь запомнить самое главное.

Новые места обитания, суровая зима и непроезжие летом лесные дороги плодили в бесписьменном языке вятичей новшества, ибо язык переменяем, приноравливаем к климату, образу жизни и мысли. Вятичи упорнее многих хранят заветы праотцов, пришедших в эти места. Став москвичами, смешавшись с соседями и заезжими людьми, а прежде всего с теми иноязычными племенами, которые жили здесь до их прихода, они, скажем, неприкосновенно произносят **т и д** перед мягким **р**: *хитрый, исхитриться* (у других славян тут звук изменился; много позже и в русский язык придет, например, этот корень в южнославянской огласовке – *исхищрение*). Но многое и меняют. Так, утрачивается **г** перед **н**: *двинуть* при древней основе **-двигн-**, ясной в книжном слове *воздвигнуть*, укоренившемся в русском языке позже.

Взращенный на Севере, может быть, смешанный уже и в вятической первооснове, вторичный по происхождению, говор Москвы с самого начала податлив, восприимчив к наиболее общим для всех великорусских говоров приметам. Москва издревле жила многоярусным бытом, отражавшимся в языке. Сохраняя северную основу, хотя легко отказываясь от крайних ее черт, например от чоканья-цоканья, и перенимая перспективные черты южных говоров, прежде всего аканье, которое было, вероятнее всего, уже у вятичей, он превращается во вторичный смешанный говор – переходный, в принципе **среднерусский**. И правомочно становится приемлемой для всех формой общенародного языка, единым общим языком Московского государства, всей Ростово-Суздальской и Владимирской Руси, наконец и языком *всёя Руси*.

Слив северных и южных черт, переходная природа превращали московскую речь в легко приемлемый образец для всей страны, что диктовалось политическими, экономическими, культурными потребностями, прежде всего общей борьбой за целостность, независимость. Гибкости речи содействовало постоянное обновление, ибо она никогда не страдала косностью и ригоризмом.

– Если, конечно, не считать ригоризм книжности, славянщины, – едко заметила Настя.

Гривна, пропустив колкость мимо ушей, продолжала свой исторический экскурс.

Дела и мысли, привычки москвичей, их отношение к старине и новому определяют великорусский язык, так же как и вкусы московской молодежи, московский характер, вид города... Во всем отражается их деловитость и раздолье, своеобразие хозяйственно-производственной и торговой деятельности, стремление к негромкому и весоному. И не на последнем месте – любовь к благолепию, преклонение перед величием древности. Одним словом, загадочная славянская душа в московском варианте!

Великорусский язык послушно отразит волю собирательницы и преемницы единства и мощи общерусской. Этому как раз и благоприятствует ее срединное положение: народность, и язык великороссов складываются на Северо-Востоке, охватывая постепенно и Юго-Запад. Выгоднее не придумаешь положения для собирательства русских земель – занятия, которому Москва отдается с завидной страстью и которое создает ей авторитет всероссийского вождя.

Сама география заставляет стекаться, устремляться к Москве выходцев из всех краев. Они приносят в общую копилку богатства своего разнообразного жизненного опыта, умений, речевых особенностей. Постоянное обновление населения, его смешанный состав, в котором пришельцы превращаются в старожилов, сильно воздействуют на московский говор. Отсюда откроется внешнему и внутреннему взору русских бесконечно широкий оком Сибири, Урала...

Самая что ни на есть срединная Россия! В ней легко смешиваются говоры ярославские, владимирские, рязанские, орловские, произрастая словом емким, точным, ярким. Язык получается блистательный, простой и сложный, вечный, как мир и славянство. И он среднерусский не только потому, что лежит между северными и южными наречиями, но и по своей природе, смешанному составу. В него вовлечены наиболее общие черты всех областей, которые возглавит Москва и которые поставили общегосударственные интересы выше местных корыстей.

Как бы естественно созданная для этих целей наддиалектная речь существует наравне и наряду с другими говорами, но вместе с тем возвышается над ними. Набирая грядущими веками по мере присоединения все новых земель силы для соревнования с ними в деловом общении, в повседневном быту, эта речь закрепится в приказной письменности централизованной столицы, облагородится книжностью. Она как образец будет множить среднерусские говоры, создавать себе подобные, уча органично сливать южные и северные черты, поглощать различные влияния, становиться в фокус речевых взаимодействий – и отнюдь не беспорядочно, а творчески, выверяясь в тщательном речевом отборе.

Многообразие московской речи много содействуют и пришельцы из разных концов Руси, и иноземцы. Каждое новшество, оттачиваясь, превращается в общую черту, разносится по всей стране, насаждается авторитетом и властью царствующей столицы. Столетиями складывается питательная среда будущего русского литературного языка, слава о котором разнесется по всему миру в дни жизни Насти.

Москва не преувеличивает неприкосновенность своих норм: не возбраняет, скажем, *мене, тебе, себе*, вытесняющие краткие *ми, ти, си* (впрочем, и в XX веке говорят *я те дам!*), легко отказывается от своих северных по происхождению и многим неприемлемых форм сравнительной степени (*страшная, сильная, крепчая*), даже от своих любимых, широко отраженных в известных Насте челобитных: *хаживал, дельвал, бани не тапливал, двора помещичьего не зажигавал* (но и в XX веке канцеляристы придумают *организовывал, использовывал!*). Не щадят москвичи сил и на укоренение нового, если оно оказывается достойным, выдерживает испытание временем. У них уже при Акакии много слов, древнему говору не известных: *студеный, спина, глаз* (раньше были лишь *холодный – хладный, хребет, око*), *бугор, косогор, струя, топкий, рубль, алтын, мельница, государство*. Укореняются то северные (*петух* при южном *кочет*), то южные (*белка* при северном *векиша*): *квашня, ковш, ухват, тропинка, брезговать* (на юге *дежа, корец, рогач, гребоватъ, стежка*), *пахать* (на севере *орать*). Безжалостно откидывая неудачное любого происхождения, москвичи все воспринятое сделают общерусским, затем литературным.

— Но иногда не поймешь, что удачно, что нет, — засомневалась Настя. — Чем плохи свойственные москвичам-вятичам и, по-моему, вполне удобные *земля очистити, расправа чинити, давати управа, болел вся зима, косил трава*?

— Были, наверное, для каждого случая какие-то серьезные причины, только теперь люди забыли, затеряли их во мраке веков. В мужском склонении появилась категория одушевленности, и женский род, может быть, поддержал особой формой употребление родительного падежа в значении винительного. Может быть, и чистая случайность торжествовала...

— Неужто взрывное *г* укрепилось только из-за северного происхождения основ московского говора?

— Вряд ли. Скорее, это от первичного населения, от которого идет вся поразительная устойчивость русского языка во времени и пространстве. Он складывается, как и московская государственность, вся наша культура, усилиями потомков всех славян Востока и нерусских жителей огромной страны. Условна привязка среднерусского языка к вятичам. Даже аканье многие считают не исконной чертой речи вятического племени, а результатом влияния иноязычных соседей; не исключено и то, что его принесли с собой в Москву южане-акальщики. Вообще коренными москвичами могут себя считать многие, кроме вятичей, — те же кривичи. Пришельцы, любя Москву, будут и мечтать уехать из нее...

— Это мы знаем! — жестко сказала москвичка конца XX века. — Мечтают уехать, но остаются! Дескать, где «тот край, где след мой давний есть, где жизни первые страницы когда-то мне пришлось прочесть»? Там-де родня, живая память, начало любви к отечеству. Плачут, а живут-мучаются, квартиры получают, а коренные москвичи ютятся...

Тут уж Гривна не сдержалась:

— Как не стыдно! Нельзя держать обиду столичным жителям. Москву держит вся страна, и не пристало центру от этого о себе мнить слишком много! От этого только распри идут... Столица, как гигантский магнит, держит в своем силовом поле все государство, притягивает, не спрашивая желаний, и того, кто предпочел бы жить сам по себе. Москвичам напрасно думается, что каждый русский, более того, каждый наш гражданин, где бы ни был — в космосе, в другом ли полушарии, у себя ли дома, только и делает, что стремится к Москве. Это — самомнение, хоть и прославлено в песнях и стихах. Зазорно и недостойно возвышать себя, терять уважение к другим людям, городам, народам! К другим языкам! Если твоему родному языку и повезло больше других, то это не значит, что другие хуже, не заслуживают такой же любви, такого же уважения, такой же заботы.

— Ясное дело, любовь к родным местам, даже к Москве, не безвыездная привязанность к месту рождения, — слабо начала возражать Настя, сраженная такими антимосковскими высказываниями. — Но не зря же сказал в «Войне и мире» Л. Н. Толстой: «Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать». В народе и зовут ее не иначе, как Москва-матушка.

— А все-таки, думаю, именно вятичи придали общерусскому котлу особый аромат, — перевела разговор Гривна, потому что и в ней самой любовь к Москве иной раз превозмогала преданность истине, объективному взгляду на вещи. — Их суровая медлительность, основательная решимость

сказались на языке, определили его в самом деле благородные черты, превосходные качества, особые перспективы роста. Говорю это, не принижая никакой другой язык, – поправилась она, заметив укоризну в глазах Насти, готовой упрекнуть ее в непоследовательности. – Но давай подумаем вместе. Только ли по прихоти судьбы, по случайности стала Москва носителем мощной идеи сплочения Руси, возглавила ее, объединила единым языком? Только ли в географии тут дело? Почему первый князь Суздаля, ставшего стольным градом при Владимире Мономахе, – Юрий Долгорукий вдруг воспылал нескрываемой любовью к Москве? Почему именно она откровенно порождает вереницу князей-собирателей, став сама княжеством? Только ли в силу срединного положения на карте, удобного для решения задуманных задач? Сколько таких вопросов можно еще задать!

Высокие помыслы возвысили Москву, возвышенные идеи вели ее к восхождению к вершинам власти и славы. События XIII – XIV веков утверждают за ней непререкаемое главенство, потому что она блестяще сыграла политико-хозяйственную роль объединительницы, твердой рукой обеспечивая внутреннюю безопасность и стабильность, не говоря о внешней независимости. Было бы у Рюриковичей наследование, как в русских семьях, по старшинству, без раздела имущества, раздавали бы младшим почетные и достойные места в одном хозяйстве, ничего не случилось бы с Киевской Русью, которая бы крепла и мужала. Ан нет, им, как на Западе, каждого надо, лишь повзрослеет, отделить, самостоятельно устроить, пусть крохотный, да свой удел дать в собственность. Боком выходит эта самостоятельность: не только страну рассекает, но зависть и злобу, вражду межусобную сеет.

Хорошо, что Москва прекратила эти раздоры! В ней и Рюриковичи москвичами стали, кончили раздавать, транжирить, начали собирать, копить. Усвоив русскую идею, что семья едина, что она превыше всего, московские князья династии Рюрика переменились. Преодолели себя, необузданные свои желания местного величия и самовлюбленную удельную жадность. Уловив общий помысел, Москва не только хотела, но и смогла!

— Как бы нам с тобой куда не заехать в этих доморощенных теориях исторического развития, – остановила эти совместные рассуждения Гривна.

Настя же распалила себя:

— Вот потому все и получилось, что москвичи – люди необыкновенные, добрые, смелые, нестигаемые, от вятичей переняли свой характер. Потому что сильна, умна, потому что Москва! Более восьмисот лет живет, меняет облик, речь. Но все в ней связано убежденной силой, мудростью, самосознанием. Оттого-то и сказано: «Ты не просто город, ты Москва». Москвичи всегда раньше всех приходят в себя от, казалось бы, непоправимых бед, собираются с силами и начинают новые общие дела. Тот, кто берет на себя бремя лидерства, кто может смело сказать «могу» – могу сохранить государство, могу обеспечить его целостность и процветание, тот убежден в своей правоте, тот силен!

— Сказать – да, а вот обеспечила ли Москва процветание союза в твои дни?.. Свобода выбора – это и ответственность за выбор. Москва никогда не боялась осрамиться, но всегда ли безошибочно играла роль всеобщего центра? Претендовала на роль всемирного центра, но вполне ли справилась с такой захватывающей воображение претензией?.. Не утрачивала ли Москва иной раз чувства реальности, трезвого взгляда на вещи? Не забывала ли она нередко святой обязанности столицы печься об уделах, провинциях, потом республиках, областях, краях?! Не утратит ли ныне своей роли?

— Посмотрим! Еще не вечер!.. А республики сами не маленькие!..

Но тут Гривна, чтобы успокоить Настю, предложила послушать, о чем беседуют в доме Воробья XIII века старики и молодежь. Меняется ли речь и в зависимости от возраста, вкусов и взглядов собеседников?

Старики говорили монотонно, уныло, всё про расчеты, продажи и купли, уплату штрафа и долга:

— Возьми у Тимоши шесть гривен на коня, расписной хомут, и вожжи, и оголовье, и попону. Едешь по корову, а вези три гривны.

Жаловались, что монет совсем не стало, описывали утварь, одежду, ратные доспехи. Насте вспомнился Медный бунт: очень похоже и тогда говорили, вот читали-писали совсем по-другому. Значит, бытовой разговор изменился мало, слова только отдельные: вместо *конь* стали говорить *лошадь*, а названия конского прибора, например, остались те же (до нашего времени!): *седельная рухлядь*, *седло с уздою*, *потники*, *плеть*. Правда, слово *прибор* ныне имеет и значение аппарата, устройства, а не только обозначает то, чем «прибирают» – украшают, запрягают, чистят, как, скажем, *бритвенный прибор*. Понятно, что и молодежь так же говорит, только с меньшими призывками и, может быть, с большей синтаксической расчлененностью: *побежали люди, у них дворы и животы погорели. Живот*, ясное дело, не часть тела, не брюхо, как сейчас, и не жизнь, как у многих славян, а *пожитки*, *нажитое*. И *рухлядь* имеет то же значение! Вот какой-то родственник молодой у Акакия сказал:

— Животы их поймав (т. е. отобрав, взяв) – кони, платье, иную рухлядь многую.

Вспомнив оброненную фразу о безденежном периоде русской истории, Настя обращается к Гривне. Та здесь в своей стихии. Люто терзая страну, повествует она, захватчики и свои князья так уронили хозяйство, что свои монеты не чеканятся, а зарубежных не хватает: внешняя торговля прекратилась. Кстати, свои монеты чеканились при князе Владимире в XI веке, но осталось от них только название – *сребреник* в рассказе о предательстве Иуды.

В пользование пошли неразменные слитки серебра – *монетные гривны*. В Клеве они шестиугольные, в Поволжье – ладьеобразные, а в практичном Новгороде – в форме палочек весом 204 грамма, которые удобно рубить. Отсюда и *рубль* – синоним этого важного понятия, слитка серебра, в нужном размере отрезанного. Слово прочно закрепляется как денежно-счетная единица, а затем, став в XVII веке обозначением большой серебряной монеты, и как основная единица русской монетной системы. Останутся и гривна, гривенка – как единицы веса (половина введенного в XVIII веке фунта) и как основа чеканки русских монет, делясь на 48 золотников. Украинцы, несколько позже применив глагол *карбовать* – нарезать метки, стали отличаться от русских братьев и названием рубля – *карбованец*.

Пока что гривна-рубль – главная весовая, денежно-весовая и денежно-счетная единица всех славянских земель в параллель западноевропейской марке (буквально – «знак»). Вес ценного металла может слагаться из какого-то числа одинаковых монет, отчего и счет идет на штуки: *гривна серебра* (весовая) и *гривна кун* (счетная) служат платежно-денежными единицами. Сперва равный, вес их различается из-за нестабильного веса импортных монет; уже в XII веке гривна серебра равнялась 4 гривнам кун, составленным из таких разных монет, как *кун*, *нагат*, *резан*, и прочих.

Гривна – это большие деньги, а как слиток серебра – настоящее богатство. Высокоценящийся конь стоит 2 – 3 гривны. По «Русской правде», записанному в XI веке своду законов, за убийство мужа, т. е. мужчины, полагается штраф в 40 гривен, за убийство дружинника – 80. **Аже кто ударить мечемь, не вынез его, или рукоятью, то 12 гривне продаже за обиду. Оже ли вынез мечь, а не уткнеть, то гривну кун. Аще кто всядеть на чюжь конь, не прошав, то 3 гривны продажи.** Выдергивание или острижение бороды – тягчайшее оскорбление, даже если этому подвергается холоп: за ее повреждение платят в четыре раза больше, чем за отсечение пальца.

— Нет на вас Петра Великого, – восклицает в сердцах Настя. – Прикончит он это древнее уважение к бороде и продажи, т. е. штрафа, за это не заплатит!

— Но пора в дорогу. Как тебе речь Акакия? – напоминает Гривна.

— Да, в общем, понятно говорит, но много и странного. Круглую бочку, широкую в середине, называют *делва*, а короткий круглый бочонок – *лагвица*, кувшин с ручкой – *окрина*: «лагвицы полны пити пригодятся». В общем, любимая моя кадь!

— Дело в том, что ты этими вещами не пользуешься, оттого и названия их не знаешь, – замечает Гривна.

— Не скажи, – возражает Настя. – И знакомые слова имеют иной смысл: *бритвой* называют нож с острым лезвием, не всегда даже складной, *ведром* – лубяной сосуд, обтянутый обручами. Смешно: *носило* – вроде носилок, только днище из берестяного луба, переплетенного между палками. Акакий сказал: «Нечьто мя на нозе бодеть». Он хромоног, и нетрудно догадаться, что у него на ноге что-то болит. В общем, понимаю всё!

Гривна быстро разбила скоропалительную самонадеянность спутницы:

— Ну-ка, скажи, что значит **На мне ти Домославе взяле 12 гривне, а присли 12 гривне или не прислеши, а мне ти стати у князя?**

— Какая-то Домослава взяла у него... – нерешительно начала Настя.

— Неверно! Домослав – он, а не она, и его при разговоре нет. Это присутствующему знакомцу, взявшему для Домослава деньги, говорится: если не вернешь, буду официально жаловаться. Неприятно, но долги надобно платить... Не огорчайся, что на деле не все понятно, – сочувственно прошептала Гривна. – Дело не в непривычном тебе произношении – в нелогичном синтаксисе. Дело и в том, что жизнь тут совсем иная – не поймешь многого, если даже и слова все понятны. Другие понятия, взгляды. Язык хоть и похож, но совсем другой. В следующем путешествии мне придется даже для тебя переводить, а не только комментировать.

Вклад москвичей велик, но общерусский язык создавался осмотрительно, местные речения разного происхождения, во всяком случае, не все из Москвы. Вообще все русские говоры были весьма близки друг к другу, это потом они стали расходиться, даже три языка новых образовали. Расхождению, в частности и отходу литературного великорусского языка от своих же великорусских говоров,

способствовали славянские влияния: по говорам останутся, скажем, свои *хоже-ние, осужати, рождение, нужда, беремь, веред, хоробрый*, а в литературном укрепятся *хождение, осуждать, рождение, нужда, бремя, вред, храбрый*. Литературно приняты будут *одежда, надежда, прежде, пещера, враг, нрав, а одёжа, надёжа, переже* («исправлено») и *преже* (откуда *прежний*), *печера* (осталось в названиях *Печера, Печерский*), *ворог, нор* живут только в просторечии и в диалектах. Русские *тобе, себе, теперь* (в говорах до сих пор *табе, сабе, таперича*) полностью уступят книжным *тебе, себе, теперь*.

— Как хочешь, а я устала от этих славянских влияний, – пожаловалась Настя. – Вся история русского языка из этих первых и вторых южнославянских влияний состоит! Неужто без них нельзя было?!

— Вот тебе на! – изумилась Гривна. – Можно ли было по-другому или нет – вопрос праздный. История такая, какая есть. И не забудь, что искоренить собственно русское не удалось даже религиозным книжникам под водительством патриарха Никона. Выживут *мороз, город, ворон, ночь*, а не славянские, оказавшиеся тяжеловесно смешными, эстетически скомпрометированными *мраз, град, вран, ночь*. И не был бы русский литературный язык таким самобытным, богатым, выразительным, если бы восторжествовали, скажем, одни только московские черты. Не был бы он таким гибким, если бы не познал славянскую книжность, и таким всепригодным, устойчивым, если бы не вобрал в себя черты многих русских говоров, северных и южных. Идущее из XII века пожелание работающему *Бог в помощь* куда позже выправилось по книжному образцу – *в помощь*. Еще в начале

XIX века образованные люди говорили *в среду*, а не *в среду*. Да и в твои дни старые интеллигенты говорят *современный, заслужённый*. Часто живут варианты, разделив значение или стилистическую окраску: *разлив – розлив, ладья – лодка, один – един, впереди – впрёд, палец – перст*.

— Тоже мне живое слово – *перст* – возразила Настя.

— Сама же скажешь *един как перст*, – не согласилась Гривна. – И еще не забудь *наперсток, перстень, перчатка* и даже *двенадцатиперстная*. В столкновении книжной и живой стихий – истоки великой, неподражаемой русской стилистики, раскрытой русскими классиками и поражающей иностранцев. Разве портят русский язык пары *хранить – хоронить, прах – порошок, власть – волость, краткий – короткий*? А как обогащают, разноцветят речь синонимы: *демон – кумир, зол – лих – лукав – лют, мысль – домысел – промысел – размышление – разум – смысл – ум, равен – ровен, оградить – огородить...*

Настя вспомнила любимое выражение своей школьной директрисы: «Мы не оградили, а отгородили детей от труда».

— Ну, ясное дело, славянизмы сыграли и играют свою роль, а самый-то восточнославянский язык до своего раскола на три языка каким был? Московские черты мы посмотрели, специфика есть, а у других русичей как?

— В XIII веке и раньше главное не в различиях, а в их восприятии как элементов одного языка, общего единства. Киевская Русь была сильна, когда была сильной, именно единством, в том числе и языковым. В нем сглаживались, не выпячивались даже те черты, которые были непохожими и из которых потом, когда их стали культивировать, смогли вырасти разные языки, а также и разные наречия, говоры...

— Ну хватит ля-ля, давай взглянем на древнерусский язык, когда он совсем еще единый, – Настя нетерпеливо потерла свой обруч-гривну.

Мановение волшебной палочки, и колдовской кинопроектор, работая в обратную сторону, представил путешественницам новую картину – большую деревню в буквальном смысле этого слова. *Москов* или *Московъ*, как тогда говорили («Зиме поехал князь на *Московъ*»), укреплен, но ему далеко до классического средневекового города с кремлем, ремесленным поселением, соборами, оборонительными сооружениями. Нет еще и усадьбы на Большой улице, нет еще самого Великого посада. Воробьи еще не подданные Московского государства, которого пока нет. Но они уже и не вятичи – они именно москвичи, как раз становятся горожанами. Несутся, просеиваясь, годы и века...

## ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОВОЕ ЕДИНСТВО

### Москвичи и москвичата

Настины предки живут вместе с другими людьми первоначального рода в семейно-соседской общине – *верши*, или едином *миру*, *погосте*. Похоже уже, правда, на ремесленно-торговое поселение. Чуть не каждый дом одновременно и мастерская: *усмаря*, делающего из шкур кожу, а из нее ножны, сумки, обувь, конскую сбрую; *гончара*, лепящего, освоив горн и гончарный круг, изделия с разноцветной глазурью (высшее достижение XII века). Много позже отсюда пойдут отдельные слободы: Кузнечная и Гончарная, Котельники и Таганники, Бронники, Лучники, Хлебники, Кожевники, Сыромятники, Хамовники.

Семьи различаются имущественным достатком. Воробьи не самые зажиточные, но уважаемые за прямую откровенность, веселое нескончаемое любопытство, страсть к знанию и трудолюбию. Оставаясь земледельцами и издавна отличаясь сноровкой к ремеслу, они *кричники* – добывают железо, варя его сгусток, *крицу*, которая получается из болотной руды в *домнице*, сыродульном горне с мехами.

— Сколько слов совершенно непонятных, – вздохнула Настя.

— Отчего же непонятных? – удивилась Гривна. – *Домница*, сейчас у вас говорят *домна*. Это от *дмать*, *надымать*, т. е. дуть, нагнетать воздух. Отсюда и *надменный* – надутый, значит.

— Когда объяснишь, ясное дело, понятно, – оправдалась девочка.

Из мастеров на все руки все больше обособляются профессионалы: из усмарей – кожевники, сапожники, седельники, скорняки; из кричников – литейщики, оружейники, кузнецы. Как недалекий потомок Акакий, а подальше Кузьма, даже Демьян. Кстати, в ремесленном, уже не крестьянском, но еще и не интеллигентском периоде рода Воробьевых немало людей с такими именами: святые Козьма и Дамиан почитаются покровителями ремесел, с их расцветом все больше и Косьмодемьянских церквей.

— Смотри, – Гривна оборвала объяснения. – Смотри – по старому посаду Москва бежит мальчик босоногий. Это тоже Кузя, как и его праправнук Кузьма-кузнец, золотых дел мастер XIV века. Твой прямой предок!

— Да какой же это предок? Ему от роду-то лет десять!

— А разве предки не были детьми? Сейчас Кузя, конечно, не дед, но обзаведется семьей, будут у него внуки и правнуки. И даже очень далекая праправнучка Анастасия... Смотри, ишь как стукнул соседскую девчонку по затылку – это его будущая жена, твоя пра...прабабка.

Настя совсем сникла: как-то не думаешь о предках как о малолетках! Зря, ясное дело. Предки, пусть самые далекие, – живые люди. Мы привыкли на прошедшие поколения смотреть как на взрослых, старых, сурово-серьезных, былинно-сказочных. Далекое пращурство представляется нам с ликами аскетичными, строгими. А они ведь рождались, росли, радовались, огорчались, делали глупости и свершали великие дела. Они не всегда назидательны, живут отнюдь не для того, чтобы быть кому-то предками! Хотя наверняка думают о продолжении рода.

И язык, на котором они говорят, нормальный, живой, для них сегодняшний. Это для нас он древний, часто неуклюжий. Каждому следующему поколению вкусы, моды, идеалы предшествующего кажутся уже не такими, вон даже босоногому Кузе речь стариков представляется малость смешной. Ему, скажем, нравится говорить *боярцев призва, вседи на коня*, хотя старшие говорят *призва боярце, вседи на конь* – да и его поправляют! И ты знаешь, что молодежь эту моду передаст дальше, что приведет в конце концов к изменению русского склонения существительных, к утверждению в XIV веке категории одушевленности. Конечно, вкус молодежи был тут поддержан (или порожден?) системой самого языка: желательностью не путать у лиц падежа подлежащего и падежа дополнения, различать формы, отвечающие на вопросы кто? и кого? хотя остается что это? и что вижу?

Да, подумала Настя заемными словами поэта: «Столетия пронизжут тебя, словно дрожь, / Пока ты до предков дойдешь. / Но пройденный путь – только тень бытия. / Когда же ты предков достигнешь, то знай, / Что там и грядущего край. / Предки твои грядущую быль и грядущую новь / Уже различают вдальи»... А все-таки интересно, как работает механизм изменения языка. Мне и подругам нравится говорить *конеЧно*, *булоЧная*, а вот папа говорит еще *конеШно* и даже *булоШная*, так неужто молодежь победит? Ясное дело, не сразу, через годы, смены поколений, века... Ну-ка послушаю, что скажет об этом Гривна.

— В проблеме отцов и детей – причины многих общественных сдвигов, в частности и языковых. Как все истинно человеческое, язык передается от поколения к поколению не генами, а восприятием людьми накопленных до них богатств. Эта эстафета, социальное наследование не механическая передача палочки. Тут нет жесткой запрограммированности, и передаваемый опыт видоизменяется, обогащается. Постоянное совершенствование путем проб и ошибок!

Впрочем, не всегда совершенствование. Часто просто изменение: ведь никто не может сказать, что такое прогресс в искусстве да и в языке. Помнишь, лектор в университете задавал риторические

вопросы: лучше ли, когда много прошедших времен, но нет видов или когда есть виды, но одна форма прошедшего времени? Что лучше: нет склонения и есть артикль или есть склонение, но нет артикля? Так кто же определит: Шекспир лучше или Гомер?! В самой общей форме тут действует шкала ценностей, зависящая от меняющегося уровня производственных отношений и производительных сил. В промышленно-научной сфере прогресс, конечно, очевиден, и он, несомненно, сопровождается прогрессом в культуре и в языке, но тоже не столь уж обязательно, к сожалению. Вспомним экологические беды, угрозу войны на уничтожение планеты, упадок морали и духовности, которые очевидно связаны с научно-техническим прогрессом.

Новое поколение предпочитает из ряда синонимов тот, который ему больше по душе, а не тот, который больше нравится отцам. Обязательно ли лучший? Трудно сказать! В твою эпоху перестали говорить *чернорабочий* и *мертвый час*, заменив их *разнорабочим* и *тихим часом*. Наверное, лучше. Но что дала замена – *грузовой поезд* вместо *товарный*? Каким-то предкам красивой казалась славянщина, другим – французская иностранщина, третьим верхом выразительности представлялась приказная речь. Сейчас у твоих ровесников в моде наукообразность и американские словечки, жаргона многовато...

— Какая наукообразность? – удивилась Настя.

Гривна пояснила:

— Ну, например, вместо естественных слов *вроде*, *наподобие*, *такой как* вы начали употреблять научный оборот *типа*: *вода типа «Боржом»*, *сапоги типа «гейша»*, *кофта типа «распашонка»*, *тетрадь типа «еженедельник»*, *он сказал типа «не хочет»*. Не всегда грамотно, но закрывает какую-то лауну, т. е. брешь: в русском языке нет четкой возможности выразить уподобление. Кстати, именно это и породило в конце XIX века словечко *вроде*, которое тогда же и высмеивали прибауткой *вроде Володи – похож на паровоз*.

Важно, что никакие изменения, особенно в фонетике, не происходят разом, единовременной реформой: сегодня так, а завтра с утра иначе. Даже в словаре старшее поколение говорит по-своему, молодежь по-новому. Признаки новшества появляются в отдельных точках, у отдельных людей-новаторов, кстати не всегда молодых. Потом они обычно долго оцениваются массой народа, особенно образованной, как ошибки, небрежности, желание покрасоваться, как неуважение к традициям отцов и дедов. Эти традиции защищает школа, даже наказывая за их нарушение. Лишь долгое и массовое употребление новшества (при забвении старого выражения) превращает его в общепризнанную, новую форму. Тут уж ошибкой будут признавать старое. Не всё, что нравится Кузе, укоренится в русском языке. Он, например, говорит *хвонарь*, *Хома* вместо *фонарь*, *Фома*. Книжное **ф** (в русском языке искони такого звука не было) все-таки укоренится, но след вкуса Кузькиных сверстников и сейчас есть в слове *прохвост* (из греческого *профос*).

Тут Настю от лингвистических дел отвлек вид растущего Москова, обскакавшего по многим статьям Коломну, Рузу, другие поселения-собратья в крае, не ведавшем городов.

Москов возник и развивается в краю вятичей, позже всех вошедшем в состав древнерусского государства, в котором к концу XII века было уже 200 городов, среди них такие крупные, как Киев, Новгород, Псков, Суздаль. Рядом с вятичами – земли кривичей, там, где знакомые Насте Поваровка, Немчиново. Товары умелых ремесленников-москвичей соперничают с привозом из иных мест, и торг привлекает окрестных крестьян за много верст. Густеет население, вятичи все теснее сближаются с кривичами и другими соседями. В одном ведь государстве живут, беспокоятся больше о сходствах, чем о различиях!

Москва-река, связанная через Оку с Волгой (старая торговая дорога), становится оживленнейшей магистралью. Пристань находится в нынешнем Зарядье, где высокий берег отходит от реки, образуя простор; от этой пристани москвичи отправляются на Нижнюю Волгу. Тут и церковь Николая Мокрого, покровителя плавающих.

Обозначились и сухопутные пути в радиусах – Тверская, Серпуховская, Ордынка, Дмитровка. У нынешней Соборной площади Кремля пролегла древнейшая улица града. Ее остатки археологи отроют при жизни Насти, а пока та с удовольствием прошла в кроссовках на Подол к Броду, что на месте нынешнего Большого каменного моста.

С торгом-рынком и ремесленным поселком уже проклюнулась и третья неотъемлемая черта! города: в настоящий детинец превращается окраинная крепостица великого княжества Владимиро-Суздальского, первоначально предназначенная лишь для укрытия окрестного населения при вражеском набеге и для безопасного отдыха князя с дружиной при сборе с этого населения дани. Принуждение людей к повинностям – небезопасное дело в краю вятичей!

Внушительное поселение Москов! Во всем берет разбег. С расширением детинца, захватывающего дворы старого посада, роду Воробьевых придется к концу XII века покинуть насиженное место. С помощью одного из своих, искусного *городника*, ценимого мастера по строительству и починке крепостных стен, они переселятся на тот участок, который Настя полюбила на предыдущих гостеваниях. Предки отходят от землепашества, но, хотя зовут родственников-смердов, живущих в селах по Сетуни, на Воробьевке, в шутку лапотниками, как сами **суть вси в сапозех**, недалеко от них. Вместе прячутся за стенами града-детинца, нахваливая родича-городника, когда враг уходит несолоно хлебавши. Увы, не всегда.

Во время Настиного гощения ее предки еще в старом доме у Боровицкого холма судачат **про боярина некого, богата суца, именем Кучка Стефан Иванов**. Он распоряжается своевольно, не созывая веча, распределяет межи земельных наделов, превращает смердов в закупов. Семья его владеет громадными урочищами, одно из которых, между будущими Сретенскими воротами и Чистыми прудами, долго будет называться Кучковым полем. Какие-то наследники с XVI века держали тут животный рынок и сбрасывали отбросы в пруды, отчего их не без основания прозвали Погаными. Лишь в XVIII веке, разбив сады с оранжереями, пруды очистят и станут называть Чистыми, хотя после чистки останется только один пруд. Кучка безрассудно требует, чтобы Москов называли по его имени – Кучково. Гривна тут шепнула:

— Летописец так и напишет: **Москва рекше (то есть) Кучково**.

Богатея, Кучково-Москов привлекает друзей и недругов, зарящихся на процветание. Не похваляясь раньше срока, привыкнув к затерянности в своих лесах, москвичи живут по старинке, но не чураются и новизны. У них, долго стоявших в стороне, крепнет мечта сделать обочину магистралью: мы от рода русского! Благодарны они удельной независимости, помогающей осознать себя, подняться и возвыситься, но многое и не нравится.

Не приемлют они соперничества, желания превзойти всех соседей великолепием и даже унижить их. Обособились Новгород, Полоцк, другие уделы, становящиеся полунезависимыми княжествами со своими дружинами и аппаратом власти. Заводят свои летописи: начав едино с *Начального свода*, дописывают как столбовое развитие историю своих князьков, изображая их без особых на то оснований главными наследниками всего предшествующего и законными претендентами на грядущее.

— Но ведь и Москва пойдет по такому пути, – растерялась Настя. – Будет правдами и неправдами утверждать себя как единственно достойного знаменосца общерусской идеи!

— Что позволено Юпитеру, то не позволено быку! – решительно заявила Гривна. – У других силенок и ума не хватило подкрепить благие порывы делами. Чему-чему, а воле, предельной собранности, умению выждать нужный миг и напрячь силы – больше, чем есть! – москвичей суровая жизнь научила. Оттого и любят они шутку, веселье, удалые песни и пляски, помогающие снять напряжение, расслабиться. Но с собой шутить никогда и никому не позволяли.

Владимир Мономах считал подвигом, что он юношей прошел через вятический край: **К Ростову идох сквозе вятичи, посла мя отец, а сам иде Курьску**. Водный путь по Днепру был в руках восставших киевлян, вот и пришлось отважиться на сухопутный поход по опасным владениям. Впрочем, смелый князь позже у вятичей и с вятичами успешно воевал против половцев, грабивших Муром, набегавших на Десну, Клязьму. Они ценили призыв храброго полководца не погубить земли русской и были с ним с междуусобице за вотчины, затеянной в постыдной дружбе с половецкими князьями Олегом Святославичем, кого «Слово о полку Игореве» презрительно называет Олегом Гореславичем.

Москвичи приветствуют и сына Мономаха – суздальского князя Юрия, прозванного Долгоруким, когда он забирает боярские села и прочно обосновывается в Москве. И будущие москвичи его не забудут: через 800 лет воздвигнут величественный памятник ему как основателю города. Дело в том, что вольнолюбивое племенное равноправие вятичей разъедается имущественным расслоением. Растет сила богатеющих старейшин, вроде постоянного вождя Ходоты и сына его, с кем воевал Мономах. Не за вольницу вятических родов, за собственную власть они дерутся, прибирают к рукам земли, облагают поборами безнаказанно – что там князья из Киева и Суздаля! Разнузданное хозяйничанье местной знати – зло, куда страшнее удельной центральной власти с ее записанными и оглашенными законами.

Настя тут знающе хмыкнула: вспомнила медаль, полученную отцом ее отца. Она была выбита в 1947 году, чтобы отметить великое событие, произошедшее 4 апреля 1147 года, когда Юрий выбрал Москву для встречи со своим союзником – черниговско-северским князем Святославом Ольговичем, отцом князя Игоря – героя «Слова о полку Игореве».



Ипатьевская летопись донесет до потомков, что, возвращаясь из похода на Новгород, он пошлет ему приглашение: **Приди ко мне, брате, в МОСКОВ**. Дата встречи князей и их дружин и считается официальным днем рождения города. После военного совета Юрий дал своим гостям *обед силен*: Москов был довольно богат и велик, чтобы разместить две дружины и кормить их изрядно. Были в нем и удалые музыканты: звонким песням и разудалым пляскам не учить Воробьев и прочих вятичей!

Не веселился один сильный и гордый Кучка. И был казнен Юрием за непокорность, а дети его сосланы во Владимир. Сам же князь, как рассказывает повесть XVII века «О начале царствующего великого града Москвы», **взыде на гору и обзрев с нее очима своими семо и овамо по обе стороны Москвы-реки и за Неглинною, возлюбил села оные и повелевает на месте том вскоре соделати мал деревян град и прозва его званием реки тоя Москва, град по имени реки, текущая под ним**.

Надо сказать, что сын боярина Яким Кучкович и Петр зять Кучков отомстят князю Юрию, убив его сына Андрея Боголюбского. Их в свою очередь убьет за вероломство его брат Всеволод Большое Гнездо, унаследовав великокняжеский стол во Владимире. По преданию, тела Кучковичей будто бы и сейчас плавают в дубовых коробах на Плавучем озере под Владимиром.

«Так им и надо, – мстительно подумала Настя, но сразу же спохватилась: – Может быть, и неплохо было бы звать Москву Кучковым? Только была бы она Москвою, всемирной столицей?!»

### **Распад империи Рюриковичей**

Тем временем в доме малолетнего Кузи неодобрительно переживают недавние события – ожесточенную драку за великокняжеский стол. Помер самовластец киевский Ярослав Мудрый, правнуков и внуков которого было 35, среди них и Юрий Долгорукий, и пошел брат на брата.

**И почаша сами в себе володети, и не бе в них правды, и вьста родъ на родъ и быша у них усобице и воевати почаша сами на ся.**

Всеволод-внук сел в Киеве, но сыновья Изяслав, Святослав и Всеволод расправились с его войском в свирепую стужу, а самого засадили в темницу – обманом: крест целовали, обещая не сотворить зла. Киевляне, видя их немочь с лютыми половцами сражаться, посадили было его вновь на престол, но законный наследник Изяслав опять одолел, заручившись помощью короля польского, брата жены своей. Да только Святослав, сговорившись с Всеволодом, вопреки отцову завещанию, прогнал братца и сам сел княжить. Изяслав свое назад взял, опять опершись на поляков, но после смерти Святослава. Внуки Ярославовы тем временем еще пуще кровь русскую проливали, к половцам за подмогой бегали, к заклятым врагам, грабящим Русь. В усобицах Изяслав голову сложил, и Русью правил Всеволод, коего сын Владимир от царевны славного греческого рода Мономахов сидит сейчас на престоле с женою своею, дочерью короля Англии Гарольда. Сможет ли Русь единой сберечь? Призыв его звучен:

#### **а Руськыи земли не погубим!**

Дружины всё чаще заходят в край вятичей, причем разные: дробление империи Рюриковичей усилило не только самостоятельность отдельных земель-уделов, но и в какой-то мере их взаимодействие – не через центр, а прямо между собой. Удельность парадоксально тормозила иной раз раздробление общего языка, а не только возвышала территориальные особенности. Она часто сопровождалась перегруппировками: в один удел попадали потомки разных племен, и, напротив, одно племя раскалывалось удельными границами. Сбалансированная совокупность областных диалектов, племенных по происхождению, времен Киевской Руси заменялась, во всяком случае на будущей территории великороссов, новой и не менее сбалансированной совокупностью уже собственно областных говоров и наречий.

Часть вятичей составила вместе с радимичами и дреговичами основу белорусского языка. Основная же их масса вместе с кривичами и словенцами разделилась между Суздальской и Рязанской землями. Тут истоки северного и южного наречий великорусского языка и позднейших переходных говоров – того же московского в краю вятичей, исконно близкого ростово-суздальским. На территории соседей – обширного племени кривичей оказались как Ростов и Суздаль, так и Смоленск и Псков.

Связи меж обретшими самостоятельность уделами по-новому активны, хотя местничество приглушило нужды централизации, нивелировавшее официальное, отчасти и бытовое общение. Меньше стала роль докладов должностных лиц центральной власти, единых формул права, суда, дипломатических договоров. Но в то же время указы князей, речи воевод к воинам, речи на вечевых

сборах были схожи, ибо уделы во многом брали пример друг с друга, несмотря на бесконечные раздоры.

Но не стоит преувеличивать плюсы удельного периода. В целом это печальное время врагам на радость и повлекло за собой величайшие испытания. Преуспеяние отдельной области зависит от прогресса всей Руси. Отрезанный ломоть вкусен, но быстро черствеет. Лоскутное государство в конечном счете не может избежать и языкового раскола. После смерти Всеволода распадется и Владимиро-Суздальская Русь, появится серия диалектов, у которых свои словечки, особые формы в грамматике, даже особое произношение. Ростов и Суздаль, Рязань сохраняют, пожалуй, больше других верность древнерусскому языку.

— Москва не позволит этим говорам слишком уж сильно обособиться, – говорит Настя, верная сторонница национального единства, которое у русских всегда перевешивало провинциальное сознание. – Найдет новые способы их сплочения. Удельная разрозненность в понятиях нашего народа оставила лишь неприятный след. Она не имела настоящих корней в его сердцах!

— Ты права, вероятнее всего, – раздумчиво согласилась Гривна. – Но как бы там ни было, пока, при жизни милого Кузи, калейдоскопические и частые перемещения князей и границ их уделов, передвижения дружин, бояр, челяди, добрых старцев, песнопевцев, мастеров утвари стали сильнее распространять общие языковые навыки, чем это делала единая центральная власть, обеспечившая преимущественно одностороннее влияние на провинции и мешавшая их взаимодействию. Коловращение князей по наследственной лестнице активизировало обмен между всеми областями, перетасовку их населения. Оно вело к непрерывному обмену новостями и страстями, навыками управления, военным искусством, ремеслами и особенностями разговорной речи.

Гривна усмехнулась:

– Чем больше самостоятельность, тем больше ответственность. Не жди указаний из Киева, сам думай! Получается, что жизнь бурлит, – так что не одни минусы от удельного местничества... Есть и совсем неожиданное следствие, по-своему, конечно, грустное, но исторически, как ты, ясное дело, согласишься, даже полезное: мелкие и слабые уделы – благодатный материал для объединения, для собирательства, чем и займется твоя не такая уж безусловно нравственная и бескорыстная Москва.

Настя возмутилась – и как москвичка, и как любой, убеждения которого ставятся по сомнению:

— Забываешь, что объединением москвичи занялись, чтобы сбросить иноземное иго, рабство! Другого вождя под рукой-то не нашлось!

— Хочешь сказать, что не по своей-де воле? Бескорыстно, не для своей выгоды? Может, и так... – Гривна последнее время все чаще уходила от категоричных оценок и суждений.

А Настю раздражать стал этот подспудный подтекст – какое-то сомнение в исключительности Москвы, в верности ее действий, в ее, если угодно, абсолютном праве быть главой государства российского. Хорошо, что не возражает против прав московской речи лечь в основу общерусского языка!

Конечно, она сама – лишь часть единого древнерусского языка, надежной спайкой которого служит единая прародительская основа. Общих элементов древнего наследия у всех русских больше, чем различий. Ни в одном уделе не отвердели еще **ш** и **щ**, везде живы чередования типа *руце – рука, бег – бежи*, а потом и *бежи*, повсюду беспредложный местный падеж: *живяши Олег Кыеве, сиде Мстислав Чернигове*. Он исчезнет лишь в следующем, XIII веке, заменив оборотами с предлогами *в, на, по, при*. Настя вдруг пожалела, что ввели эти обороты: *сам иде Курску, оженися Москве* – как в телеграмме, четко, кратко.

Ей кажется, что в XII и XI веках в языке все больше не странного, как во времена после второго югославянского влияния, а просто чужого, непривычного. Нет нынешней системы склонения, а какие-то не унифицированные бесконечные типы по основам. Очень сложна система прошедших времен глагола. Чужой кажется интонация, вся звуковая система. Явно тут уже близкий современному русскому, но совсем другой язык. Разговорами о том, славянизмов ли больше, русизмов ли, тут ничего уже не объяснишь. Не язычия, а языки!

Да, на просторах Восточной Славии язык во всех говорах спаян общими чертами, обособляющими его от других диалектов праславянского языка. С середины первого тысячелетия это, например, полногласие, **ь** и **ь** перед плавными (*дльгь*, а не *дльгъ*, как у южных славян и как попытаются навязать в эпоху Дамиана), начальные **ро, ло**, а также **я** и **о** (*ровьнь, лодья, аз – я, один, озеро* – как в древнейшую эпоху и в параллель *равьнь, ладья, аз, един, езеро*, как стало у других славян), смягчение **т и д в ч и ж** (*ночь, одёжа* при южнославянских *нощъ, одежда*).

Звуки **ъ** и **ь** вполне живые гласные звуки вроде очень кратких, неясных **о** и **е**, а главное, что делает ритмику всей речи столь непохожей, – слог открытый, построенный по возрастающей звучности. Хотя при жизни Кузи завершается уже падение редуцированных...

Объединяют русичей, отделяя их от инославян, собственные слова *сорок* и *девяносто*, *ковиш*, *колокол*, *селезень*, *скатерть*, *береста*, *деготь*, *балагур*, *дешевый*, *хороший*. Только им свойственны варяжские *варяг* (ср. *варежка*), *витязь*, *гридница*, *тиун*, *вира*, *ларь*, финские *тундра*, *пурга*. Общий словарь, как цементирующий раствор, скрепляет восточнославянскую речь. Сюда тяготеют и общие присказки, приметы, например: к беде встретить инокиню, попа или *конь лыс* – тогда плюют и возвращаются.

Обычай словесного выражения разносит устная речь. Задолго до крещения сказания, исторические песни, былины, небыли и были объединяли местные говоры общими образами и сравнениями: *яко сокол дюжий*, *яко зайца в тенета яти*; одинаково употреблялись и фразеологизмы вроде *пойде в дань*, *суну копьем*, *бысть сеча зла*, *взяти город на щит*, *изломити копье*.

Народно-поэтический языковой опыт ярко отразился в «Поучении» Владимира Мономаха, где говорится о том, **како небо устроено, како ли тма и свет и земля на водах положена... Зверье разнолични и птица и рыбы... Наполнятся леей и поля на угодыя человеком на снеть на веселье. Лов, ловитва** (слово *охота* значило «радость, развлечение») опасны, и ими гордятся не менее, чем воинскими победами. Перечисляя достойные дела жизни, князь не преминул помянуть, как **ходил на ловы, ловы деял, как ловил есмь всяк зверь**, вязал диких кабанов, охотился на туров и оленей, как один лось его ногами топтал, а другой *рогама бол*. Не один Владимир был **храбр паче меры на ловех!**

В другом произведении говорится: **Приеха в мале дружине на княжь двор нача глаголати: не могу остати брате уже есмь повелел товаров пойти переди... Давыд же седяше акы нем... ведоша и повергоша и связаша... Аз иду по нь.**

Народно-литературный язык преникает в летопись. Вот, например, рассказ про иноземца, который **приде в Словени идеже ныне Новгород и виде ту люди сущая как есть обычай им. Видех бани древены, и пережгутъ е рамяно и совлокутъся и будутъ нази и облеютъся квасом усниянымъ и возьмутъ на ся прутье младое и бьютъ ся сами и того ся добьютъ едва слезуть ле живы и облеютъся водою студеною и тако ожнутъ. И то творять по вся дни не мучимы никим же но сами ся мучать и то творять мовенье себе, а не мученье.** Понятно, что иноземцы *слушаще дивляхуса*.

Устный синтаксис таких отрывков слабо связывает звенья речевого потока. Настя вспоминает ломоносовские периоды: ох как непросто, мучительно выявлялась в русском языке синтаксическая логичность в четких формах подчинения и сочинения! Живой разговор всегда, ясное дело, располагает слова хаотично в нескладице оборотов. И летописец записывал дописьменные предания так, как он их услышал, лишь немного безыскусно обрабатывая.

Вопреки традиции, на которую с XI века нельзя было не опираться, у летописца сохранен русский колорит лексики и фразеологии, народные образы: **Лепши нежели мыслити безлепицю, изоделися суть оружием и порты а мы нази, идети домови а я похожоу и еще, почто идеши опять, слышавше же деревляне яко опять идеть, аще ся вводитъ волк в овце то выносить все стадо аще не убьютъ его... Ольга с сыном Святославом собра вон многы и храбры и иде на Деревьску землю. Суну копьем Святослав на деревляны копье лете сквозе уши коневи и удари в ноги коневи бе бо детеск...**

Живую речь ярко отразил древнейший свод законов «Русская правда», сложившийся устно и записанный при Ярославе Мудром в 1016 году, потом дополненный на съезде князей в 1070 году (сохранился список 1282 года). Тут явный перевес восточнославянских элементов: *суд*, *клепати* (обвинять), *послух* и *видок* (свидетели), *головник* (убийца, откуда потом *уголовник*), *добыток* (имущество), *тать* и *татьба* (вор, кража), *рота* (присяга), *продажа* (штраф), *обида* (правонарушение), а также германские по происхождению *мыто* (пошлина), *вира* (штраф за убийство), *гридь* (воин), *тиун* (чиновник). Записаны были и такие слова, как *горох*, *корова*, *молоко*, *сено*, *хлеб*, – прямо в сегодняшнем своем виде.

Настя не может, однако, с уверенностью сказать, что всё понимает. Если раньше мешала эта причудливо менявшаяся смесь русизмов и славянизмов, то сейчас, в XII веке, их противопоставление, видимо, не так существенно, ибо они близки, в очень многом совпадают. Затрудняют понимание содержание речи, представления предков об окружающем мире, их интересы. Да и попробуй разобраться в их собственных взаимоотношениях!

Вот переделка, в какую попал княжеский дружинник Жизномир: его слуга *купил еси робу*, а она оказалась похищенной у княгини, и та, опознав ее, велела схватить Жизномира. Хорошо, что *ныне ся*

*дружина по Жизномира поручила.* Но, оскорбленный, он не успокоился, хочет вернуть деньги, найти и наказать похитителя: *се ти хочу коне купив и къяжъ муж всадив та на съводи*, т. е. нанять следователя и, обеспечив его транспортом, начать *свод* – систему очных, ставок, позволяющих проследить цепочку перепродаж краденого. Точно как рекомендует «Русская правда».

Без помощи Гривны такие рассказы темны. Вот услышала и не может взять в толк, о чем речь:

— Еже ми отць даяль а то за нимъ а мьне не въдасть ничьтоже изби в руки и пустиль же мя.

Гривна поясняет: не избил, а нарушил договор, – получив наследство, не оставил, как обусловлено, совсем ничего и выгнал из дому.

Слова вроде все понятны, а в целом их связь в наборе, логика расстановки не воспринимаются: **Како ты у мене чьстьеное древо възьмь и вевериць ми не присълещи то девятое лето. А не присълещи ми полупяты гривны в хоцу ти вырути. Посъли же добръмь.** Ну как понять, что **чьстьеное древо** – это крест, что **полупяты** – четыре с половиной, что **хоцу ти вырути** значит «а то ослаблю тебя, осрамлю при всем честном народе»? Хорошо, что волшебная спутница переводит и комментирует трудные места: долг-де надо платить, хоть девять лет прошло.

Но многое и без нее ясно: **не рекл ми варити пиво, земля готова и надобе семена, я на Ярославле добр здоров...** Чего тут не понять? Звучит мерная речь предков: **Чему еси давно не пришел, а ныне оже еси пришел а то добро же, аз тебе кланяюся а тебе ся кланяю.** Отвлекаясь от смысла беседы, Настя следит за понравившимися формами вежливости **доеди добре сътвори** (приезжай, будь добр); **добре сотвори** – вроде *пожалуйста*, которое, как она узнала, возникнет в приказном языке XVI – XVII веков. Несмотря на все перемены, язык, который она прослеживает исторически, – русское средство общения и мышления!

### Книжность – могучая скрепа

— Сильнее всего, пожалуй, – рассказывает Гривна, – тормозит зачатки разложения древнерусской языковой общности, несмотря на раздробление империи Рюриковичей, письменность и ее главный герой – книжный, преимущественно церковный язык. Ослабление Киева, укрепление новых центров способствуют распространению книг. Сказочно-таинственное умение поймать речь, спрятать, хранить было еще до крещения. Настя нахмурилась:

— Не пудри мне мозги! Как это до крещения, если не было алфавита?

— Так вот и было, – Гривна напустила загадочности. – Существовало письмо *без устройства* – неустроенное славянское письмо греческими буквами. Может быть, и еще какое было: некий черноризец Храбр свидетельствовал, что прежде **убо словени не имяху книг чертами и резами чьтяху и читааху** (т. е. считали и читали), **погани суще.**

Конечно, широко грамота пошла после крещения. Просветители славянства братья Кирилл (Константин – до принятия монашества) и Мефодий изобрели в 863 году алфавит – ЯКО звезда **явися и писмена с греческого языка на наш русский язык преложи и имена им нарекъ и грамоту состави.** Твои предки долго были неграмотны, церковная книжность шла к ним в устной форме. И не были они глухи к могучей поэзии Библии. Привыкали к книжным словам и выражениям, многое знали наизусть. И так все русичи, отчего увеличивалось общее в их речи, преодолевались местные различия, причем своеобразно, опираясь не столько на дар грамотности, сколько на благословение и таинство религии. Повсюду насаждая обожествляемые церковью слова, формы, обороты, книжность вечно играла роль облагораживающего регулятора, коему подчинялись раболепно: **почитание книжное что воину оружие и кораблю ветрила.** Богословие верховодило в умственной деятельности людей, его авторитет, а то и принуждение таковы, что твои предки почитали книгу, даже не умея читать! Главное: **лепо бо бе истине въсияти!**

Как младенцы, русичи раньше научились слушать читаемое, затем читать. Письмо долго оставалось уделом монахов. Да мы с тобой видели, что даже в XVI веке, чтобы написать что-либо, шли к писцам. Получилось так, что книжный язык распространялся впереди и шире собственно грамотности, письменности. Его особенности оседали в устной форме, прививались фольклору – ровеснику устного слова, художественно-эстетическим видам речи, скажем, широко запоминающимся воззваниям князей перед битвами. Многие книжные произведения и отделялись так, чтобы читаться вслух в присутствии многих слушателей, чтобы воздействовать на них звукописью, интонацией. Так, и в проповедях есть обращения к читателю-слушателю, возгласы, призывы, вопросы, напевы.

— Верно, – согласилась Настя. – Вон мальчик Кузя, ясное дело, книжной премудрости не постигал, язык знает от матери, от соседей – без школ, без книг, не ведает букв, а иной раз произносит книжные слова. Скорее всего, в церкви их услышал.

— Да и не до всякой сути можно мудро дойти книгами, – рассудила Гривна. – Без пара не согнешь дерева, без звучащего слова не овладеешь душой. В твоё время могучая сила книг действует на человека с детства и в устном напоре по радио, телевидению. А Кузя красивое устно-книжное слово, лучше сказать: книжное слово в устном красивом исполнении, только в церкви и мог услышать... Впрочем, в Древней Руси и грамоте умели крепко вельми. Призыв **насыщемся преизлиха сладости книж-ных еже в святых книгах писана суть** не оставался лишь громкой похвальбой. Ещё в 988 году Владимир Красное Солнышко **нача поимати у нарочитые чади дети и даяти нача на уменье книжное. Матери же чад сих плакахуся по ним еще бо не бяху ся утвердили верою, но акы по мертвечи плакахуся... Си бо не беша слушали сло-весе книжного.**

Примечательно сообщает о книжном деле Летопись под 1037 годом: **И бе Ярослав... книгам прилежа и почитая е часто в ноши и в дне, и собра писце многи и прекладаше от грек на словенское письмо, и списаша книги многи ими же поучашеся вернии людье наслаждаются ученья божественного. Яко же бо се некто землю разореть, другий же насеет, ини же пожинают и ядят пищу бескудну, тако и съ. Отець бо сего Володимир землю взора и мягчи, рекше крещеньем просветив. Съ же насея книжными словесы сердца верниих людий, а мы пожинаем ученье приемлюще книжное. Велика бо бывает полза от учения книжного, книгами бо кажеми и учими есмы пути покаяню, мудрость бо обретаем и въздержанье от словес книжных. Се бо суть реки напаяюще все левую, се суть исходящая мудрости, книгам бо есть неисчетная глубина, сими бо в печали утешаемы есмы... Ярослав же сей, якоже рекохом, любим бе книгам и многи написав положи в святей Софьи церкви.**

Настя едва выдюжила цитату. Детей позабавили для книжного ученья. Почему это грамоте учить только *верных людей*? Ладно, верных значит надежных, которым можно доверять... Гривна поспешила уточнить:

— Скорее, посвященных, сильных духом, умственно и нравственно высоких.

— А что такое *некто землю разореть, землю взора*?

— Неужто непонятен образ *возри на птица небесныя яко тиши не орють ни сеють*? Статую Е. Вучетича «Перекуем мечи на орала» знаешь? *Орало* – плуг, соха, а *орать* – не только кричать благим матом, реветь, но и пахать. Издревле живут пословицы: «Орем землю до глины, а едим мякину», «Когда орать, так не играть», «Дураков не орут, не сеют – сами родятся».

Заметив, что Настя чуть ли не надулась, приняв последнее за обиду, Гривна сменила пластинку:

— Через броню книжности удельные различия с трудом пробиваются даже в деловую письменность. Ты уже видела, как «Русская правда», роднившая все земли законом, скрепляла и древнерусский язык, повсеместно утверждала название зависимого крестьянина – *смерд*, его договора с феодалом – *ряд*, получаемую от него ссуду – *купу*, превращающую его из общинника в *закупа*, и т. д. Его единство утверждалось общегосударственными договорами, например с греками, ещё в X веке. Принеся чудо письма, понятный без особого труда книжный язык, чужеземный облик которого был не таким заметным, как позже, стал сильнейшей скрепой сначала всех восточнославянских говоров, потом – с расколом древнерусского языка на три ветви – всех великорусских говоров и наречий.

— Здорово все-таки, что грамоту принес родственный язык, – размышляет Настя. – Не то, что латынь у германцев или там, скажем, арабский язык по Азии и Африке. Конечно, славянский книжный язык был чужим для румын, литовцев, которых тоже охватил грамотностью, письмом, но для русичей – лучше не придумаешь! Да, книжный язык, искусственно созданный с учетом языкового развития всех ветвей славян, особо близок к формам общения и сознанию русичей. Как и его создателей, их, особенно великороссов-москвичей, всегда окрыляла все же идея объединения, а не идея раздробления, завладевавшая сознанием лишь в отдельные моменты и ненадолго. Книжный язык дал толчок не только к сглаживанию местных различий, их игнорированию (во всяком случае не раздуванию), но и прежде всего к выработке общего, ибо с ним шла единая для всех религия, наука, сфера культа и высоких материй. Богослужение придало ему святость, и чрез то он имел воздействие на вся и всех.

— Книжный язык, – поддакнула Гривна, – воспринимается как свой, как родной. Но, конечно, он и очень близок устному языку всех его разновидностей. Пока еще близок! В 970 году, когда русичи сражались в союзе с болгарями, венграми и печенегами против византийцев, их выстраивали рядом с болгарями как говорящих на одном и том же языке! В Ростове ещё в XIII веке в церкви левый клирос **греческы пояху, а правый русскы** – пели, конечно, по-церковнославянски, но считали, что по-русски.

Различий недостаточно, чтобы нарушить единство понимания. В лучшем случае это два диалекта, вышедшие из недалекой праславянской эпохи, не забывшие детства под одной крышей, хотя у каждого свой характер.

Исторической судьбе было угодно, чтобы эти характеры так развили индивидуальные черты, когда почти забылось кровное родство, и через мучения, потери и приобретения возникли разные языки. Но это еще впереди, а пока в нынешнем древнерусском языке, как потом в великорусском, есть лишь соотношение разговорного и книжного, своего и привнесенного, что воспринимается как не чужое, а лишь просто более высокое, серьезное, важное, святое. Писцы преуспевают, когда пишут на религиозные темы, когда переводят: так создается **старославянский язык русского извода**. Этот искусственный книжно-славянский язык включает кое-что из собственно древнерусского, как бы приспособливает переводимые книги к вкусам, навыкам русичей, но в целом хранит традиции южнославянских наречий, более того, прививает их к самому древнерусскому языку, ко всем восточнославянским говорам.

На нем творят молитвы, на нем написаны «Изборник» 1076 года (единственный большой памятник, сохранившийся в подлиннике и явно составленный на Руси), «Слово о законе и благодати» русского по рождению опытного мастера церковного витийства митрополита Илариона, поставленного на Киевскую митрополию в середине XI века, проповеди Кирилла – епископа Туровского, жившего во второй половине XII века, Житие Феодосия Печерского, «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора (конец XI века), «Сказание о Борисе и Глебе» (начало XII века), в меньшей мере «Хождение игумена Даниила». Во всех этих произведениях царствуют неполногласие, нестяженный имперфект, формы типа *душевныя пища, небесныя силы, добрууму*. Однако нет избыточного словесного изобилия и многослойной напыщенности, украшательства позднейшей славянщины, которая разорвет две языковые стихии и утвердит двуязычие. Но тяготение к символической и усложненности, к иносказательности и риторичности лексики и синтаксиса налицо:

**Кымь путьмь идоша и коею стъзею текоша, буди понижен главою высок же умьмь, скорби о гресех въздыхай о съблазних, съветьники всему злу и начальники всей неправды, и не могый глаголати начат сицевая вещати: увы мне како заиде свете мой не суще ми ту!**

Немало тут и русских черт: написания *дълг, дързати* (наряду с *дльг, дръзати*), *свобожати, хождение, одежда*. Русские авторы – вспомним Демьяна-Дамиана! – не могут не перемежать возлюбленный книжный язык с родным, особенно когда обращаются к народным преданиям, русскому быту и природе, воинским делам. Весьма начитанный в славянских книгах, Владимир Мономах так излагает мирские наставления:

**В дому своем не ленитесь да не посмеются приходящий к вам ни дому вашему ни обеду вашему, ни питью ни еденью не лагодите ни спанью... Лже блюдися и пьянства и блуда, в том бо душа погы-баеть И тело. Особенно простой русский стиль у него, как ты уже слышала, когда он описывает *пути и ловы* – военные походы и выезды на охоту. **Наставши весне приде Володарь и взяста копьем град и зажгоста огнем и бегоша людье огня.** Но он резко меняет язык, переходя к высокому.**

Настя тут вспоминает, как трудно было, когда в школе «Слово о полку Игореве» проходили. Хотя и написано оно в конце XII века (нам известна копия со списка XV – XVI веков, найденная в 1795 году в Ярославле и сгоревшая в Москве в 1812 году), сколько в нем непонятного: **Братие и дружино! Луце ж бы потяту быти, неже полонену быти! А всядем, братие, на свои борзые комони да позрим синего Дону!.. Хошу бо, рече, копие приломити конец поля половецкого, с вами, русици, хошу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону.** Полк – не полк, а поход, не сразу догадаешься, что такое *потяту быти* или *борзые комони*! Хотя в силу содержания есть тут ясная русская предметная лексика, собственно русские *шелом, полонить* (ее тоже не раскусишь: *туга* – «печаль, тоска»; *клюка* – «хитрость»; *хоть* – «жена»; *смага* – «огонь»; *яруга* – «овраг»), основа тут книжнославянская: **струны князем славу рокотаху, стрелы летаху акы дождь, храбрии русичи полегоша за землю Русскую.**

– А какие все-таки книги были во времена Кузи? – интересуется Настя.

Она знает, что самые ранние из найденных пока московских памятников относятся к XIV веку.

– Да немало их было! – Гривна вдруг отпускает шуточку-правду: – Сама посуди, книги уже не только продают, но и... воруют. Значит, они уже товар широкого спроса, а не редкости, которые по пальцам пересчитать. С XI века на Руси много не только книг, но и частной переписки на бересте.

А еще Настя узнала вот что.

Древнейшие рукописи пришли из Киева или Новгорода. Как их понимали? Да очень просто: не было ведь ни великороссов, ни украинцев, ни белорусов. Были русичи, и язык у них был один. С диалектными особенностями, но один. А книжный, из-за границы взятый, вообще один. Лишь в XIII веке, с началом раздробленности, появляются отчасти разные рукописи – галицко-волынские, ростово-суздальские и иные областные.

Утвердившаяся на Руси окончательно с принятием христианства, письменность окружена ореолом божественности, расцветает под религиозно-этическим нимбом. Наряду с Евангелием, Псалтырью, молитвами, списанными с южнославянских богослужебных переводов с греческого, создаются жития, хождения, проповеди и русскими авторами. Популярны, например, «Хождение Богородицы по мукам», сочинения отцов церкви Иоанна Златоуста и Григория Богослова, сборники «Четьи-Минеи» («чтения ежемесячные»), «Патерики», «Прологи». Есть уже и светские сочинения: историческая «Хроника» Георгия Амартола, естественнонаучные «Шестоднев» и «Физиолог», повествовательная «История Иудейской войны» Иосифа Флавия. Сами переводили с греческого и переписывали южнославянские тексты не вполне механически. Первая датированная рукопись «Остромирово евангелие», скопированная в Новгороде дьяконом Григорием в 1056 – 1057 годах для посадника Остромира, и та имеет очевидно русские черты, невольно, видимо, внесенные писцом. Их, конечно, больше в светских, небогослужебных произведениях.

Империя Рюриковичей, как всякое могучее государство, стремясь познать себя и прославить в веках, записала свое прошлое в летописи – своеобразной истории человечества от сотворения мира и истории своей страны, доведенной до начала упадка – удельного раздробления. При Ярославе Мудром события были погодно записаны до 1037 года, когда свод был переработан черноризцем Киево-Печерской лавры Никоном. В 1110 году его переработал Нестор, в 1116 году вновь отредактировал Сильвестр по велению Владимира Мономаха, а затем его сын – новгородский князь Мстислав, мать которого была англичанкой, а жена шведкой, – с самовольным и пристрастным включением варяжской и новгородской концепции: **Старейший Рюрикъ седе Новгороде... Идоша за море к варягомъ: земля наша велика и обилна, а наряда в ней нетъ. Да пойдите княжить и володети нами.**

Начальный свод многожды переписывался и до нас дошел в составе наиболее древних сохранившихся летописей: Новгородской синодальной, писанной в XIII – XIV веках, Лаврентьевской, списанной монахом Лаврентием в 1377 году в суздальской земле с более раннего текста, и Ипатьевской, найденной в Ипатьевском монастыре близ Костромы и писанной в Пскове в начале XV века. Московский летописный лицевой свод на основе разных списков возник во второй половине XVI века. Он охватывает период от «сотворения мира» до 1567 года.

Труд Нестора «Се повѣсти времянныхъ лет, откуда есть пошла Руская земля, кто въ Киевѣ б нача первѣе княжити и откуда Руская земля стала есть» кроме кратких погодных записей дает церковные рассуждения (речь философа «Чьсо ради сниде Бог на землю» 986 года, сказание об основании Печерского монастыря 1051 года), исторические легенды (об основании Киева, его осаде печенегами в 968 году, о смерти Олега, смерти Игоря и мести Ольги, о Святославе, о женитьбе Владимира на Рогнеде, о поединке Матвея Кожемяки с печенегом, о Белгородском киселе), описания событий, современных летописцу (восстание в Киеве 1068 года, ослепление Василька в 1097 году, набег половцев на Печерский монастырь в 1096 году, удачный поход Святополка на половцев в 1107 году).

— Одним словом, – подытожила Гривна, – от религиозных проблем до бытовых присказок. От воинских деяний до дипломатических хитростей. Всяко лыко в строку! Труд летописца и философский, и историко-повествовательный, а местами художественный. Он готовит стиль таких шедевров, как «Моление Даниила Заточника», «Поучение Владимира Мономаха», наконец, «Слово о полку Игореве».

Гривна вздохнула, когда Настя спросила, что такое погодные записи: к погоде, ясное дело, отношения не имеют, это год за годом, значит, перевод греческого слова *анналы*. Потом она продолжила характеризовать рукописи:

— Летопись активно переписывали в разных уделах, и каждый считал себя наследником всех и вся. И все же в целом она ведется поразительно едино. Сходные, если не единые по замыслу и исполнению произведения возникают по всей обширной русской территории, часто из переписки лиц, живущих далеко друг от друга. Ты видела уже, что литература станет символом целостности Руси в горькие годы ига. Задающим тон образцом служит книжность Киева; в ее духе написаны «Моление Даниила Заточника» и другие рукописи XIII – XIV веков. Помнишь, даже приказной язык Москвы, как и других уделов, подражал ей во многом.

— Ну, у москвичей все-таки и своего было преизрядно! – сказала Настя. – Хотя, ясное дело, киевская книжность и до второго славянского влияния казалась языком первого сорта. Что посерьезней,

тому первый сорт, а что обычное, житейское, то и вторым обойдется. К тому же этот второй сорт общий, привычный, не для избранных, а для всех.

— Верно! – поддержала Гривна. – Отсюда и в речи твоих современников эта мода: о сложном только сложно! То, что ты первым сортом назвала, обычно что-то заморское, похитрее, позамысловатее. Вот и Кузя, малолетний твой предок, говорит *распри, тучи*, хотя знает, что звучнее сказать, как в церкви говорят, *распря, тучя*. Возвышенность чувствуется в *похвалим великая учителя, бывааху между ими*, хотя нормально говорят *великая* или даже *великого* (помнишь это московское новшество – произношение *великАВА?!), бываху*.

– Но все же не такая разница, как потом будет! Пока ощущают всё как один язык. Потом будет почти разный смысл в *город* и *град*, *нёбо* и *небо*, а пока это вроде как варианты одного слова...

Гривна довольна знаниями своей подопечной: да, *град* – это где огороженный детинец, где построены церкви, а *город* – просто укрепленный пункт, построенный еще язычниками. Но пока между такими словами различия похожи на современные Насте различия между, скажем, *картошка* и *картофель*, *лампочка* и *лампа*. Даже между *нёбо* и *небо*!

Вообще, за общность стали бороться потом, когда появилась угроза ее исчезновения. Ничего странного: за то, что есть, не борются, воюют за то, чего нет или что пропадает. Коли не по коню, то по оглобле! Вятичам, склонным к старине, глухие книжные словеса пока совсем не кажутся гугнивыми. Напротив, звучат как свои, но особо сурово, мудро. Вятичи воспринимают их как нить светоносной праведной идеи родства всех славян и верности предкам.

Как же Настя оценивает язык предков XII века? О чем речь, она понимает даже глубже, чем в общих чертах. Не без труда: будто по кочкам идешь – нет, нет да и провал, совсем темное слово или знакомое, но так произнесенное и такой смысл в него вложен, что не узнаешь. И синтаксис косолапый какой-то: *Што хочещи у нас? – Несть ли кого иже бы могл на ону страну дойти? – Аз преяду, рече един отрок. И реши: иди*. Забавна частица *ся*, которую ставят, отделяя от глагола, вроде куда попало. И как будто не замечают различия: *на другую сторону – другую страну*...

А все-таки особой разницы с речью XIV века нет. Явно тот же древнерусский язык. Тех же шей да погуще влей! Вот с языком старорусским различия очевидны. Пока же у восточных славян язык единый, а черты, которые вырастут в обособленные языки великороссов, украинцев и белорусов, осмысляются как расхождения внутри одного языка. Этот язык, может быть, еще монолитнее в XI веке, куда наши герои вот-вот отправятся. В отличие от XIV – XV веков – эпохи перелома – сейчас язык в состоянии относительного покоя. А вот предшествующие века вновь на рубеже перехода от одного языкового состояния к другому.

И вновь отправляясь в путь, Настя думает о бестрепетной, дерзкой воле вятичей. Просторы, бескрайность им порукой. Откуда у них эта центростремительность, сделавшая их хранителями общего начала? Затерянные в лесах, обойдут они процветающие земли. Но не зря ли? Внезапный этот поворот мысли взбудоражил нашу героиню. Вспомнился ей петербургский приятель прадеда-журналиста, восторженно призывавший к многоцветью языков. Вспомнился и Акакий, судивший-рядивший о прелестях удельной самостийности. В самом деле, так ли уж всегда хороша унификация? Да и вообще единство?

Гривна опешила: очень уж неожиданна эта мысль в устах правоверной москвички! Распался бы русский язык на какие-нибудь обособленные русско-владимирский, русско-орловский взаимонепонятные языки, была бы объединенная могучая держава? Растащили бы всё по отдельным квартирам, разметали, рассеяли... Это в лучшем случае, а то были бы русичи рабами у печенегов или половцев, еще у каких соседей!

Настя завелась и продолжала противоречить. Зато было бы-де максимум проявления индивидуального из одного корня. Еще больше самобытности было бы!

— Шустра больно рассуждать! – рассердилась Гривна. – С тобой говорить, *яко же бо во утлу кадь дуги!*

Утихомилив спорщицу заклятым словом *кадь*, Гривна перешла на спокойный тон:

— Не допустили, к счастью, москвичи такого.

Не допустили, и весь сказ! Унаследованная языковая система сохранилась, несмотря на все иноязычные влияния и разные исторические условия. Элементы угро-финские, балтийские, тюркские, монгольские не изменили, а лишь обогатили русский язык. Поглотился скандинавский элемент, значительный среди правящей элиты Новгорода и Киева.

Когда появится новая государственная явь – Россия, эти традиции только усилятся, хоть и будет она куда многонациональнее, чем Киевская Русь. События, в гуще которых перемешивается население



Северо-Востока, еще впереди, но вятичи уже растворяются в многосоставном сплаве, из которого отливаются великорусский народ. Теряя себя, они спасают народность. Чтобы был этот сплав, отдают лучшее от себя. Смекнули лукавые вятичи, что их вера в кровные узы, привычка к артельности, любовь и склонность к языку предков, как и многотерпеливое простодушие, добросердие, очень к месту перед кажущейся необратимой раздробленностью, охватившей огромную и слабонаселенную страну с бурно феодализирующимся хозяйством.

– Может быть, все это от колдовского очарования суровых и прекрасных мест Средней России? – спросила Настя, забыв про споры, увлекшись судьбой вятичей, к которым пробудилась в ней странная привязанность.

Проникновенная любовь к родным местам и заснеженным просторам манит к себе. Рождает раздумья о горечи утрат и тревогу за будущее. И все впитывается языком. В нем – духовный заряд времен и всепобеждающая молодость. В нем – сама жизнь: затейливая резьба оконных наличников в доме родителей мальчика Кузи. В нем – церкви с грачами рядом с домом на Великом посаде. В нем – Москва: бело-голубая морозной зимой, колко-льдистая весенними деньками, буйно-зеленая летом, златокипящая осенью.

Язык распахивает перед мысленным взором лесной край со светлыми озерами и Тихими, задумчивыми речками, распаханными полями, несуетливыми деревянно-каменными городами, спокойными немногоречивыми жителями.

Они – хозяева бесконечности, рождающей поющее хоровое начало.

Странное обаяние скрыто в дремучих лесах. Вековечные дубы, поросшие мхом по корням, неколебимо несут на ветвях ворохи снега через долгую зиму. Золотятся на закате могучие стволы заматерелых сосен. Веселые березовые перелески, перемежаясь тенистыми дубравами, оглашаются пением птиц, тают в сизой дымке далей. И рядом с величавыми плесами с их вечерними соловьиными зорями и стадами в туманное утро – человеческие натруженные руки. Руки, пахнущие молоком и спелой рожью, медом сенокосного зноя и отбеленным первыми заморозками холстом.

Успокоительные переходы природы от одного состояния к другому. Музыкально извивающиеся нескончаемые реки... Кто знает, не отсюда ли щедрая, как июльский ливень, поэзия русского языка? Неброская красота, сила, вечность русской природы. Не от нее ли неисчерпаемая сила вятичей, сделавшая их опорой русской народности и языка? Не отсюда ли русский характер – неутомимого работника, искусного умельца, негибачего борца, ласкового и верного друга? Неторопливо, как жизнь в лесах и полях сурового климата, как течение равнинных рек, примеривал он свою судьбу к миру. Приглядывался, учился – у Киева, у иностранцев. Но дольше других хранил племенной строй и родовой быт, ощущение родства и кровного единства, веря, что бережет общее, древнее и грядущее. Оттого-то и сомнения рождает у русских местничество с его логикой: кошка бросила котят, пусть живут как хотят!

Устав от возвышенных мыслей, Настя вспоминает девчонку, которую Кузя шлепнул в момент их с Гривной прибытия. Вот бы с той девочкой поговорить! Но Гривна напоминает, что они посещают лишь прямых предков, которые Гривной владели, получая ее по наследству.

– А как же малолетний Кузя?

– Он и есть мой владелец. Отец его погиб рано и завещал ему семейную реликвию. Пока меня для него хранит мать. А будущая его жена и твоя пра-...прабабка сейчас играет в куклы. Ну ладно уж, взгляни через забор, видишь – тряпичные, соломенные. Соломенные – стригушки по осени на жатве девочки сами скручивают. По тому, как выйдет, судят, хорошей ли хозяйкой девочка будет. Да, да, не смейся! На смотринах положено родственникам мужа рассматривать игрушки невесты, по ним судят о ее ловкости, терпении, аккуратности, изобретательности.

— А почему куклы без лиц? Вон у одной просто даже обрубок!

— Чтобы осторожными быть! В близкую-то злой дух не может вселиться, а то нарисуешь похоже на кого-то живого, и быть непременно беде.

— Чепуха какая!

— Это с высоты твоего неверия в потусторонние силы – чепуха. Во времена Кузи любой ребенок тебе скажет, что колдун может порчу навести и что, назови человека Волк, Волков, и волки его не тронут, примут за своего. Это не только у славян, но и у других народов: у немцев, например, тоже часто фамилия Вольф да и имя тоже. Обережение играло важную роль в жизни набожных людей и в развитии языка. В игрушках отражалось всё, они и для игры, и для учения. Вон детская прятка: девочки сызмальства учились мастерству. А вон птица из щепы – символ счастья, удачи.

Насте мысль приглянулась: Медведь, Медведев – и смело в лес иди, не боясь зверя! Так же Лев, Львов, Орел... Постой, а почему же предки Воробы?! Разузнать бы у Кузи, но **бе бо детеск, имени своего не свемы...** И некогда.

Щелкая счетчиком кадров, кинопроектор замедляет уже бег бесконечной ленты, чтобы представить узору путешественниц крошечную деревушку на Боровицком холме по-над Москвою-рекою. И вот своеобразный стоп-кадр видеоленты: поселение вятичей на пригорке по берегу звонкой речонки.

## ОТЗВУКИ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА У ВЯТИЧЕЙ

### Деревня на холме

Следуя за степенной крестьянкой, Настя попадает в женское общество, прикровенно готовящее Русалию – праздник поминовения усопших. Она было угадала в лице дородной причепурившейся хозяйки свои черты, но сразу увлеклась разговорами о серьгах, бусах, перстнях, браслетах. Их привозят в речной край из Киева, Чернигова и даже заграничных городов. Среди вятичиц много красавиц, любительниц украшений и богатой, изящной, живописной одежды.

В моде серебряные и бронзовые привески с семью лопастями, вплетающиеся в волосы на висках, и красно-белые ожерелья из сердолика и хрусталя. Это традиционное сочетание цветов и на льняных и шерстяных одеждах, в вышивках у воротников. Все завидуют стеклянному браслету киевского производства у одной гостьи. У многих женщин да и у мужчин на одежде нашиты бубенчики. Настю потряс головной убор, главная и самая сложная часть праздничного наряда: на плотном берестяном каркасе, обтянутом яркой шитой золотом материей, а по ней тесьма с бахромой и украшения. Среди них и христианские крестики: вятичи на культовый символ смотрят, видно, как просто на брелок.

А вот в селеньях к северу, по левому берегу Клязьмы, откуда приехала выданная туда замуж родственница, наряд и украшения другие, поскромнее. Нет бус, чередующих красный и

белый цвета, а височные привески похожи на кольца. Это – кривичи, и столица их Смоленск. Граница идет с запада на восток по течению Москвы до впадения в нее Истры, затем поворачивает к северо-западу и проходит по водоразделу Истры и Клязьмы. В районе Поваровки она, обогнув верховья Клязьмы, круто идет на юго-восток по водоразделу Клязьмы и Учи.

Который час? Который день? Который век? Вятичи далеки от великороссов, от единой России. Их край – малодоступный. Из Киева в двуречье Оки и Волги добираются по воде кружным путем по Днепру через Смоленск и верховья Волги. Зимой вятичи передвигаются по глубокому снегу на тесовых лыжах или плетеных снегоступах. Этому не умели другие славяне, не столь предприимчивые, оборотистые и терпеливо выносливые, как вятические лесные бортники и охотники.

— Помню, – не без странной какой-то гордости сказала Настя, – что Мономах едва отважился проехать *сквозе вятичи!* Пусть нет у них еще и заштатного княжества, а вольнолюбивые первобытные порядки царят!

— Не очень-то гордись, – вмешивается Гривна. – Вольнолюбивы, но и темные, дикие твои вятичи. Иноземный путешественник XI века писал, что недоступны они и по причине большой непреходящей грязи и множества мошек в малообитаемых окрестных лесах, топях и болотах. А киевского летописца возмущало бесстыдство вятичиц, особо колол монаха обычай употреблять румяна и белила – *абы юноша възжелал ея на похоть.*

— И сейчас такие проповедники не перевелись! – отрезала Настя, переходя в мужскую компанию.

Мужчины сидят отдельно, как бы подчеркивая разделение труда. Они еще не пустились в промысел, в городской образ жизни; больше по лесу бродят, правда, стали пахать и сеять. Но урожай убирают женщины (отчего будущие археологи найдут серпы только в женских курганах), они же заботятся о съестных припасах, прядут, ткнут, шьют одежды.

Вервь объединена не производственными, а соседскими сельско-земельными, даже семейными связями, но хозяйство ведет уже одна семья, имеющая рабочий скот и инструмент – лошадь и соху. Лошадей стали беречь для пашни, отчего перестали есть конину (и археологи в курганах не найдут конских костей). Земледелие уже не требует совместных сил многих людей, как во времена изнурительно трудоемкой обработки поля в лесной полосе с вырубкой деревьев, корчеванием пней,

сожжением кустарника и трав, взрыхлением почвы мотыгой. Род, ставший не нужным для производства, распадается: на корову, овец, свиней, кур хватает усилий одной семьи. Меньше стали заниматься коллективной охотой, рыболовством. Привязанность вятичей к старине больше в мыслях, языке.

Мужчины вот рассуждают о высоких материях: древняя-де общность позади. Морава, чехи, ляхи и иные собратья, родные даже поляне, дреговичи, кривичи, радимичи живут каждый по-своему, забыв наказ прародителей. Хорошо ли это? Есть соседи других языков: меря, мурома, черемисы, мордва – **си суть свой язык имуще**. Но зачем различаются люди, говорящие по-нашему? **Се бо токмо словенскъ язык в Руси!**

Затеял тему всезнающий бывалый человек Воробей-гудошник. Прозвище у него по гудке-дуде, но умеет и в сопели, в бубны, на старинных гусях даже разудалые мелодии выводит. Со скоморохами глумец-игрец увеселял мастеровых, строящих церкви, а то и самих князей. В Киеве бывал, в Новгороде, но, подработав, возвращался в лесной свой Москов.

Он повествует ходячую сказку, будто от Новгорода русское государство. Слух идет, **яко Кий есть перевозник был, у Киева бо бяше перевоз тогда с оной стороны Днепра**. Рассказчик сомневается: **Аще бо бы перевозник Кий, то не бы ходил Царю-городу, но се Кий княжаше в роде своемъ, приходивши) ему ко царю, якоже скажутъ яко велику честь приял от царя**. Старцам надо верить, что Кий, по имени кого зовется мать городам русским, с братьями Щеком и Хоривом, сестрою Лыбедью правил

Русью за триста лет до варягов: **Вълюби место и сруби градок мал. И створиша град во имя брата своего старейшего и нарекоша имя ему Киевъ**.

А Гудошник тем временем перескочил на другую расхожую легенду: **Бе един язык словенск. Сим бо первое предложены книги мораве, яже прозвася грамота словень-ская яже грамота есть в Руси и в болгарях дунайских. А словенский язык и рускыи одно есть, от варяг бо прозвашася Русью, а первое беша словени, аще и поляне звахуся но словенскаяа речь бе. Полями же прозвани быши зане в поли селяху, а язык словенски един**.

Слушатели хмурились. Их осторожный оптимизм, скрытая вера в себя, равнодушная молодая сила, помноженная на безоглядную суровую преданность праотцам, никак не давали понять, где истина: в самостоятельности, которой требовали, жаждали нерастраченность сил, что-то бесшабашное, отважно-разгульное в их натуре, или же в общности, защищать которую повелевали их неторопливость, сомнения в новшествах, в новом укладе, который складывался у соседей быстрее, чем у вятичей?

– Молодец Гудошник, – одобряет Настя предка, – что не верит в варяжскую версию происхождения Руси. Сами с усами! Но вот к чему все же сам он склоняется? Неужто не видит, что у вятичей верный путь на общую арену к средоточию власти? У них внутри стальной стержень воли и веры. Они не баловни судьбы, но она в их руках. Их амбиции не напоказ! Без высокомерных претензий, но с моральным правом на верховенство. Воротит добрый дух-покровитель вятичам!

Гривна не вступает в спор, хотя, видимо, хотела бы. Она заводит речь вновь о грамоте. Вятичи не прочь укрыться от новых веяний, от крещения, случившегося в Киеве в 988 году, как раз в год рождения Гудошника. Но языческие боги, обычаи предков тоже никого уже не устраивают. Но главное – как уйти от родных братьев, ставших крещеными? Да к тому же у них чудо грамоты, писанных книг! Вещий Олег недаром предсказал Киеву: **Се буди мати градомъ русьскимъ**.

Владимир в 981 году, еще не Креститель, не Святой, не Красное Солнышко, после войны с поляками вятичи **победи и възложи на нь дань**. Правда, вятичи тут же заратишася, т. е. восстали с оружием в руках на засечных границах, но Киеву от них нужна была не дань даже, а стратегическое открытие пути водного с Днепра на Волгу, вообще политический союз с родственными вятичами и радимичами. Это мирило вятичей с поражением, но вот христианство они долго воспринимали скептически. Еще в начале XII века они убьют киевского миссионера Кукшу – через более чем сто лет после своего крещения! Другого князя – Владимира Мономаха они заставят тоже потрудиться: **Въ вятичи ходихом по две зимы на Ходоту и на сына его...**

— Что это за Ходота? – нахмурилась Настя.

— Один из ранних московских бояр. Ты же знаешь про Степана Кучку, про печальную судьбу его, уготовленную Юрием Долгоруким.

— Ну ладно, христианство вятичи не очень жаловали, то есть не сразу приняли. А грамоту?

— Она шла с религией. Наслышаны вятичи, что деревянного с серебряной головой и золотыми устами Перуна сволокли в Киеве с холма, привязали к конскому хвосту, колотили железными, бросили в воду – **и бысть радость всюду!** Народ же загнали по грудь в Днепр крестить.

Своих идолов вятичи жалеючи припрятали, благо леса непроходимые кругом. Позволили себя крестить, чтобы и тут не отстать, не прозевать чего хорошего, той же книжной мудрости.

Особо прельщают их берестяные грамоты – способ рукописания, письменного завещания законного наследования: **Аще ли сотворить обряжение таковыи возьмет уряженое ему кому будет писал наследити имение его да и наследит е.** Если сделает завещание, тот возьмет имущество, кому написано, – со вкусом перевела Гривна. – Письмо обозначает владельца и охраняет собственность, договоры скрепляет, вековечит память на надгробиях.

Ведь что написано пером, того не вырубишь топором!

Письмо начали боготворить, еще не освоив его. Верили в потустороннюю его силу, сохраняющую для поколений опыт. Суть книги – увековечивание мысли. Записано, – значит, не пропало, не пропадет! Вот летопись есть, и знаем, кто мы, откуда.

Сладость учения *книжныа* – в религии, а также и в истории, в культуре, нравственности – особо (ценил сын Владимира Крестителя и его супруги Рогнеды – князь Ярослав, за то и прозванный Мудрым. Он просвещал свой народ.

Кровную месть заменил выкупом. Породнился чуть ли не со всеми августейшими дворами Европы, поставив мировой рекорд по числу семейно-династических связей.

Сам Ярослав женат на дочери шведского короля Ингигерде, сестра Мария замужем за Казимиром, королем польским. И дочерей тоже выдал за иностранцев: Елизавету, «девушку с золотой гривною», – за короля Норвегии Харольда Сурового, Анну – за французского Генриха Первого, Анастасию – за Андрея венгерского.

Не забыл князь и о сыновьях. У Изяслава жена – Гертруда, сестра польского короля, у Святослава – Ода, сестра трирского епископа, у Вячеслава – дочь графа Штадского, у Игоря – дочь саксонского маркграфа. Сын Всеволод, как писал летописец, поял дочь византийского императора Константина Мономаха – греческую принцессу.

По словам русского Мономаха, **ЯКО же бо отец мой дома сидя изумяше 5 язык.** По этому поводу издатель «Поучения...» А. И. Мусин-Пушкин справедливо заметил: «Праотцы наши, хотя не ездили толпами в чужие края для мнимого просвещения, однако не можно заключать, чтобы они языков иностранных не знали, а тем паче чтобы на природном своем худо изъяснялись. Отец мой, пишет Владимир, дома сидя, умел говорить на пяти языках – довод сильный против тех, кои праотев наших почитают невеждами». А как блистательно сам Владимир Мономах изъяснялся на своем родном языке!

Воробы, как и иные вятичи, неграмотны, но навыки книжной устной речи из церкви кое-как получают. Знают, что поляне в Киеве **бяху мужи мудры и смыслени.** Но знают и то, что киевские монахи безо всякого почтения, презрительно и брезгливо мнят о них, хранящих остатки язычества: **Имяху бо обычаи свои и законъ отец своих и предания, кождо свой нрав... Радимичи, вятичи одинъ обычай имяху: живяху в лесе, яко же и всякий зверь, ядуще все нечисто... Игрища межю селы: схожахуся на игрища на плясанье и на вся бесовьска песни, и ту умыкаху жены себе. Умыки-ваху у воды девиця... А аще кто умряше, творяху тризну надъ ними и по семь тво-ряху кладу велику и възложяхуть и на кладу, мертвеца сожьжаху, а посемь собравше кости вложяху в судину малу и поставляху на столпе на путехъ, еже творять вятичи и ныне.**

Вятичам смешно: пусть с высоты христианского мировоззрения и гордыни столичного града они не лучше других язычников – *той погани братии*, как уничижительно именует их летописец. Пыща злостью, он не отличается знанием!

Описывая огненное погребение, показал, что слышал звон, да не знает, где он. Слышал, что могильники ставят *на путех*, и вообразил себе столпы, а они по рекам – главным дорогам вятичей! Сжегши тело на костре из громады дров и собрав останки в *судину* (урну-горшок), ставят ее вместе с вещами усопшего и подарками ему на столбики *клады* (ограды) и засыпают все землей, создавая *курган*. Поздний и более осведомленный переписчик летописи заметит оплошность и решится исправить текст: *и в курганы сыпаху* – нелогично, но верно по сути (это подтвердят раскопки Настиной поры).

*Могила* для вятичей, у которых гостит сейчас наша героиня, – гора, холм, насыпанные во время тризны. *Тризна* же не только пир, но и военные игры, состязания, откуда известная метафора: смерть в бою – это пир, пиршество. Также и *гроб* (от *грести, подгрести; гребля* – укрепленный ров и вал) – в нынешнем смысле слова говорили *короста, рака*, когда христианский обычай повелел иначе хоронить умерших.

**Творяще сами себе закон**, вятичи просто блюли древние обычаи, от которых крещеный Киев отказался. Под Московской, на месте нынешних Черемушек, еще в XII веке ели конину, хранили языческие обычаи. И ближе всех был им князь-воин Святослав Игоревич: **Воз по себе не возяше ни**

**котъла, ни мяс варя, но по тонку изрезав конину ли, зверину ли или говядину на углех испек ядыше.**

Они все еще жгут покойников, насыпают курганы, поклоняются волхвам. И перестав сжигать тела, москвичи хоронят их под холмиками, разжигая обрядовый костер – до XIV века, когда и простой народ стал пользоваться по образцу знати кладбищами при церквях, оставив, впрочем, обычай холмиков. И в Настины дни, проводив на тот свет, устраивают пиршество – пусть не тризну у могилы, а поминки дома, совмещая язычество и христианство.

Уходя от родо-племенных отношений в тяготах разложения первобытнообщинного строя, вятичи далеки от рабовладельчества, продажи пленников. Но не прониклись они пока и величием единой религии, перед ликом которой отступают народные веча и иные остатки родового строя. У них нет еще расслоения на земледельцев-феодалов и зависимых крестьян, нет и освящения классовых привилегий, как и аппарата власти с письменным законодательством. Однако чувствуют они пользу от сближения населения, от грамотности. В братстве, братолюбии видят не абстрактно-политический государственный смысл, а конкретный кровно-родственный, не знающий имущественного расслоения. Феодализация будет у них поздняя, хотя и бурная, безжалостная.

— Но ведь распри и усобицы им противны... – начала было Настя, однако, вспомнив историю боярина Кучки и Кучковичей, замолкла.

— Следя за общерусскими событиями, участвуя в оборонительных походах, торгуя, – подытожила Гривна, – вятичи обособлены, но отнюдь не смиренны, не апатичны. Пусть и патриархальны они, пусть по-прежнему чтут языческих богов! Ну и что? И эти боги служат лозунгом борьбы: весь XI век отважные восстания смердов возглавляли именно волхвы!

### «Любая глубинка есть центр мироздания...»

Уходя от излишнего внимания центра, стараясь поменьше платить в общий котел (да и общим ли он был?), закрываясь от общегосударственных дел своими заботами, безразлично приняв христианство и исподтишка поклоняясь Перуну, вятичи учатся, копят силы. Они отличают зерна от плевел.

Воробьев не проведешь на мякине: их интересует бытие мира, движение звезд и число их, мера земли и как бороться с мором скота... Оттого-то и интерес у них к книге, про которую ведомо, что есть она кладезь премудрости. Лишь праздное слово считают они непростительным пороком.

Гудошник как надо поездил, собирая знания. Старейшина не меньше побродил – в юности жил в Новгороде, научился у кожемяки по-настоящему *квасить усние*, т. е. дубить кожи, выделывать их, сушить, сшивать. Одним словом, не все время сидели вятичи невылазно по своим урочищам, *удолиям* (низинам) да *перевесищам* (местам ловли птиц). Любили с хазарскими купцами побазарить, когда те заходили в их края за воском и кожами в обмен на сказочные ткани, украшения и красивое оружие.

Вместо городов у них болота и леса, зато живут в народоправстве, не подчиняясь одному человеку, считая владыкой лишь творца молний, кому и приносят в жертву петухов и даже быков, в честь кого совершают издревле священные обряды.

Селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот, озер, ничем лишним не владеют. Зная отношение процветающей столицы, вятичи не печалются, себя не принижают, ждут своего звездного часа, храня неизрасходованный заряд жизненной энергии. Но спорят между собой об уготованной судьбе. Поистине, по слову поэта, «любая глубинка есть центр мироздания, когда к ней душою прирос».

Вот и сейчас Гудошник вещает: как в воду-де пращур глядел – вся Русь, как западные и южные славяне, попирает законы прародины. Он нацедил себе из корчаги, стоявшей на бочке (*великия кадъ* – знающе определила Настя), бражного меду. Выпив залпом, закусил мясцом с *латки* (глиняной сковородки), смачно помакал хлеб в жир, подгребая шкварки.

У Насти слюнки потекли: ну точно, как она с папой любит! Ее давно уже поражает сходство вкусов Воробьев – большее, чем похожесть внешности. С генами от вятичей, что ли, передалось? Она наслаждается приоткрывшимся бытом древних. У живущих в девственной натуре дебрей и вод вятичей та же еда: любят много хлеба – ковриги, караваи, разные кисели. Тут в почете пшеница, рожь, горох, ячмень, просо, из которого толкут пшено. Особое место блинам – символу язычески почитаемого солнца. Настя интересуется:

– А что такое *жито*? Думала, что пшеница, а где-то услышал про житную кашу из ячменя.

Что же это – одно и то же слово в разных местах понимается неодинаково?

— *Жито* того же корня, что *жизнь, житьё, жить*, — важно указала Гривна. — Обозначает главную — хлебную — еду, зерновой хлеб.

В отличие от *жира*, тоже связанного с *жизнью*, но обозначающего еду скоромную (животную — молоко, мясо). Сначала *жито* — любой хлеб: и на корню, и собранный, провеянный, в зернах. Всякое зерно называлось житом: *по соломе жита не узнаешь* (нужно взять зерно в ладонь)! Потом о жите стали говорить только как о пище. И ты права, в разных местах житом называли свою главную климатическую культуру: рожь или пшеницу, даже ячмень, а на юге — просо, кукурузу, гречу. Отсюда и *житница*: сначала ячменная солома, потом помещение, где хранят любое зерно. В твоё время газетчики стали так называть богатую плодородную область — *житница страны*. Гривна вошла во вкус:

— Похлебку вятчи называют ухой, даже если из мяса. Вообще они поесть любят — мясо, сыр, молоко, рыбу, *всякое овоцие*. Впрочем, овощей у них негусто: капуста, репа, лук, чеснок. Да и с фруктами тоже: зелёные кислые яблоки — вот и все их фрукты, которые тоже называют овощами.

Настя с папой тоже к фруктам безразличны, за что мама их обзывает некультурными. Зато, как и вятчи, они любят орехи, которых в лесном крае хоть отбавляй. Вишеньё, орешеньё, зелёный сад воспеваются в былинах, преданиях. Вишня — самое распространённое плодовое дерево, с которым у русского человека давняя и прочная дружба. Вишнею увлекался Юрий Долгорукий, разбивая сады по Нерли и Клязьме. От его сына Андрея Боголюбского идёт знаменитая Владимирская вишня: она выращена в ухоженных садах его владими́ро-суздальской земли. Как не порадеть любимому деревцу с вкусной ягодой, коль скоро не растёт в подмосковных местах ни банан, ни ананас!

Гудошник тем временем сообщает новости: волжские болгары Муром взяли, в наших землях хозяйничают. Сидим в медвежьем своём углу, ни отроков в воины отдать, ни виру платить не желаем. Разве сами справимся? Народ по всей Руси стонет — смерды, вирники, ремесленники, все, кроме разве гриди да купцов-гостей. Рюриковичи-князя, раздраемые раздорами, передрались в распрях за уделы и вотчины. Наособицу всё, показушно, кичливо...

Устав от этих *челядин, холоп, смерд, волхв, чадь, гридь, посадник, тиун, кметь, мытарь*, Настя беспокоится: как Гудошник не боится? За такие мысли одному тут недавно *оскоми́на бяша: нос срезаша и обе руке усекоша!* Время-то суровое!

Кто-то помоложе замечает: оттого, мол, всё, что чужеземцев развелось много. Сказывают, будто сами Рюриковичи *свейские*, из варягов. Истинным вятичам значимы лишь узы крови, родовые названия (*поляне*, а не территориально-политическое *киевляне, кривичи*, а не *смоляне*) и обидно, что их самих стали по Рязани кликать: *вятчи иже есть рязанцы*.

Боязливо посмотрев по сторонам, родственник постарше вставил, что-де православие очень уж старую веру не терпит, хоть и благолепно оно, истинно. *Русалиш*, как нас крестили, и то в тайне держать приходится. Покойников сжигать страшимся, но сжигаем. Наш поп не доложит: жизнью-животом дорожит.

По вескому мнению старца в домотканой рубахе с гривной на шее — точь-в-точь Настина Гривна, но только на видеозэкране! — и хорошо, что медвежий угол! Не в иноплеменниках дело — бывают они лучше сородичей. Пращур за такого не пожалел внучку отдать, теперь они наши сродственники. Печенег, хазары — на что разбойники, но и среди них друзья есть. Да и не в кресте дело: князя грызлись и когда язычниками были. Им бы лишь весу себе придать: ниспосланы, дескать, мы, заморские избранники, славянам порядок дать. И впрямь особое племя: роднятся с другими королями не по любви, а по расчёту. Им не важно, какого языка человек, лишь бы была птица высокого полёту. Разбойными князьями не брезгают. Но свой народ — не ровня!

Старейшина усмехнулся в длинный рукав: в Киеве, сказывают, и нам в родоначальники ляха (поляка) приписывают: «Бяста бо два брата в Лясах — Радим, а другой Вятко, и пришедъша седоста Радим на Съжю и прозвашася радимичи, а Вятко седе съ родомъ своим по Оце от него же прозвашася вятчи». Настя понимает лишь с помощью Гривны: *по Оце* — по Оке, *Ляси*, т. е. ляхи — поляки... Если бы написано было, больше бы поняла, а в устной речи даже знакомое слово звучит непохоже: звуки совсем другие, что ли? Разобраться надо. Но она слушает, так как разговор интересен и Гривна толковать помогает.

Кто-то из отроков осмелел, спрашивает: а откуда вятчи на самом деле? Ему объясняют, от слова *вятшие*, т. е. лучшие. Из всех славян самые хорошие. Кругом засмеялись. Ведь *вятшие люди* — это хранители общинных запасов жита, других продуктов. Они держат обилие — общие запасы для жертвенных обрядов, служащие и, так сказать, страховым фондом на случай голода или иной беды. Оттого уважаемы, но и насмешки заслуживают, потому как, помня божеств, не забывают себя. Они легко бросают волховство, сделавшее их имущими, и преданно служат христианству. Яркий пример

беспринципности, корысти в переходе из лона общинной собственности в раздираемую муками эпоху имущественного неравенства.

Старейшина обращается к Воробью-Гудошнику. Тот все жалеет: хоронимся от свар, ссылается на пращура – единство, мол. А что от него? Одинаково говорить, едино жить стоит, если хорошо вместе. Наш поп по-церковному говорит-читает куда как к дедовскому языку ближе: *вrabь*. Правда, говорили: *ворбь*. Но не звучнее, не лучше ли: *воробеи*!

— Предание об общем пращуре не утоляет вражду между потомками, – со вздохом резюмирует Гривна.

— А что это за пращур, кого все поминают? И что за *ворбь*, роднимый с *воробьем* и *вrabием*? Почему этот почитаемый прародитель звался *Ворбь*, а не *Вrabь*?

— Потом узнаешь, – грустно отмахнулась Гривна. – Вникай лучше в сомнения, в которых рождалась великорусская идея единства и собирательства. Имперская, по сути дела, идея. Но без нее, может быть, и Россия не стала бы Россией...

Не согласны пока с Гудошником родичи, хотя он Насте куда ближе. Рассуждает так, как ей понятно: по одиночке-де ничего путного не сделать. Хлев построить – собираем общину. Вместе, в Киеве ли, еще где, возвели чертоги, палаты. Сам видел строение банное всё из камня! Рынки, купцы, книги...

Настя добавляет про себя: а опасность вражеского набега! Без единства и получится иноземное иго, рабство для всех суверенных удельных княжеств! Не будет великой державы... Она вслушивается сквозь Гривнин перевод в странно звучащую речь предков: **земля отец и дедь своих иже налезоса трудом своимь великымь** (которую добыли). Раздражают эти самостийные наивные мнения: проживем, мол, без каменных бань, без телег колесных, ладей и *насадов* (больших судов с поднятыми надстроенными бортами, модерными по сравнению с долблеными из колоды *стругами* вятичей), без железных хитростей. Нужно Что, сами сделаем, да и прикупить можем. Объединение – один убыток, дым в очи. Вся история об этом говорит.

Вещий Олег первым нагрязнул объединяться и дани *с мужа* больше взял, чем хазары *с дыма* брали, отроков в Царьград увел, мало кто вернулся. А стелил мягко: вам, дескать, *устави дань*, а не *възложи*, будто не завоеватель, а старший брат-хозяин, и мы не побежденные, а подданные. Только безысходное постоянство повинности не по вольным вятичам, лишь с виду покорным. Мечом и стрелами *затворишася* предки от киевлян и дань платили, лишь когда деться некуда. Смотрели из берлог своих, как вымогателя Игоря древляне к двум деревьям привязали и разорвали; жалели, когда мстительная Ольга их *переклюкала*. Тоже *полюдие* тяжкое законом сделать чаяла, ловчее мужа была – раньше всех веру христианскую обрела. Только как ни *полнился* Киев, вятичи *ускочили*.

Осенью, собирая урожай, не исхитришься от дружины укрыться: даем ей прокормление и то, что не успели схоронить. *Годичного копления* у нас нет, не терпим и посадников даже после того, как беспутный и распутный Владимир до крещения завоевал наш край, *всю страну въсточная и до Мурома*. Присоединил, обложил данью *с каждого плуга*, как отец его, но не стали вятичи платить, как и отцу не платили. Вторично победил вятичей Владимир, пролив немало крови. Князья нам не *братие* – *татие* они!

— А Святослав? – вскипел Гудошник. – Платили ему *уставы и уроки дани, ротное, мостовое и железное полюдие*, отроков в дружину давали. Охотно! Потому что он победоносно с хазарами воевал за правое дело, за сильную страну, на которую никто не смеет покушаться. Горячий, кипучий, преданный языческим богам, воин-аскет близок сердцу. Чего стоит его благородный обычай честно посылать перед нападением гонца со словами **хочю на вы ити, аз иду по нь!** Оплакивали его вместе со всеми, когда печенеги сделали из его черепа чашу. Настоящий русич, брат по крови! Старший брат, кого слушаться!

Гудошник рассказывал со вкусом, по слушателям видно было, что воитель-князь дорог их памяти: **Святослав рече воем своим: уже нам сде пасти, потягнем мужьски, братие и дружино! И к вечеру одоле Святослав и взя град копьем... Уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу, да не посраим земле Руские, но ляжем костьми, мертви бо сраму не имам. Аще ли побегнем, срам имам. Не имам убежати, но станем крепки, аз же пред вами пойду, аще моя глава ляжет, то промыслите собою.**

Настя отмечает:

— Неграмотный, а как по-писаному шпарит! Распространялась во времена первого славянского влияния устная книжность. Цитировали назубок и молитвы, и понравившиеся княжеские речи, и

киевские законы. А вообще-то интересно, это он по-русски рассказывает или по-украински? Ведь Святослав по-киевски говорил, а вятичи вот понимают...

— Ну и вопросы ты задаешь! – взвилась Гривна. – Мы же с тобой в эпохе, когда нет ни русских, ни украинцев. Есть русичи и их язык, пусть и с диалектами, но общий. В том и штука, что этот текст сегодня – образец и древневели-корусского, и древнеукраинского, и древнебело-русского языков!

Мысль смущенной Насти с языка переходит на то, что кровные узы большинству вятичей ближе, чем единство для хозяйственного прогресса и военной безопасности. А Гудошник – молоток, печется о государственном интересе. Молодой схвастает, что и старый не схрястает. Ясное дело: пока есть хлеб да вода, всё не беда! А кстати, кто мой прямой родственник – милый, умный Гудошник?

— Ты не наблюдательна, – проворчала Гривна. – У кого я на шее? У старейшины! И не стыдись его. Привязанный к узкому миру, он не дорос до централизации и в ней не нуждается. И вообще, как ты видела, желание быть частью могучего целого пробудится опасностью покорения. Пока стремление к единению слабо – из-за общей неразвитости да и из-за географии. К иноплеменникам обращаются разве только для военной защиты от набегов (пока враги Руси не имеют цели ее завоевать, но лишь пограбить!) да реже для перенятая полезных новшеств в натуральном хозяйстве, в ремеслах, обработке железа, в грамоте.

Но сильнее настороженность: как бы не потерять вольницу. Оттого и отсиживаются вятичи, в драку не лезут. Воюют, когда донимают, жестоко и умело – не ради славы, ради жизни. Скоропалительные решения не для них, привязанных к своей лесной стороне жизнью и судьбой. Где родился, там и пригодился. В разудалых плясках проявляются безудержность, широта и смелость их натуры, а так не в обычае легковесно выказывать чувства, сомнения, нравы, желания. Суровость и недоверчивость сочетаются с добродушием, добротой. Природная жизнь учит беречь уклад, давние привычки и предания, прятать от сглазу язык, хранить его в святости и неприкосновенности.

– Засиделись сложа руки в длинных рукавах! – горячится Гудошник, обвиняя сродственников в боязни новизны, перемен, в нежелании выйти на простор Руси из своего медвежьего угла. Жизнь – подвиг, служение, долг. Семейное послушание необходимо, но мало его. Будем суровы к себе, беспощадны к тем, кто мелочится, печется о своем счастьеце.

Ему возражали: красно говоришь, не заплачь потом! Нагляделся, странствуя. На голове густо, да в голове пусто! Прашур о всех радел и род свой не забывал. Тебе, вишь, великая Русь важнее рода стала!..

Опять этот старик с гривной на шее высказывается, замечает Настя. Но спросить вновь о нем недосуг. Собрание расходится, а к недовольному старейшине подходит малец: почему Гудошник против всех? Щелкнул по лбу его старец: нишкни, отроче, не твоего ума старших судить. Неприятно, но верно говорит: от жизни не спрячешься. От князька, обходящего полюдьё, можно, от вековой жизни – нет. Нельзя отчизну по миру кусочками пустить, и вятичи – не отрезанный ломоть. Может, нам и объединить земли русские написано на роду? Или Киев одумается? Не на нашем веку только это будет!..

Гудошник, накинув на плеча *корзно* – теплый широкий плащ, долго стоял на берегу Москвы, пытаясь понять, почему люди не видят того, что до звонкости ясно ему. Если бы буквы выучить, грамотным стать и по книгам все объяснить! Ладно, скажу-ка родичам на ночь песнь-былину про богатырей, коим, пока они вместе, никто и ничто не страшны!

## Покоренное пространство

Настя запуталась в симпатиях и антипатиях. Гудошник, сначала заинтересовавшийся, отошел на задний план, когда узнала, что ее прямой родственник – старейшина. А в целом все разонравились: спорят, наводят тень на ясный день! И, может, поэтому стала раздражать их речь. Ударения какие-то странные и особенно эти... призрачные звуки, которые, как Настя уже знает, на письме обозначались буквами **ъ** и **ь**. Но эти буквы вовсе не теперешние мягкий и твердый знаки, они обозначали неясные глухие краткие гласные звуки. Ученые назовут их впоследствии редуцированными.

Позже, в древнерусском языке, эти звуки частично исчезнут, частично превратятся в полные звонкие ясные гласные. *Сънь* превратится в *сонъ*, а затем и просто в *сон*, *дънь* – в *день*... Современному русскому трудно ощутить разницу между гласными звуками в конце глаголов (*хочеть*) *говорити* и (*отрокъ*) *говорить*, а для людей X – XI веков она была не меньше, чем сейчас между *говорити* и *говорит*. И совсем непредставимо теперь, что глухой гласный мог стоять под ударением: правда, самое



ударение было не совсем таким. *Ольга* – и женское имя, и форма от мужского *Олегов*: до княжения *Ольгова, выгребоша князь Ольга* (т. е. выкопали кости Олега для перезахоронения). Призрачные звуки-призывки и иное ударение меняют облик слова и всей речи: *бысть монастырь славнь* – вроде *славИн, славЭн, славн* – только твёрдо, как в нынешнем *славный*. Финны слышали тут *у*, и слово *лъжька* (*ложка*) заимствовали как *lusikka*. Насте все это кажется смешным, шепелявым, нерусским.

— А предкам твоим показался бы нерусским, неприятным твой московский выговор с резким ударением, рубящий слова ударными гласными, – заметила Гривна. – Разве не более певучая у предков речь? У них слово обязательно на гласный призывок кончается, нет труднопроизносимых стечений согласных. Мягко, распевно говорят!

И она объяснила, что праславяне имели совсем иное строение слога – по нарастающей звучности, с соблюдением слогового сингармонизма. Судьба глухих гласных, обеспечивавших такую фонетику, была разной у разных потомков, но все они – и это единственно общее! – пережили так называемое падение редуцированных. Из *дънь*, например, у русских получилось *день*, у поляков *dziен*, у сербов *дан...* Тут одна из причин, почему и как праязык распался и обособились отдельные языки.

Общие корни приобрели несхожий вид. С утратой глухих окрепло противопоставление мягких и твердых согласных, что стало важнейшей чертой русской фонетики. *Дань* и *дань*, *кладь* и *кладь* различались разными звуками в исходе слова, теперь же они различаются исключительно качеством конечного согласного, а буква *ь* стала знаком, сигнализирующим, что согласный мягкий.

Вятичи не умеют произносить закрытые слоги да и не хотят учиться. Они не оглушают звонкие в конце слова, что и понятно, ибо они не попадают в исход, а стоят перед пусть призрачным, но гласным: *кладь* (Настя же произносит *клат*, хотя перед гласным звук *д* не оглушается: *нет клаДа*). Не утрачивает у них звонкости и сонорный в форме *несль* (Настя говорит *нес*, хотя перед гласным сохраняет *л*: *несла, несли*). Таких отличий очень много, отчего праславянская речь непонятна москвичке конца XX века и считается иным языком.

— А почему все же именно так, а не по-другому получается? И почему вдруг что-то меняется? Те же гласные глухие исчезают?

— Кто знает, – задумчиво произнесла Гривна. – Лингвистов бы спросить, но и они точно не скажут. Почему деревья растут так, как они растут? Потому, наверное, что так положено...

Характер языка, его «внешность» и «внутренность», как сказала Гривна, зависят от той действительности, в которой он существует, от жизни и судьбы тех людей, для которых функционирует. Русский, великорусский язык, несомненно, отражает в себе природу, климат, географию мест, где поселились вятичи, давшие ему начало. Природу в те времена ощущали острее, ближе, чем через тысячелетие, когда людей окружила техника, отодвинувшая *натуру*, породившая экологические проблемы. Но и потом язык менялся, отражая жизнь народа, его новые условия обитания, новые идеалы и интересы.

Важно только понимать, что нет тут прямых зависимостей: суровые зимы совсем необязательно ведут к появлению мягких и твердых согласных или необъятные пространства порождают аканье. Искать подобные причины и их, следствия скорее всего бессмысленно. Но в то же время очевидно, что характер языка и его изменений с этим всем связан, этим всем продиктован, хотя и случайностей тут немало. Вообще одно и то же явление может разрешиться по-разному, дать разные отражения даже в одних и тех же условиях. Один и тот же климат, например, может усилить певучесть языка и, напротив, ее ослабить.

Интересно, что темп, скорость речи исторически то увеличиваются, то уменьшаются (неизвестно, по каким причинам!). Это, как правило, ведет к изменениям в произношении, которые остаются и тогда, когда наступает новая перемена темпа говорения. Не исключено, что и судьба глухих гласных, принципы строения слога при переходе из праславянского состояния в древнерусское обуславливались (или, точнее, сами обуславливали этот переход) скоростью речи, которая сама зависела от менявшихся особенностей жизни.

— Думаю, что тут и прямая зависимость есть, – безапелляционно заявила Настя, которой вдруг вновь понравилась малопонятная, журчащая гласными, неразборчивая из-за их обилия речь предков. – О чем разговор! Редкостный по красоте край, одаренный природой от щедрот ее. Манера говорить, звуки речи, мягкие-твердые – все от русских просторов. От пространства, которое россияне покоряли и покорили!

Гривна внимала со скепсисом. Но пространства есть, конечно, пространства, и таких, как в России, нет нигде. Прямо-таки космические пространства. Может, в самом деле, делали они русскую речь и косолапой какой-то, но и удивительно благозвучной? Хоровое начало, пронизывающее русские

песни, фольклор, самый дух русский, создало своеобразную красоту звучания языка. Красота эта, восхищающая многих иностранцев, есть инстинктивно воспринимаемая целесообразность строения, приспособленность к определенному назначению. Чем разнообразнее назначение (а в хоре это назначение безгранично), тем объективно красивее форма. Красота – все более тонкое приспособление к окружающим условиям и требованиям жизни. Может, и правда, соль в просторах? ^

Во времена Насти крупнейший ученый Д. С. Лихачев увидит главное зерно древнерусской культуры в покорении пространства. Протяжные песни – для больших расстояний, и они связаны с трудовыми ритмами, временами года, известным однообразием и задушевностью мягких красок природы на огромной равнине. Протяженность во всем – в нравственной всечеловечности, непреклонной воле к труду и свободе, в народном чувствовании мира, в общежительности с другими народами, в бесшабашности и задумчивости, в приволье поселений и раздолье пашен, а следовательно, в литературе, в музыке, живописи и, конечно же, в языке.

– Язык выражает народное сознание, – повторяла понравившуюся мысль Настя. – В нем общая сущность, общее ощущение мира. Те же хор и протяженность. Покорение пространства для вятичей – это вера в свое предназначение. Вера смешная и величественная одновременно. Детски простодушны и жадно работающи предки, и язык у них прост и хитр. Он меняется, но благозвучие остается. И у вятичей хорош, и у нас...

Гривна посмеивается: ишь как – в своем-то языке и то, и другое хорошо! А вообще-то правильно. Все языки по-своему благозвучны. И есть объективная музыкальность, напевность, физическая выразительность звуков. Благое звучание – это соответствие удобству произнесения и восприятия. Оно относительно, зависит от условий (одно дело – в комнате разговаривать, другое – в лесу друг другу кричать, третье – по телефону болтать) и от соответствия звучания смыслу. Одинакового соответствия физиологии дыхания можно достичь разными путями, отчего в разных языках разный ритм да и сами звуки. И нельзя сказать, что этот язык благозвучнее, музыкальнее того!

– Ну, ясное дело, французский музыкальнее других, – возражает Настя. – Все русские так думают. А вот мысль, что звучание зависит от природных условий, мне нравится. Для тихого леса один язык нужен, а для гор с шумными ручьями – другой...

Как бы там ни было, закрытые слоги, т. е. оканчивающиеся на согласный, появились у восточных славян в X веке, а вятичи не допускали их и до XII века. В написаниях же в силу верности обычаям предков они ретроградны и позже, рисуя *кѣто*, и тогда, когда гласные призвуки-призраки совсем забыли и освоились с закрытыми слогами. Упрямы они, дольше всех не осваивают новшества.

Правда, революция в системе гласных привела к всеохватной их редукции. В XIII – XIV веках москвичи начнут говорить *боюсь* вместо *боюся*, *женой* вместо *женою*, *мать* вместо *мати*. Они отбросят окончание в повелительном наклонении глаголов: *будь*, *будьте*, *сядь*, *брось* (старые формы *веди*, *неси*, *проси*), сократят и инфинитив: *печь*, *дать*, *делать* (старые формы *нести*, *везти*, *плести*). Примеров перестройки фонетики много.

Поясняя, почему так трудно стало Насте понимать речь предков, Гривна перечисляет многочисленные морфологические черты их языка, не свойственные речениям последующих веков. Вроде как лектор в университете, но теперь Насте всё куда понятней.

Склонение определяется не грамматическим родом, а звуковым видом основы. Существительные распределены по типам склонения в зависимости от того, кончается ли основа на о (*волос*, *человек*), на у (*сын*, *чин*), на и (*день*, *муж*) и т. д. И потом, когда импульсом группировки станет род, новая система будет давать сбои, отражающие систему ушедшую. Вспомним родительный падеж: *волос*, *человек*, *сынов*, *чинов*, *дней*, *мужей*. Вспомним и колебания, отраженные в известном шутовском вопросе: как правильно – *у рыб нет зуб*, *у рыбов нет зубов*, *у рыбей нет зубей*? Да кто из нас не сомневался, как надо сказать – *сапог* или *сапогов*!

Определяясь родом, склонение пойдет по аналогии: мужской и средний род, женский род на а и на и. Возникнут и другие аналогии: под влиянием форм двойственного числа (*берега*, *глаза*, *бока*, *рога*) именительный падеж множественного узнает окончание а (и тоже возникнут колебания типа *города* – *города*, *годы* – *года* вплоть до новейших *тракторы* – *трактора*, *цехи* – *цеха*; за некоторыми формами закрепится разное значение: *цветы* – *цвета*, *учители* – *учителя*).

Краткие прилагательные служат определениями. Это потом они перестанут склоняться, оставив свои падежные формы как бы на память потомкам в наречиях *издавна*, *мало-помалу* и в выражениях *средь бела дня*, *на босу ногу*, *добра молодца*. Сильно изменятся притяжательные прилагательные: *отчий*, *отцов* заменятся формой *отцовский* или словосочетанием с родительным падежом *отца*. Издревле, однако, застыли обороты *батюшкин сын*, *Иванов день*.

Настя знающе вставляет:

– От них и фамилии – Ломоносов, Пушкин. И ясное дело, Воробьев или Воробьин.

Нет пока и намёка на наиболее заметное событие в категории числа – утрату двойственного. Звучат истинные, а не подражательные, как в XV веке, формы *дѣва стола, плода, дѣве сестрѣ, дѣвѣ селѣ*, отличные от множественного *плоди, столи, сестры, села*. Когда слышат *руцѣ* в отличие от *руки*, все понимают, что имеется в виду две руки, обе. Потом об этих формах будет напоминать форма на *а*, слившаяся с родительным падежом, после числительных *два, три, четыре*. Но на самом деле это не родительный падеж, об этом свидетельствуют иногда разные ударения: *два часá, в два рядá* реликты двойственного, *и часа не прошло, вышел из ря́да* – родительный падеж единственного числа.

– А почему утратилось двойственное число? – спросила Настя и сразу решила пошутить: – Леня было запоминать лишние формы!

Но Гривна отнеслась к этому предположению всерьёз. Пружиной языковых изменений, подтвердила она, часто бывает стремление экономить усилия, энергию, время. Конечно, когда самое явление теряет новизну или актуальность для развивающегося мышления. Так, Настины современники из *кинематографа, радиоприемника, метрополитена, видеоманитофона, машины неотложной помощи, продленного дня* делают *кино, радио, метро, видик, неотложку, продленку*. Их непосредственные предшественники сделали *открытку, электричку, читалку, газировку* из *открытого письма, электропоезда, читального зала, газированной воды*.

Тенденция к экономии не является, конечно, универсальным законом развития языка, тем более единственным. Не менее сильны и противоположные стремления, ведущие к избыточности. Можно и по-другому сказать: краткое выражение не всегда самое экономное! Хотя обычно более простые формы из нескольких равноценных предпочитают. Так и древние русичи отказались от глухих гласных, сделали из двусложного *дымь* односложное *дым*. Впрочем, фонетическое изменение или утрата грамматической категории происходит, так сказать, навечно, а приведенные примеры кратких вариантов сосуществуют по большей части с длинными, их породившими.

— Пожалуй, никто сейчас и не знает, что *открытка* – из *открытого письма*, – заметила Настя. – Да и *кинематограф* разве в старых газетах отыщешь. Может быть, оба варианта сохраняются, когда есть между ними какая-то разница, например стилистическая? В официальной обстановке скажешь *Третьяковская галерея*, а между собой – *Третьяковка*. Так говорят *Настя*, а в каких-то условиях удобнее сказать *Анастасия*.

— Молодец! – похвалила Гривна ученицу. – В каждом из нас две половинки. Одна рвется к новому, другая бережет прежнее и рада вернуться к нему, законсервировать его. Но никогда возвращение не достигает цели. Вот вятичи: цепко держатся за старую речь, но новое побеждает, и их язык меняется.

Долгие века, узнала от Гривны Настя, русичи употребляли в качестве синонимов *плече* и *рамо* (из праязыка непосредственно или из книг), предпочитая то одно, то другое, различали их стилистически, но в конце концов второе слово забылось. Как иностранные воспринимаются в конце XX века слова *персь, длань, грясти, десный* и *шуйй*, даже если известно их значение: *грудь, рука, идти, правый* и *левый*.

Разные славяне взяли из общего праязыка разное наследие, отобрали «свои» слова (*бор, баран, брюхо, ремесло* есть у западных славян, но неизвестны южным; *каравай, пир, птица, смотреть* – наоборот; кроме русичей, слово *зеркало* употребляют только словаки, а *ждать* – кашубы). Нередко древнее слово сохраняется, но в измененном значении. Ученый поп скажет *целовати* в смысле «приветствовать», а то, что им Настины предки стали называть с XV – XVI веков, обозначает словом *лобзати*. *Буй* для него как книжника – «безумный, глупый», а не «храбрый», как для простых русичей. *Село* – «поле», а не «деревня», *семя* – «зерно», а в церкви так называют ягоду, особенно неведомого вятичам винограда. Так же и садом зовут не участок земли, засаженный деревьями и кустарником, а посаженное плодовое дерево (у словенцев *сад* и сейчас значит «плод»). *Гордый* кроме общего смысла еще и «страшный, ужасный»: *гордое чудо, гордый шум*.

Употребить *сѣно* в значении «трава» необычно и торжественно, ибо у русичей это только высушенная трава. Южное влияние эпохи крещения придало многим словам блеск и весомость: *тиво* – «питье вообще», а не «хмельной напиток»; *воня* – «запах, аромат» (вспомним *благовоние*), а не «дурной запах»; *молва* – «шум, смятение», а не «речь»: *бысть вопль и молва велия* (у болгар и сейчас *мльва* – «ссора, сплетня»).

Нередко отдельное развитие меняло древнее значение, стилистическую окраску, употребительность слова. Так, у русичей, обычно придерживавшихся древнего смысла слов, *пасекой*

(исходное значение «участок леса, предназначенного на сруб» проясняет и связь с глаголами *сечь*, *высекать*; у чехов *raseka* и сейчас – «просека, вырубка»; да и русские *просек*, *просека* хранят древнее значение) стали называть пчельник (первоначально, конечно, на вырубке в лесу). *Год* – «пора, любой отрезок времени», а по-русски – «12 месяцев». *Неделя* (*от не делать*, т. е. «не работать») – «свободный от дел день»; в книжности слово синонимизировалось с *воскресеньем* (так сейчас у украинцев и многих других славян), но русичи предпочли называть им промежуток между двумя свободными днями, т. е. *седмицу*, и до сих пор нелогично обещают «встретимся на неделе». В современном Насти русском языке живо лишь значение семи дней, в польском только старое (*niedziele*), а в чешском – оба (*nedele* – и «воскресенье», «семидневка»).

— А я знаю: *живот* у русичей – «часть тела», а также «имущество, пожитки». В книжном языке и у многих современных славян это «жизнь». – Настя вновь блеснула знанием и догадкой.

Она вспомнила фотографию электростанции в Болгарии, на ней под черепом с костями надпись, над которой потешались всем классом: «Не пипай – опасно на живот».

Бедные славяне! Или счастливые? Разве плох этот удивительный разгул самобытности на одной основе? Он нарушил взаимопонимание, зато сколь многоцветны разнообразие, изобретательность! Та же милая Гривна – та, что на шее, *на загривке* носят, по-праславянски «ожерелье, шейный обруч», а для русичей – «слиток серебра, денежная и весовая единица», отчего *гривенник*, *двугривенный*. Это Воробьевы хранили истинную гривну и передавали истинный смысл древнейшего слова!

Отвечая на дежурный вопрос, Настя говорит уверенно, что понять вятичей не легче, чем нынешних инославян, особенно когда быстро говорят. Так, отдельные слова разбираешь. Иногда в неясном в целом потоке речи встречаешь понятные отрезки. Грамматика меньше мешает, чем произношение, делающее и известное чужим. Вообще слишком много уже нового, т. е. старого (ведь двигаемся во времени как бы против часовой стрелки). На следующей остановке праславянская речь покажется, ясное дело, уже и на древнерусский язык непохожей.

— Да нет, пожалуй, – изрекла Гривна. – Мы опять в периоде замедленного развития, когда очевидных скачков нет. Медлительные у тебя предки, тяжелые на подъем. Приверженцы старины, они дольше засели, прочнее в праславянском состоянии. Да и книжности, воцарившейся

в Киеве, у них пока нет. Лишь носовые, которых сейчас ты почти не услышишь, когда мы перенесемся еще на сто лет назад.

— Это те странные звуки, которые пытались возродить во втором югославянском влиянии? Как их называют? Да: *юс большой* и *юс малый*? И от них, кажется, носовые в современном польском языке?

— В общем, да. Звуки эти исчезли у русичей уже в IX веке, но вятичи, пусть не последовательно, хранили их. Себя, по крайней мере, называли *вентичи* (с носовым звуком: если написать – **ВАТИЧИ**), открывая исконную древность от венгов. Уверены вятичи, что они самого перво-славянского рода из всех русичей – от *венто*, *венедов*, живших на Средней и Нижней Висле.

— Что, на самом деле так? – радостно насторожилась Настя.

— Не знаю... Но это их почтение к неприкосновенности древних обычаев и языка... нет, не знаю и врать не буду! Знаю, что ни при чем тут *лях Вятко*. Это уж точно ошибка летописца, повторившего чей-то вымысел. Хуже еще, чем норманнская теория...

Грандиозный поток славянских племен хлынул в пределы Византии, в Восточную Европу, на Балканы. Сколько пройдено, запечатлено их языком – мороз по коже продирает! Язык в доисторическую, т. е. дописьменную, эпоху менялся не так, как литературный язык эпохи письма и звукозаписи. Он был менее устойчив, легко смешивался с другими, непосредственнее отражал окружающий мир. В 882 году, как свидетельствуют летописи, на Русской равнине впервые объединились вокруг Киева поляне, кривичи, а также чудь, меря, весь – всех не перечислить! Вятичи обнаружили себя позднее. Где они были – Бог весть...

Настя живым горячим прикосновением, кожей ощутила величие и древность русской государственности. Неужели суждено этой государственности вновь замениться раздробленностью? Неужели с таким трудом освоенное пространство будет расчленено на обособленные клочочки и русский язык перестанет на нем, как выражался М. В. Ломоносов, господствовать безраздельно?!

## НАЧАЛО НАЧАЛ

### Посреди дремучих лесов

Еще сто лет как корова языком слизнула. Настя в мире, который моложе ее на тысячу с лишним лет, на глухоманном берегу реки Москвы. Предки ведать не ведают, что на месте их жалких затерянных в дебрях лачуг суждено возникнуть великому городу мира. Что много позже, как писал В. Брюсов,

*Град, что строил Долгорукий  
Посреди глухих лесов,  
Вознесли любовно внуки  
Выше прочих городов.*

Как представить себе в непроходимых сумеречных болотах-урочищах с диким зверьем будущие улицы, проспекты и площади? Пока же изначальные предки москвичей не в гуще жизни, но уже явились – бодрые, сильные, сметливые, хваткие к делу. Стержень восточнославянской цивилизации – путь из варяг в греки пролег в стороне от их земли, от моря Варяжского (Балтийского) через озеро Невое (Ладожское), реки Ловать и Днепр к Дунаю, к Варне, к морю Русь-кому (Черному), а там и Царьград (Константинополь), великий кесарь Римской империи, пределы коего русичи посещают с 852 года (не всегда с мирными целями). По географическим представлениям русичей, Варяжское море огибает Европу с севера и на востоке доходит до Персии, Индии, Сирии, отчего этот путь и представляется центром мира.

— Ничего себе знатоки географии! – высокомерно бросает Настя.

— Умные какие стали через тыщу лет, – парирует Гривна.

Не у вятичей сооружаются лады, переваливаются грузы на *волоках, волочениях* (вспомним Волоколамск!), сходятся разноязыкие народы, расцветают города. Водораздел Валдайской возвышенности, Оковский лес у нынешнего Осташкова, откуда истекают и Днепр и Волга, важнее всех массивов Приокской террасы. Из Мурома в Киев добираются по Оке и Волге, не садясь на коня.

Не без зависти смотрят вятичи, выбираясь из своих убежищ, на бьющую ключом жизнь, удивляются необычным однодеревкам-ладьям, выдолбленным из целой колоды. Громадные, сорокавесельные, с парусами на реях, веслами в уключинах, они захватывают воображение, манят сказочными богатствами. Иной раз – что греха таить! – лесные люди *искус творят*, нападают на зазевавшихся купцов. Но живут всё же тяжким, в поте лица трудом, а не разбоем. Совесть, честь, миролюбие блюдутся отважными и веселыми нравом вятичами как родо-племенное наследие пращуров.

Край вятичей – отдаленный, затерянный в глубинах безбрежного, слегка всхолмленного ландшафта с дубравами, сосновыми борами, топкими болотами, где едва ли не единственные дороги – по воде. Несчетные реки и речушки, в запутанных извилах которых чужакам не разобраться, – ив мороз удобные и гладкие пути для санных обозов и связи между селениями. Суровая зима снегом и льдом наглухо запирает жителей от прошеных и непрошеных гостей.

Сражаются вятичи с врагами на обрывах, густо поросших лесом, заманивают в теснины и чащобы. Всех превосходят в переправе через реки, а застигнутые врасплох внезапным нападением, погружаются в пучину и, лежа навзничь на дне, дышат через зажатые во рту выдолбленные полые трубки камыша, доходящие до поверхности. Выдерживают под водой часами, так что невозможно догадаться об их присутствии.

Но и их, лесовиков, захватила страсть к новому. Молодые уже не гадают по лаю собак. Пусть с запозданием, но и к ним пришел гончарный круг, и мастера делают теперь посуду в любом количестве и на разный вкус. Горшки и латки, кринки и котлы, корыта, ковши, чаши – мечта хозяек! Вместо очагов в жилищах теперь печи, а старые кади заменили кадками и бочками.

Настя вспомнила фразу из учебника: переход от общинно-первобытного строя времен распада праславянской общности к феодальной древнерусской народности повлек за собой смену общественных вкусов. Сложно, но верно сказано!

– Мужчинам-вятичам, – продолжала между тем рассказывать Гривна, – кроме всепригодного ножа (слово, видимо, от *нога, ножное*, ибо носили лезвие у ноги, за обмотками) теперь потребны топоры, долота, тесла, пилы. Сменились песни и пляски, другие стали свирели и лютни, хотя еще далеко вятичам не только до рок-н-ролла, но и даже до разудалой *скоморощины* и *игры святорусского молодца* соответственно XIII и XVII веков. О портах, т. е. одежде, и говорить нечего – совсем новая мода!

Броня стала удобной кольчугой, предпочтение отдается вместо двух коротких одному копыю подлиннее, к луку и колчану добавился особый для стрел яд. Шелом приобретает форму того шлема,

который в Московской Руси назовут *шишаком*. Появился и боевой топорик, из которого в свое время возникнет стрелецкий *бердыш* на длинном древке. Но символом русской доблести, княжьей власти и языческого культа неизменно служит колющий и режущий обоюдоострый меч о двух лезвиях с дугообразным перекрестьем. Его вытеснит лишь к XVI веку кривая сабля, присущая печенегам, половцам, татарам. Русичи клялись оружием и Перуном – слагали щиты, снимали мечи и *полагали* (а не вонзали в землю, как германцы); так Олег подписывал договоры с греками. Гибель от своего оружия – тема сказаний и клятв: *меч наш да посечет нас!* И на века остались выражения *поднять меч* (на кого-то), *скрестить мечи, пройти огнем и мечом* (беспощадно), *вложить меч в ножны* (заклuchar мир).

Меняется и манера говорить, сам язык. Вятичи, выражаясь латинским прозвищем, варвары, т. е. бормочут «вар-вар-вар», непонятно для людей просвещенных. Их язык не защищен ни письмом, ни школьной нормой, выучкой. На него легко воздействуют климат, природа, хозяйственный уклад, язык соседей, просто события сего дня.

— Слышали мы все это! – бестактно прерывает Настя своего гида. – Давай лучше послушаем, как говорят. Я что-то совсем мало разбираю: *камо идеши камо течеши... чадо мое чьсо ради притече?.. молю ти ся отче повежь ми аще zde есть сынъ мои... много же си жалею его ради не ведуци аще убо живъ есть... изведи ми старче сына моего да си его вижду не терплю бо жива быти еше не вижду его яви сына ми...* Ой, как интересно: нет еще слова *сорок* и говорят *четыредесяте...* И ни одного слова, чтобы кончалось на согласный! Речь течет плавно, будто нет ударений четких. Да и слова как-то сливаются, потому, ясное дело, и знаков препинания в древней письменности не было...

Будто угадывая незримое присутствие далекой правнучки, сидящий на колоде вятич рассказывает о бортниках и о живущих в борти лесных пчелах: *отець мой и братъ дьреволазцы суть в лесе бо медъ от деревъ всякъ въземлють*. Сказывает, как дань платят медом и *скорюю* (мехом). Да как мед хмельной пьют на свадьбах и тризнах.

— До сих пор не останются! – вырвалось у Гривны, забывшей условности.

Не разобравшись, откуда привычный упрек, сказитель оправдывается, что-де застольная круговая чаша – *братина* есть символ единства, силы и что больше хлебный квас, а не стоялый мед пьем... Будто чувствуя присутствие пришлиц из будущего, древний вятич излагает свежий слух:

— Приспе осень и помяну Олегъ конь свой иже бо поставиль кормити и не вседати на нь. Бе бо въпрошалъ вольхвъ и кудесникъ отъ чего ми есть умерети. И рече ему кудесникъ одинъ: княже конь его же любиши и ездиси на немъ отъ того ти умерети. Олегъ же приимъ въ уме си рече: николи же всяду на нь ни вижду его боле того. И повеле кормити й и не водити его к нему и пребы неколико летъ не виде его дондеже на грекы иде. И пришедшу ему Киеву и пре-бывышу четыре лета на пятое лето помяну конь, от него же бяхуть рекли вольсви умерети. И призва старейшину конюхомъ рече где есть конь мый его же бехъ поставил кормити и блюсти его? Он же рече умерль есть. Олегъ же посмеа ся и укори кудесника река: то ти неправо глаголють вольсви но все то льжа есть конь умерль есть а азъ живъ. И повеле оседлати конь: а то вижду кости его. И прииде на место идеже беша лежаще кости его голы и лобъ голъ и съседе с коня и посмеа ся рече: отъ сего ли льба смърть было възяти ми? И въступи ногою на лобъ и выкинувши змиа изо лба и уклону в ногу и съ того разболе ся и умре. Поча княжити Игорь по Олзе.

— Да, Пушкин куда лучше об этом рассказал, – делится впечатлением от услышанного Настя. – Может быть, я и поняла все, потому что знаю эту историю? И поэт, значит, не придумал ее, а просто пересказал отличными стихами?

— Кто знает, где сказка, где правда! Смысл поучителен, вот что важно. Но предания, конечно, зеркало истины, – говорит Гривна и добавляет с явной теплотой в голосе; – Смотри, любуйся с пристрастием: ведь он – Воробей, самый дальний твой предок из тех, кого я сама знаю. Мастер на все руки. Это он меня и выковал...

— Ты хочешь сказать, что дальше в глубь былого мы не можем попасть? – наша героиня всерьез расстроилась.

Ей так хочется посмотреть, что еще раньше было. Это как в гору лезть: никак не успокоишься, пока до вершины не доберешься! Настя пытается задобрить, убажжить волшебный талисман:

— Обещала же историю русского языка показать, как он из праславянского родился, но сам-то праславянский – тоже лишь диалект индоевропейского?

— Я и сама бы посмотрела, но предел положен!.. Кое-что, впрочем, узнаешь со слов своего предка, который сейчас перед нашим взором. Можешь, кстати, определить время нынешней и предстоящей последней встречи с прошлым. Меня выковали в честь вокняжения Игоря...

Вглядываясь в своего, кажется 38 раз, прадеда, Настя пытается изложить событие в форме летописной погодной записи: *въ лето 6421 приде Анастасий на Московъ*. Ведь как раз к ее гощению дошла до вятичей молва о странной гибели Олега, а это было в 912 году: чтобы получить византийский счет, прибавляем 5508 лет, прошедших от сотворения мира. Если событие имело место от 1 сентября до 31 декабря, то 5509, так как год начинался с 1 сентября (с 1 января год стал считаться с 1700 года: 1 января 1700 года, помнится, было Петром Великим объявлено в году 7208). Нет, что-то не то – так с XV века, а до того год считали с 1 марта. Раз на счетчике путешествия остановка в столетие 912, а лекцию в университете слушала и Гривну обрела 27 апреля... Настя запуталась окончательно, взглянула на свои электронные часики с календарем, которые пыталась переводить, но они лишь беспомощно мигали всеми цифрами сразу...

Лучше послушать, как древние говорят. Такое ощущение, что не по-русски, хотя отдельные слова и целые сочетания вполне русские. В целом, как и в предыдущем, т. е. последующем, веке: надо переводить услышанное, сопоставлять со своими навыками, произношением. В общем малопонятном потоке речи часты совсем чужие слова – ныне забытые славянские или, напротив, слишком русские. Затруднений много, так что невольно устает уследить за смыслом. Язык Настиной эпохи звучит дробно, расчленен на смысловые части, а сейчас слышится в нем непривычная напевность, ритмичность, вроде как вода через камни равномерно переплескивается.

Из этого общего всем славянам распева кристаллизуются восточнославянская, или древнерусская, речь (которая позже распадется на великорусскую, белорусскую и украинскую «мову черноброву»), и речь чешская с ее долготами, и совсем дробная, хранящая глухие гласные болгарская, и шипящая с носовыми гласными польская. Но и сам славянский праязык, как верно заметила Настя, обособился из индоевропейской языковой общности племен около трех тысяч лет назад.

Славяне устранили, например, придыхание при согласных, отчего общеиндоевропейские \*dōm и \*dhūm дали у них *дом* и *дым* при латинских *domus* и *fumus*. Из *dj* у них получилось *dl* и просто *l* (это уже у восточной ветви). Вместе с балтами и древнеиранцами они стали произносить древнейшее \*dekm (мягкое *k*) как *desēt* (ε носовое), из которого на Востоке вышло *десять*, тогда как предки греков, латинян, германцев, кельтов сочли для себя удобным говорить *deka*, *dekem*. Число отличий росло, отделяя праславян от иных индоевропейцев.

Пожалуй, всего важнее, что они разучились произносить слоги с согласным на конце, т. е. завели себе закон открытых слогов. Индоевропейское \*sebdm упростилось у них поэтому до *седьмь* (современное болгарское *седем*), из которого через южнославянскую книжность к русским пришло *седьмой*. Сами же русские древний корень превратили в совсем простое *семь*, а прилагательное при нем первоначально звучало *сѣмый*, это слово до сих пор живет в диалектах великорусского языка. Иные индоевропейцы тоже, конечно, меняли общий корень: у римлян оно звучало *septem*, у нынешних немцев *sieben*, у англичан *seven*, у французов *sept*.

— А все-таки как понять этот закон? – поинтересовалась Настя. – Почему это вдруг стало людям трудно произносить согласный в конце слова?

— Во-первых, не вдруг. Во-вторых, дело не в том, что трудно, а непривычно, ибо и мама их не произносит и никто вокруг. Так современные тебе тюрки вроде бы не могут физически, а на самом деле просто не подготовили с младенчества, не приучили свой голосовой аппарат выговорить, скажем *ст* и произносят *ис-тол* или *сы-тол* вместо *стол*. Они обязательно вставят гласный призвук в слово *встреча*: *въсьтьреча*. Русский писец даже в IX веке написал греческое слово как *варьварь* – не мог, видно, произнести **рв**, не разбавив звуки гласными. В современном тебе русском языке тоже есть стремление располагать звуки по возрастающей звучности: *ра-сте-ни-е*, а не *рас-тен-и-е* или еще как. Между прочим, сама знаешь, как трудно из-за этого выучить правила переноса слова со строки на строку.

Остатки этого славянского закона и в том, что артикуляция ослабевает по направлению к концу слова, особенно перед паузой. Как и в древней речи, сейчас русским свойствен слабый отступ, т. е. постепенный переход органов речи от работы к покою. Отсюда оглушение звонких согласных на конце слова. У других индоевропейцев не так, поэтому, скажем, англичане умеют произносить звонкие согласные и на конце слова, хотя после них нет ни полного гласного, ни гласного призвук. Закон открытых слогов многое изменил в звучании полученного славянами индоевропейского наследия. Отпали конечные согласные (*гость* при латинском *hostis*, английском *host*, немецком *gast*), согласные в конце слога отошли к следующему слогу: устраняясь, как в ось из индоевропейского общего \*aksi (латинское *axis*), или создавая новые группы согласных, приспособливаясь друг к другу. Из древних слогов **om**, **em** возникли носовые гласные, обозначавшиеся в славянской письменности особыми буквами (юс большой) и (юс малый; буква эта впоследствии для обозначения гласной я

писалась довольно долго, особенно в стилизованных и церковных текстах): *sem* (латинское *semen*), а в формах звучало и просто старое **н** – *семене*; (греческое , латинское *ferunt*, древнеиндийское *bharanti*).

— Здорово! – Насте почему-то последний пример особенно понравился. – Чтобы открыть закрытый слог, придумали особый гласный звук! А почему же его нет в косвенных падежах? Ах, понимаю: *се-ме-не* – все слоги оказываются открытыми.

Гривна, что тебе заправский лектор в университете, поучала:

— Закон затронул очень многое. Возьми старые дифтонги: из \**treies* (греческое ) получилось *три*, из \**leudh* (древнемецкое *liut* и современное *Leute*) – *людъи*, нынешнее *люди*. Качество гласных, важное для преобразования

согласных, для этой структуры слога безразлично: и они выравнивались в два симметрично противопоставленных ряда, различаясь четко лишь под ударением. И сегодня ты произносишь ясно ударные гласные, а безударные все сокращаются, редуцируются и по качеству вроде одинаковые – и **е**, и **и**, и **я** звучат как **и**, а **о**, **а**, **ы** – как краткое **а**, похоже на те глухие, которые раньше обозначали на письме буквами **ь** и **ѣ**.

В языковом развитии симметрия – важный и всеобщий принцип, диктуемый не всегда осознанной необходимостью упрощения системы, какой-то ее балансировки. В одном языке противопоставлены длинные и краткие, в другом стержнем системы оказывается противопоставленность полных и глухих, в третьем – ударных и безударных. Конечно, всегда есть исключения, системные непоследовательности, и система, видимо, никогда не достигает полного равновесия. В этом, между прочим, пружина вечного развития языковой системы.

– Добре, – вздохнула Настя по-древнерусски и вновь вслушалась в текущую вокруг почти праславянскую речь: **лешпе естъ камень долоти нежели зла жена учити... железо уваришь а злы жены не научишь... и то все видех очима своима... пришедь пребыхъ месяцъ и тако могохъ походи-ти... доселе есмь не пиль ныне же ты велишь пию...** Другая логика мысли, манера выражаться, иные интересы, представления, идеалы, не говоря уже о звучании. И всё же чувствуешь родное!

Она ребячески наслаждается прикосновением к первоначальному языку, сбросившему завесу тайн. Захватить бы магнитофон-кассетник: чего бы не дал университетский лектор-бородач, чтобы услышать живую речь X века! Ведь письмо запечатлеvalo звучащее слово условно, не всегда отражая видоизменения в живой речи через столетия. Да и всех нас интересуется любая подробность жизни предков, волнует Русь изначальная!

Тем временем вятч Воробей завел любимый сказ, идущий от чтимого прародителя. Повторяя привычный зачин эпических песен **яко же сказуютъ**, перебивая его выражением **ини же не сведуще рекоша яко**, пращур поучал внуков и правнуков, по роду передавал то, что узнал за свою жизнь, что передумал, что наказывал хранить вечно для потомков. Он придирчиво заставлял пересказывать свое поучение: еще раз скажи, лучше запомнишь. И младший послушно повторял, ибо знал эту существовавшую до письма извечную страсть в человеке – высказать душу, запечатлеть свое слово. Так из поколения в поколение передавалось предание, что теперь слушала наша героиня, переводя мысленно с праславянского на современный ей язык.

## Пращур и его сказ

Давным-давно из бора на берег причудливо петляющей Москвы (сейчас на этом месте стоит Боровицкая башня Кремля, уточнила Гривна) вышел высокий крепыш. Был он в льняной просторной рубахе до колен с длинными рукавами, прихваченными, чтобы не сползали, браслетами, и в штанах, подтянутых широким поясом и заправленных в онучи. Ноги обуты в лыковые лапти, *подковыренные* (укрепленные) кожаными ремешками. На поясе – узорные бляшки, к ноге приторочены огниво и железный нож.

Взойдя на холм, он задохнулся от восторга, увидев перед собой в синей дымке бескрайние лесные просторы. Нигде не заметно было следов присутствия человека. Прикинул, сколько тут зверья, какие гуляют косяки рыб (хватит ли для пропитания?), урожайная ли почва. Почва, сразу ясно, бедновата – супесь, местами песок. Но зверья разного, грибов, ягод, орехов – видимо-невидимо, вода рыбой кишмя кишит – только не ленись лови! Сосны, ели, клены и рябины с непролазным подлеском орешника и маличника...



С крутизны открывались луга, поросшие на подступе к первозданно чистой реке сочной ярко-зеленой травой. Солнце, отражаясь от водной глади, которую морщила лишь игра щук, сомов, лещей, осетров и стерлядей, слепило очи.

Какие места для ловищ рыбных! Роились пчелы, не тронутые топором дубравы полнились дичью. Есть следы зубра, тура, кабана, медведя. Можно на рысь и *вевериц* (белок и горностаев) направить лук и стрелу, поставить тенёта и другие ловушки. Есть где и крупную птицу ловить большими сетями-перевесами.

Пращур смотрел на природу практично, отметила Настя, а природа не ведала, что есть экологическое загрязнение. Подумать только – в Москве-реке водилась стерлядь, добывался речной *скатный* жемчуг! В этом краю привольно дышать и есть к чему приложить труд. Очарованный красотою окрест себя, пришелец произнес плавно-тягуче:

– Дивно!

И решил осесть здесь со своим семейством, ибо **лют бяше путь**: шли ведь не от добра, шли степями и лесами, шли в мороз – ждали, **егда ледове встануть**. За крепышом показались родичи с нехитрым скарбом, со скотом. Все светловолосы, сильны, закалены лишениями, солнцем и холодом, жадно любопытны и предприимчивы.

Мирные и вольнолюбивые, они устали менять места обитания и мечтали о постоянном поселении. Они умели возвращать злаки (пшеницу, просо), держать скот, разводить свиней, добывать мед, охотиться. Пожалуй, самое большое сокровище составлял их язык, которым они гордились. Глаголет истина устами сметливых пращуров!

Они осели. Скот охотно поедал здешнюю траву, и молока и мяса было в избытке. Подсечно-переложное, потом пашенное земледелие давало обильный урожай. Накапливались и излишки продуктов хлебопашества и скотоводства, звероловства, бортничества, рыбной ловли. Не завоеватели, зарящиеся на чужое добро, а работники, уставшие от странствий и соскучившиеся по труду, они возделали и обиходили землю заботой и любовью, вросли в нее корнями, полили не только потом оратаев, но и кровью воинов, павших в сражениях с врагами. Потому и стала она родной, дороже самой жизни, землей предков.

Здесь не было ни тропического изобилия, как в долине Нила, ни благодатного бесконечного лета, как в междуречье Тигра и Евфрата, ни ласковых муссонов и оливковых рощ, как в Средиземноморье. Что выжег, выкорчевал, отнял у леса и болота, сберег свирепой зимой, защитил от набегов разбойных соседей, тем и владей. Единственно, чем щедро одаривал край, кроме красоты и нетронутости, так это обширностью, простором и покоем – ни тебе извержений вулканов, ни ураганов, ни землетрясений!

Пришедшие сюда вятичи – люди нерастраченных сил и чувств: ненасытные в подвиге и в жажде жизни; не знающие страха, злобы и уныния, умеющие терпеть невзгоды и напасти с достоинством и мужеством и в беде не утрачивающие милосердия и веры в будущее. Потому и выжил род, храня остроту мысли и вятическую гордость. И все это воплотил и сберег язык. На новом месте они вдохнули пьянящий запах теплой, готовой принять зерно земли. Ощутили податливую тяжесть сохи и счастливую усталость оратая, смотрящего на вспаханное им поле. Прониклись музыкой лихо свистящей в разнотравье заливного луга косы. Вкусили сладость свежего ржаного хлеба, испеченного из муки первого обмолота. И все это тоже запечатлевали в языке, превращая его из праславян-ского в особый, собственный, родной язык.

Вскоре после прихода узнали, что неподалеку, на правом берегу Москвы, не доходя реки Сетуни, живут уже люди. Наш крепыш, глава рода, к вящему удовлетворению обнаружил, что аборигены боятся пришельцев не меньше, чем те их. Сразу решили новоселы на общем сходе с соседями дружить: земли много, будем жить в ладу и согласии, не на зло врагу, а на радость другу.

Отгородив, по обычаю, воткнутыми в землю стрелами жертвенное место, заклали петуха, испросили покровительства у Перуна, Хорса, Дажьбога и особо чтимого Волоса – скотьего бога, поклонились силам природы, душам умерших предков, колодцам и рекам, мати-сырой земле, семейному талисману – турьим рогам и отправились в поселение соседей, укрепленное рвом и валом.

Оказалось, что чужаки говорят совершенно непонятно, но живут и думают похоже. Удивило, что коней они держат только для молока и мяса, зато покорило их искусство резать по кости. Воевать соседи тоже не хотели, приняли подарки, особенно им пришлись по вкусу гладкие глиняные горшки, которые были удобнее и красивее тех, что умели лепить сами. В знак мира в свою очередь одарили гостей изделиями из кости и рога. Так началась дружба...

Настя, слушая сказ, сообразила, что городище соседей было как раз между Нескучным садом и двухъярусным метромостом. Археологи раскопали тут остатки укрепления. Жаль, что соплеменники

пращура жили в открытых деревянных селищах, следы которых исчезли. Быт *дьяковцев*, как ученые называют жителей *городница*, известен поэтому лучше, хоть он и древнее. Раскопки показывают, что у аборигенов много славянской утвари, т. е. слияние с пришлыми славянами началось еще в VII – VIII веках.

— Значит, легенда, передаваемая Воробьями из поколения в поколение, не выдумка! – торжествующе восклицает Настя. – Думаю, что пращур именно от живших тут соседей узнал, что река называется Москвой. А кстати, что значит слово Москва?

— Точно никто не знает, – ответила Гривна. – Разные есть версии. Ты права, что легенды отражают жизнь и действия реальных личностей, реальные события, но правдоподобие их все же относительно. Говорят, например, что Москву основал вещий Олег, заходивший к вятичам в X веке, или намного раньше внук Ноя Мосох и жена его Ква, от имен которых якобы и получилось название селения. Указывали даже место, где Мосох будто бы срубил малый градец, – крутой берег Яузы. Но поверить в это трудно: обычно селения назывались по реке, ибо имена рек, как правило, древнее. Археологи твоей эпохи копали на берегу Яузы, но ничего там не нашли, как и следовало ожидать.

По-видимому, Москва – это сложение из угро-финских слов (именно из таких племен были соседи вятичей): *моска* – медведь и *ава* – мать, жена, т. е. медведица. Еще вероятнее, что вторая часть означает воду, а первая – «черный» или «коровий», т. е. Москва – Черная вода или Коровья лужа. И это понятно: вокруг были болота, топи; и сегодня районы напротив Боровицкого холма в Замоскворечье отличаются сыростью. Для пришельцев-славян эта расшифровка могла быть куда яснее, чем для потомков: праславянский корень *моек* (мозг) со значением «мокрый, влажный – *промозглый*» ощущался яснее, и было меньше перегородок между языками. И позднее эти черты играли роль: недаром появились такие названия, как *Балчуг* (т. е. «грязь»), *Болотная набережная*... Но, как бы там ни было, *Москва* стало вполне русским, а теперь и общечеловеческим словом! Давай лучше послушаем сказ моего первого владельца о пращуре: я ведь его тоже не знала!

По сказу выходило, что семьи Крепыша и дьяковцев настолько сдружились, что соседи рано или поздно уговорили отдать за их отрока замуж его внучку. Так и началось складывание нового племени – москвичей, со временем и язык у всех жителей края стал один. Отдав много из своего, соседи перешли на русскую речь, сроднились с ней, забыв даже свою. Много помог этому веселый нрав Крепыша и его потомков и более высокий культурный уровень славянского рода.

Сказ вился причудливо, то расцветая деталями, то опуская их. Про первую свадьбу, сроднившую оба племени, повествовалось подробно. Помянули, мол, предков на общей Русалии, поклонились богине любви и брака Ладе. Долго длилось игрище с песнями и плясками. Новые родственники раскрыли перед сурово-медлительными угро-финнами широту и размах своей души, неистовство желаний, но и холодный расчет. Вятичи ради жизни могли жертвовать жизнью! Молодые у воды клялись в верности друг другу и преданности родителям. И действительно, жили они долго и счастливо, хотя вятические родственники и посмеивались над произношением иноязычной невестки.

— Вот так: мои предки показали пример породнения людей, из которого вышли все коренные москвичи! – торжественно провозгласила Настя. – Великий исторический процесс начал мой пращур.

— Не очень-то превозносись! Вспомни, как сама кривилась, узнав про гречанку-сурожанку в своем роде. Знай во всем меру!

Настя несколько смутилась, хотела было спросить про выбор имени предками, но тут ее ошеломило запоздалое открытие: зачинателя рода, наверное, прозвали Воробьем за то, что он веселый непоседа, ходит пружинисто подпрыгивая, весело напевая. Эта примета их рода: проявилась она и у Гудошника, может, и у других, кого навестить не довелось. Так?

Гривна не спешила с подтверждением.

— Тут, скорее, то темное имя из еще более древних времен, куда мне путь заказан. Ты знаешь, что Волком, Медведем звали не по сходству с этими зверями, а чтобы тем охранить себя от зла. Зло же – не только возможное нападение данного зверя. Иначе говоря, называя человека именем страшного зверя, хотели отпугнуть, перехитрить злых духов вообще: пусть, дескать, думают, что перед ними зверь, и боятся. Это идет от еще более древних поверий, в которых воробьям могли приписывать совсем другие качества. Вспомни про Соловья-разбойника в русском фольклоре! Впрочем, точно не знаю. Заметь только, что и самой птичке имя дано явно не по внешнему виду, а по ее песенке: *вербь-звербь*, *ворбь-зворбь* – так древним слышался звук, который ты изображаешь как *чик-чирик*. Первоначально и произносилось *Ворбь*.

— А как же стало Воробей? – спросила Настя.

— В праславянском *ворбь*, получившемся из общеиндоевропейского \**varb*, неприемлем был, как ты легко догадаешься, закрытый слог. Его и преодолевали все славяне, но по-разному: южные стали произносить *вrabь*, западные – *вробь*, восточные – *воробь*.

— Как же так? – удивилась Настя. – Закон открытых слогов объединил славян, выделил их из индоевропейцев, и он же начал их внутренний раскол?

— Точно! Только обособление славян станет явным как раз с потерей этим законом силы. Это произойдет в VIII – IX веках, а у восточных славян лишь в X – XI веках.

— Ас XIV века сами восточные славяне разойдутся на три ветви...

— Да, но не забегай вперед! То обособление произойдет уже по иному принципу. Не путай разные вещи. Сейчас говорим о законе открытых слогов. Считают, что последним заимствованием, которое славяне еще не смогли произнести и переделали по этому закону, было имя Карла Великого, разгромившего авар. Вместо *карл* стали говорить *краль* (сербы, болгары, чехи), *круль* (поляки; пишется *krol* – через о с черточкой), *король* (восточные славяне). С утратой закона открытых слогов языковое царство Славии распадается на отдельные языки. Образуются новые закрытые слоги, разные у разных славян, и если *круль*, *король*, *кроль-круль* были общепонятными (как мы сейчас понимаем, что, скажем, *их* и *ихний* – одно и то же, хотя сами говорим только *их*), то следующее видоизменение вело уже к неузнаваемости одного и того же слова-корня, т. е. к обособлению языков. Воспринимая различия как производительные варианты одного слова, дескать, кому какой выговор легче дается, древние употребляли и то и другое. В летописи читаем: **Ольга рече: мало у вась прошю – дадите ми от двора по 3 голуби да по 3 воробьи... Голуби же и Воробьева полетеша въ гнезда своя, голуби въ голубники, вrabьева же подь стрехи.** Мы с тобой уже рассуждали об опознании слов. Сейчас в *вороб* – *вrab* – *вроб* видят одно слово, как, скажем, ты в *делает* – *делаат* (так на Севере в селах говорят и в твоё время). Сами предпочитают говорить *воробь*, подтрунивают над другими, но знают, что это старое неудобнопроизносимое *ворбь*. Это потом забыли, и теперь не сразуобразишь, что русскому *воробей* соответствует общекнижное и южнославянское *вrabий* (у современных болгар *вrabчѐ*, у сербов *вrabца*, у чехов *vrabce*), а также польское *wrobel* (**o** читается теперь как **u**). Так что, живи твои предки в Варшаве, была бы ты Настя Врубель, – подначила ехидно Гривна. Настя не обиделась и парировала:

— Достойно, если вспомнить великого художника!

— А если бы ты в Финляндии жила, могла бы быть Настей Варпунен, – не унималась Гривна. – В древности финны в такой форме заимствовали у славян название птички – *varpunen*. А вот индоевропейцы-литовцы и не заимствовали, а просто по-своему хранят древнее звукоподражание песенке птички *звербь* – *вербь*: у них воробья называют *žvirblis*. А латыши, кстати, зовут его *zvirbulis*. Интересно, что и у них Жвирблис, Звирбулис – естественные фамилии.

— Хочешь сказать, что живи я в Вильнюсе, была бы Настя Жвирблис?

— Нет, не хочу! – Гривна что-то не знала удержу, – видно, вспомнила детство свое, оказавшись во времени своего рождения. – Совсем не так! Ты была бы Жвирблите, а мама твоя – Жвирблиене. У литовцев фамилии имеют разные окончания для мужа, жены, дочери.

Но Настя взяла реванш, сделав такое тонкое наблюдение:

— Судя по всему, литовцы не знали закона открытых слогов. Они, так сказать, обособились от других индоевропейцев тем, что хранили общее наследие еще более неприкосновенно, чем, скажем, славяне.

Чтобы не признать себя окончательно поверженной, Гривна не очень ловко попыталась продолжить свою шутивную тему:

— А вот если бы ты жила в Киеве, то была бы...

— Знаю уже – Горобец! – прервала ее Настя. – Давай лучше дослушаем сказ пращура.

Предок въет наизусть свой сказ. Говорит образно, сочно, словно перебирает скатный северный жемчуг, с радостью передает отлитую в слове мудрость рода. Смысл же услышанного в сжатом виде таков. Пришельцы слились с соседями, которые забыли и свой язык, и свое происхождение, завещав потомкам чтить достойного Ворбю общим прародителем. Когда он глубоким старцем отошел в мир иной, оплакивали его вместе на великой тризне, не пожалели утвари для могильника, где после сожжения тела на костре погребли в глиняной урне его кости.

Где-то на берегу Москвы-реки стоял тысячу лет этот курган, пока не разровнял его бульдозер, чтобы построить на этом памятном месте современное многоэтажное здание.

Язык вятичей недаром пришелся по душе соседям. Сильный, звучный, он стал неиссякаемым источником жизненного, трудового, духовного опыта, ключом к познанию мира и самих себя. Он охотно усваивал чужое, но пуше хранил свое. Он хранил непростую историю древних племен и

связывал все ветви славян, напоминая о возлюбленном единстве родов, расселившихся на просторах от Ильмень-озера до Греции, от Эльбы до Оки с Волгой. Ох, эти просторы! В языке и в характере русичей прямо-таки генетически заложено восприятие своей родины во всей ее масштабности, обширности, громадности. И смысл жизни видится в поиске смысла существования. Поиске неистовом, страстном!

Может быть, язык возбуждал смутные воспоминания о еще более раннем времени, когда его носителей объединяли территория и речь с теми родами, из которых вышли германцы, романцы – десятки славных народов и языков земли, и тем усиливал в веках славянское чувство широты, единства, всеобщности и общежительности? Все они – дети тех полукочевых скотоводов-земледельцев, которые расселились буквально по всему свету от Северного моря до поймы реки Инда, превратив свой общий индоевропейский праязык в массу языков, ставших столь различными, что ученым удалось доказать их родство и общность происхождения только в XIX веке. Вот как люди забывают свое прошлое. Только что было – и нет!

Чтобы появилось «мы», требовалось повстречаться с какими-то «они». Без этого не обособиться, не осознать себя в речи, в одежде, обрядах и обычаях, в форме строения жилища, в изустных сказаниях. Потому-то, кстати, так падки люди до сказов, с детства страсть к сказке, к бытине заложена. Русичи осознали себя, видимо, в противоположность басурманам – печенегам, половцам, татарам. Ведь по отношению к другим славянам они ощущали себя отдельно, но родственно – в этом и залог масштабности их ощущения, их восприятия своего мира. Миролюбивые, они легко роднились с теми, кто не выступал завоевателем, как, например, коренные жители, с коими встретился пращур вятичей. Особенности внешнего вида, облика, речи, привычек и обычаев «чужаков» русичи могли не замечать, точнее, воспринимать, осваивать как свое.

— Верно! Пращур с удовольствием отдал соседям свои новомодные глиняные изделия. И многое, наверное, взял сам, хоть и были соседи менее культурными, – заметила Настя. Она задумалась, потом добавила: – Вятичам, всем русичам необходимы просторы. Это стремление *идти встечь солнцу*... Оно повело их в Сибирь. Оно принесло и радость и горе! Не лучше ли было им сидеть на месте, как, например, литовцам? Почему не остались славяне в прародине?

— Не зря завещал пращур помнить и передавать свой сказ! – укорила Гривна. – Слушай и понимай почему!

Об этом как раз и повествовал сказитель. Пращур, сказывают, на этот вопрос отвечал так: по мне видите, какие вятичи непоседы! Врожденная любознательность понукала! Мужественны, полны сил, тянутся к неизведанному и неведомому. И нужда напирала: множились, не хватало земли для кочевья и земледелия. Появились пашни, и сильные семейные кланы, имевшие железный сошник, рало (плуг), серп, топор, объявили их своей собственностью, гнали кровно близкие роды. Вятичи драться не желали, предпочитали искать себе иное место под солнцем. Пусть другие между собой враждуют, счеты сводят!

Кое-кто занялся охотой или только скотоводством. Накопив больше, чем нужно, чтобы жить, стали торговать. Всякий хотел разбогатеть. Ревность и зависть, распря и злоба воцарились на прародине. Тем, кто жил, как завещано, не хитрил, ничего не оставалось, как уйти. Уходили, потому что не хотели воевать – ни со своими, ни с врагами-соседями. Вятичи – мирный народ, хотя, коль придется, сумеем и постоять за себя!

Пращур передавал потомкам, как пошли его роды на Север и на Восток. Те, кто уставал или приглядел себе место по душе, не шли дальше. В степных всаднических просторах, в поле, остались поляне, в лесах – древляне. Вятичи же, не зная устали, шли дальше и дальше, пока не облюбовали Боровицкий холм по-над Москвой-рекой... Люди – как? Одному давай ласку, другому – твердость, третий все сам отдаст за желанное. Кнутом подгоняют клячу, а не рысака!

Сказ пращура вновь и вновь возвращался к тому, что при всем при том мы все, поляне и древляне, вятичи (это и я, и ты, и ты) и радимичи, только зовемся по-разному, а один народ – *русь*. Слово сие древнее, означает «свет», и боги наши – солнечный знак, круг времени. Святой Перун сам от солнца, от молнии и грома. Поэтому мы светловолосые, *русые*. Но и русы не сами по себе, а ветвь великих славян. Разные названия не мешают кровному родству. *Русь, рось* – люди одной крови, одних обычаев, одного языка!

Откуда слово? Кто знает! Может быть, как раз оттого, что русые. А может быть, и от названия реки: *руса* у всех славян с древности – река. Отсюда и *русло, русалка, Русалия* – когда сходятся мужи и жены на **ночное плещевание, безчинный говорь и на бесовский песни, на плескание и на скакание. К реце идетъ съ великим кричанием аки бесы и умывають ся водой... ова бьяху в бубны, друзии же в козице и в сопели сопяху** (это позже напишут в «Стоглаве»). В наших краях есть и река по названию Рось – как раз, где поле и леса сходятся...

Откуда самое слово *славяне*? То ли от *слава*, то ли от *слово*. Люди одного корня, одного языка-племени, в отличие от говорящих иначе, т. е. непонятно. Так много позже всех иностранцев русские назовут немцами – *немцами*... Одно-земцы, единоземцы, породненные огнем у воды – богом Сварогом!

Настю тронул рассказ об исходе вольнолюбивых племен из прародины и окрылявшей их надежде, что вятичи, русы останутся хранителями древней красоты поверий и языка. Ясное дело, они менялись с изменением образа жизни, места обитания, характера соседей, но главное – стремление сберечь то, что утрачивается другими.

Впрочем, любой народ уважает себя, свое прошлое, и каждому хочется, просто необходимо иметь свою великую культурную традицию, историю непременно великих свершений. У какого народа нет великих сказаний, легенд, эпоса?..

Наивен ход мыслей древнего вятического пращура, но благороден, высок, чист. Оттого-то и живет память о нем у потомков. Бьется его мысль в вечность, крылатая мечта ведет его в грядущее, где суждено быть и островерхим башням Кремля, и космическим крылатым ракетам.

Но отдадим должное вятичам: они в самом деле крайне медленно расставались с вольной языческой верой, с формами исходного языка. И древний Ворбь, приведший свой род на Боровицкий холм, несомненно, прививал окружающим восхищение своим родным языком. Его излюбленной темой было: слушайте, мол, как певуче, чудесно получается – О-БЪ-НЪ-ПО-ЛЪ!.. Гривна пояснила: *об он пол*, т. е. по ту сторону. Не понять! Ведь словораздел совсем не наш, каждый слог по себе, кончается гласным, а где его вроде нет, там глухой вставляется.

Ворбь считает, что лучше быть не может: *плакаТИ, плаЧЬ* – певуче, мягко. Тут вся страна наша слышится, просторы равнин, величие дубрав, медлительность рек. И многоводная зеленая весна, и долгая белая безжалостная и сказочная зима, и жаркое медовое лето, и задумчивая золотая осень. Потрудились предки над языком!

Настя вздыхает. Как жаль, что дальше, к истокам и этой речи, им путь заказан! Гривна утверждает, что в древности языки славян и нынешних англичан, немцев, французов, испанцев были близки, даже слиты в общем индоевропейском праязыке. И даже при звуковых расхождениях люди разных племен, из которых и вышли потом в длительном и сложном развитии немцы и русские, французы и англичане, могли друг друга понимать. Напрягая слух, стараясь не замечать, скажем, некий свист на конце слов (не будь его – куда бы легче для слуха!), угадывали, что *встречич*, встречающий врага, – по-ромейски *стратиос*, воин; *стебель* – *стибос*; *баня* – *баланейнон*...

Настя просит Гривну, раз уж не суждено заглянуть в те эпохи, рассказать хоть немножко, что знает, о славянском праязыке и о его родственниках-современниках.

## В дымке тысячелетий

Да, Ворбь подметил два главных признака праязыка славян – то, что много позже лингвисты назовут законом открытых слогов и палатализацией (смягчением). Именно результаты их действия взрастили такие различия, что создались разные языки и народы забыли: был когда-то единый язык. Вятичи, и те вряд ли поняли бы уже, что в греческом ) или в латинском *cognōsio* тот же корень \**gnō*, что и в *знати*.

— Может быть, и какие-нибудь твои современники, – заметила Гривна, – ощущают, что философский термин *аГНОстицизм* – прямой родственник слову *знание* или что произносимое ежедневно в сводках погоды слово *проГНОз* в прямом переводе – *проЗНание, предвидение, предсказание*?

— Вряд ли, – с сомнением сказала Настя.

Гривна же увлеченно продолжала свои примеры. Услышав от грека или от литовца *karve*, праславянин с подсказкой, но сообразил бы, что это его родное слово *корва*, только странно произнесенное. Впрочем, праславяне и сами произносили его то *крава*, то *корова*, то *крова-крува*. Так, сейчас с усилием можно догадаться, что в немецком *Bruder*, английском *brother*, французском *frere* звучит видоизмененно тот же древнейший корень \**bhrāter*, что и в русском *брат*: в праславянском было *bratъ*, в древнеиндийском *bhratar*, в греческом , в латинском *frater*. Различия в произношении сначала затрудняют узнавание, а затем, за столетия, прекращают его (об этом Настя уже знала).

Древнюю звуковую первооснову, изменившуюся до неузнаваемости, впоследствии могут обнаружить, восстановить лишь филологи, и то не все. Именно так была изучена судьба древнейших

сочетаний **ор, ол, ер, ел** между согласными, например в *борда* (немецкое Bart), *берг* (немецкое Berg), *горд* (готское garda), *коле* (готское Kals), *мелко* (немецкое Milch) и подобных. Развитие тут было системным и очень последовательным. Южные славяне удлиннили гласный и переставили его: книжные *брада, брег, град, клас, млеко*, чешские *brada, breh, hrada, klas, mleko*, так же у болгар, сербов. Восточные славяне развили второй гласный, так называемое полногласие: *борода, берег, город, колос, молоко*. Западные славяне лишь переставили гласный: польские *brzeg, grod, zloto, klos, mleko*. Конечно, было и немало непоследовательностей, даже случайностей. Скажем, сочетания такого типа с глухим гласным не знали «второго полногласия»: *крѣвь, крѣсть* звучат как *кровь, крест* при сербских *крв, крет*; впрочем, в диалектах можно услышать *молонья* вместо *молния*, а в литературном языке мы говорим *веревка* (производя слово как бы от *вервь*, а не от *врѣвь*).

В польском языке строго в согласии с общим законом русским группам **оро, оло** соответствуют **ro, lo**, однако образование слога **ro** (в современном произношении **ру**, о чем свидетельствует черточка в орфограмме) произошло только в существительных мужского рода: \*gordъ – grodъ – grod(руд); mroz (mruz) – «мороз»; wrog – «ворог, враг»; chłod – «холод, хлад» ит. д. В существительных же женского рода этого процесса не было, отчего русскому *корова* соответствует *krowa*, русскому *голова* – *gtowa*. Впрочем, в родительном падеже и тут появляется *у*: *krow, glow*, как и в некоторых однокоренных образованиях вроде *glowka*. Всему этому были, конечно, свои причины.

– Так это же всё мы уже проходили! – воскликнула Настя. – Когда мою фамилию разбирали – *ворбь-вrabь-воробь-вроб...* то есть *вру-бель!* Примеров тут навалом: *прах-порох, крава-корова, злато-золото, вран-ворон, мраз-мороз*. И ясное дело, никто не подозревает, что все это из древних *порх, корва, золто...* Всем понятно!

Гривна даже смутилась от такой решительной трактовки лингвистических проблем. Охлаждая Настин пыл, она взяла более спокойный тон. В целом, уточнила она, Ворбь и его сородичи, придя в бассейн Оки, начисто забыли о своей принадлежности к индоевропейцам. Вот о родстве с другими славянами язык действительно напоминал ежеминутно и остро. За немногими исключениями славяне к тому же и селились друг возле друга, без интервалов, будто заботясь о непрерывности, целостности своей Славии.

Между отдельными языками создавались переходные говоры – немаловажное препятствие для обрыва связей и сильное облегчение языкового взаимодействия, по крайней мере постоянное наглядное напоминание о родстве с соседями.

Праславянский язык отличался, как мы видим, удивительно сильными законами, действовавшими загадочно долго у всех потомков и роднившими их. Он был уже мало похож на индоевропейского прародителя и других его наследников. В нем действовали свои грамматические категории, образовался самобытный лексикон. Разные результаты общих процессов рано обозначили раздельность трех ветвей славянства. В то же время славяне остаются, видимо, куда ближе по языку, чем, скажем, англичане, немцы и другие потомки племен, говоривших на прагерманском языке, тоже вышедшем из индоевропейских общих недр. Славянские языки – поразительный пример тождества: сколько древних слов имеют в них звуковое подобие, одинаковый даже звуковой состав и схожую предметно-смысловую соотношенность!

Так, с учетом судьбы сочетания **ор** между согласными и естественной логической связи представлений о сыпучих телах, древнее *порх* живет в русском *порох*, украинском *порох* (пыль и порошок), белорусском *порах* (*порох*; а – из-за отражаемого в орфографии аканья), болгарском *прах* (порошок, пыль, прах), сербском *прах* (пыль и порошок), польском *proch* (порох, пыль, прах) и т. д. В книжном языке слово звучало как *прахъ*, откуда и было заимствовано русским, так что в современном употреблении *порох* – исконное слово, но закрепленное лишь за взрывчатым порошком, *прах* – заимствование (хотя оба восходят к одному и тому же праславянскому), причем уменьшительное от первого приобрело значение более общее, чем производящее.

В разных славянских языках находим *ветер, вітер, вецер, вятър, ветар, ветрѣ, veter, vitr, vietor, wiatr; рука, рѣка, рѣжа, рока, рука, рѣка, рѣка; зуб, зѣб, зѣбъ, zob, zub, zqb, zgb*, (верность носовым, общим в пра- и старославянском языке, сохранили лишь поляки и кашубы); *солнце, сонце, сонца, слѣнце, сунце, sonce, slunce, since, stonce*.

— Получается, что Солнцев и Сунцов – одно и то же? – сообразила Настя.

Гривна подтвердила догадку:

— И обе фамилии можно возвести к латинскому *sol*. Индоевропейские корни живут, хотя и в разных, совсем друг на друга не похожих обличьях: немецкое *Sonne*, английское *sun* – сюда же! *Мать*, *matl*, *мац*, *майка*, *mati*, *matka* – продолжение ряда *matar* (в санскрите), *urfrnr* (у греков), *mater* (у римлян), *moti'* (у литовцев). Наше *месяц* – родственник санскритскому *mas*, *masas*, персидскому *man*, *mang*, греческим **ΜΗΝ** – месяц и **Υ.Τ.Ι.Υ.Τ.** – луна, латинскому *mensis*, готскому *tēpa*, немецким *Monat* – месяц и *Mond* – луна, английскому *moon*. В слове *свинья* – ТОТ же корень, что в немецком *Sau*, *Schwein*, английском *swine* (по-латыни *sus*, *suinus*), в слове *рожь* – что и в немецком *Roggen*, английском *rye*...

Тут прямо-таки остросюжетные детективные истории! Общий корень обнаруживается в латышском *govs* – «корова», немецком *Kuh*, английском *cow* и в болгарском *говеда* – «рогатый скот», чешском *hovado* – «скотина», русском *говядина* – «мясо рогатого скота». Он же и в древнем нашем *гумно*, где к нему добавлен корень от глагола *мж нти* – *мять*, *топтать* (слово означает место, где мнут, топчут, и из него мы узнаем, что обмолот у славян производился вытаптыванием зерна на току с помощью рогатого скота).

Настя медленно соображала под наплывом примеров. На ум приходили самые неожиданные сопоставления. *Ковбой*, скажем, это же «коровий мальчик», и главное – однокоренные тут слова!

Гривна же тем временем рассказывала о том, что в праславянском языке выстроилось противопоставление, кроме полных и глухих, передних и задних гласных. Велярное произношение, т. е. сдвинутое к мягкому нёбу в ротовой полости, стало четко отличаться от палатального, суть которого в том, что язык стремится приблизиться к твердому нёбу, будто хочет произнести **й**, **йот**. Последствия этого очень серьезны: изменению подверглась вся доставшаяся славянам система согласных.

— Закон палатализации! – зная уточнила Настя и сразу же задалась вопросом: – А чем вызвана эта пассивность, распластанность языка, которую поколения передали и нам и которой почти не знают другие народы?

— Опять скажу: кто знает! Какими-то вкусами, манерой жизни и говорения... Важно, что сформировалась в языке некая внутренняя тенденция. Она-то и стала объективным двигателем, упорядочила гласные по двум основаниям, упростила их и, напротив, чрезвычайно усложнила систему согласных. Здесь ученые отмечают забавную закономерность: если проследить фонетику языков с Запада на Восток, то заметно движение от гласных к согласным. В западных языках система первых сложнее и они играют основную смысловозначительную роль; в восточных, напротив, гласные просты (в арабской письменности их даже обозначают очень условно и непоследовательно), но согласные берут на себя главную роль. Но это так, к слову.

Для русских важно, что на месте индоевропейской основы у славян возникло многоэтажное и, надо признаться, эклектичное здание. Звук *л*, например, предстает в трех лицах: твердым (перед гласными непереднего ряда; произносится поднятием спинки языка к мягкому нёбу с широкими боковыми проходами, похоже даже на неслоговое *у* – *делал*, *делау*), полумягким (перед гласными переднего ряда; образуется в области твердого нёба), мягким (возник в сочетании с **и** и **ь**; произносится округлением языка, образующего узкие боковые проходы). Впоследствии на месте мягких и полумягких произойдет полное смягчение, отчего из трех *л* получится два: *поле*, *лисица*, но *лысина* (так же и у поляков: *pole*, *lisica*, но *lysina*). У других славян да и у всех индоевропейцев имеется лишь один звук, чаще всего полумягкий «среднеевропейский *л*».

— А у англичан твердый, – со знанием дела возразила Настя.

— Да, твердый, но не такой, как русский, а альвеолярный. Нам интересно, что у русских согласные сложнее, многообразнее...

— Это точно, – съехидничала девочка. – Англичанину освоить наши *л* невозможно. И немец ни в жисть не произнесет наше твердое *л*! Впрочем, и нам не намного легче научиться их звуки произносить!

— У славян появился еще вставной *л* из краткого и после губных согласных. От индоевропейского звукоподражания *\*spieu* (нынешнее *тьфу!* – сравни латинское *spuo*, литовское *spiauji*) они произвели *пльвати* (сравни чешское *plvati*, польское *plewad*). Но разве догадаешься сейчас, что английское *to spit* и русское *плевать* однокоренные?! Из древнего *земья* получилась *земля*, в котором *л* утратили многие славяне (чешское *zeme*, польское *ziemia*); да и у русских – *оземь*, *наземь*, *земной*.

— Но есть и *земляной*, – никак не унималась спорщица. – И что бы ты ни говорила, *земля* красивее, звучнее, чем *земя*...

— Необъяснимая прелесть несовершенства! Совершенство прекрасно тогда, когда оно несовершенно. У русских почти для всех звуков создались парные мягкие: **б – бь, п – пь**... Но нет пар у **ж, ц, ш и у ч, щ**. Ты, наверное, помнишь, что смягчать звуки русские научились отнюдь не сразу: **к – къ, г – гь** возникли поздно, а до того, оказавшись перед смягчающим гласным, они меняли свое качество: *плакати, плачь; рука, руце*...

– Ясное дело, помню! – чуть было не обиделась наша героиня. – Еще в III веке, общаясь с готами, славяне преобразовали их слова *kaisar, kiriko* в *цесарь, църкы* (церковь). Правда, первое слово они потом второй раз заимствовали, уже в форме *кесарь*.

– Молодец! – искренне восхитилась Гривна. – Общие слова в разных славянских языках нередко различаются ударением: по-сербски говорят *гнездо, бедро, колач – колача. Тетива* – по-чешски *tetiva* – ну и так далее. Различие гласных по долготе и краткости, сохраненное многими славянами, русские утратили к концу XIV века, но его следы хранятся в ударениях: *вино* (чешское *vino*), *хвала* (сербское *хвала*), *рука* (сербское *рука*).

Развернутая редукция гласных, узнавала далее Настя, с превращением ударных в полудолгие сопровождалась установлением типов подвижного ударения: *головй – гдлову – голдв, руки – руку*, а также *кордль – короля, волос – волос* и т. д. В самом древнерусском языке ударения были часто отличны от последующих эпох: *нови градй, новь' градЬ, дьлд, мьстб*... Это тоже отзвук долгих и кратких гласных; ударные гласные отличались не только силой, как сейчас у русских, но и повышением или понижением тона. Основной, превосходящий другие, тон приходился на один из слогов, а всякий другой слог тоже имел свое ударение. Создавался музыкальный довольно сложный ритм.

С долготой и краткостью гласных связывается и тип интонации. Место ударения свободно, а впоследствии многие славяне (увы, не русские) его закрепили за определенным слогом. Например, поляки за предпоследним, чехи за первым. У чехов, кстати, безударные слоги могут быть долгими, отчего русским кажется, что чехи делают два ударения в одном слове, что они вообще распевают речь. Сербы, хорваты, словенцы сохраняют в какой-то мере музыкальное ударение, у других оно заменилось экспираторным, динамическим, суть которого в изменении силы воздушной струи при произнесении. Следы этого тоже можно обнаружить в типах подвижного русского ударения.

Ритм речи в русском языке создается силовым ударением и редукцией гласных, в сербскохорватском – музыкально-силовым ударением, в чешском – постоянным силовым ударением и различением его долготы и краткости. Можно позавидовать полякам и чехам с их постоянным ударением и даже сербам, хорватам, у которых ударение не фиксировано на каком-то слоге, свободно, но неподвижно. У русских же и у болгар оно свободное (может падать на любой слог в слове) и подвижно (может приходиться на разные слоги одного и тоже же слова при его изменении). Не зная ударения, невозможно правильно произнести слово, так как редукция, зависящая от места ударения, меняет весь его облик.

– Бедные иностранцы! – искренне посочувствовала Настя. – Мы и сами-то все время сомневаемся, как надо: то ли *в связи*, то ли *в связи, на двери* или *на двери, создала, создала* или *создала*.

..

– Ну уж, извини меня, стыдно! «Создала!» Еще скажи «приведена», «искра»... Но что до иностранцев, то ты права: им надо заучивать ударение в каждом слове и в каждой его форме. Конечно, и русским приходится иной раз трудно – из-за колебаний исторических, из-за допускаемых в данный момент вариантов. Зато как можно играть ударением в парах: *девица – девица, молодец – молодец, здорово – здорово!* Можно выразить и все смысловые возможности числом слогов: *поутру – поутру – поутру*... Конечно, и правила кое-какие есть. Вот, например: слова на -ик имеют постоянное ударение на первом слоге (*столик, ножик*), но если значение уменьшительности утрачено, то подвижное остается на втором (*мужик – мужика, ученик – ученика*)... Зато в морфологии многое упростилось. Праязык имел сложную грамматику: все имена склонялись, глаголы спрягались, было три рода и три числа, много прошедших времен. Кроме болгар и сербов, все славяне утратили древнее условное наклонение, такие



прошедшие времена, как аорист, имперфект. Болгары, единственные из славян, утратили и склонение и передают теперь значение падежей, как англичане, только предложениями (*книга на ученик, результат на deJHOcm*); у них развился артикль (*мирът – надежда на планетата*), а в глаголах сохранился аорист, имперфект и перфект (*че-тох, четах, чел съм*). Ох, эти славяне! Каждый говорит по-своему, но фантазии хватает лишь на изобретательное изменение общего. Чтобы не понимали друг друга, но помнили, что из одного теста. В XIV веке русские, украинцы, белорусы лишь повторяют, что их общие предки сделали раньше. Славянский мир своеобразен. До прихода венгров в Паннонию и упадка Великой Моравии связи славян тесны, непосредственны, а диалектный ландшафт монолитен, почти однообразен. Чем древнее эпоха, тем больше структурного сходства между говорами.

— Это мы уже проходили! – нетерпеливо заметила Настя. – Язык-источник устойчив в грамматике, словаре, звуковом составе. И понятно, что расхождений мало: глухие еще не пали, структура слога не изменилась, местных слов – раз, два и обчелся. Они по большей части объясняются связями с непосредственными соседями...

— В самом деле так: племена славян формировались на обширных пространствах, но жили тесно, в сходных материально-духовных условиях, родственно общались. До твоего дня сотни и сотни слов несут отраженный языком запас представлений, передававшихся поколениями от эпохи родового строя и его хозяйственного уклада – постоянных в основе земледелия, скотоводства, охоты, ткачества, гончарного и кузнечного дела. Неизменны у славян, даже в произношении сходны названия частей тела, животных, злаков – целых групп слов, унаследованных из языка-основы: род, племя, муж, жена, мать, отец, сын, дочь, дед, баба, солнце, ветер, голова, рука, зуб, горох, рожь, лён, корова, гусь, свинья, овца, конь, пёс, лиса, волк, ворон, старый, новый, голый, жить, нести, ковать, плести, печь, варить, сеять, жать... Общи и любимые слова **отчина, дедина, родина!**

— Подумать только, что этим словам тысяча лет!

— Если считать от корня, который потом фонетически изменялся, то не тысяча, а, скорее всего, пять-шесть тысяч лет! Внутри каждого слова есть орешек, который не всегда раскусишь. Разгадками занимаются ученые-этимологи. Они, например, показывают, что корень **зъд** означал глину и что к нему восходят сегодняшние русские слова *здание, зодчий, создавать*. Из одного корня возникли существительное *квас* и прилагательное *кислый*. Почитай этимологический словарь, и перед тобой откроется таинственный, увлекательный мир, отражающий мысли древних, их восприятия. Тут и природа, история народа: отразившись в душе человека, всё выражается в слове, в движении его смысла. Запечатленное в слове становится бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей мысли, опыта, чувства, знания. Хотя попробуй объясни, почему от *петь* русским пришло в голову произвести название *петух*, белорусам – *певень*, болгарам – *петел*! Украинцам же «не показалось» ни то, ни другое, и они назвали птицу *кочет*. А сколько смешных совпадений-несовпадений при этом у любимых наших славян получилось! *Пресен* в переводе с болгарского «свежий» (*пресни томаты* – «свежие помидоры»). Польское *gruby* – «толстый», а отнюдь не «грубый». *Рот*, означающий по-русски и по-чешски «уста», у болгар «холм», у словаков «возвышенность», у сербов «вершина, мыс» (кстати, у двух последних слово не имеет гласного, являя пример слогового плавного – **rt**). По-словацки и по-чешски *presna odpoved* – «точный ответ», ибо *пресный* значит «аккуратный, исправный». По-сербски издается журнал «Дописник и ногомет», т. е. «Корреспондент и футболист». *Гора* – у русских «сопка, возвышенность», у болгар «лес», а гору они называют словом *планина*. *Туча* по-украински – «гроза с дождем» (русское значение передается словом *хмара*), по-сербски – «град», по-польски – «радуга» (*tecza*). Чешское *nahly* не «наглый», а «быстрый»; *bystry* же, не «быстрый», а «сообразительный» (и по-русски ведь понятно: *быстрый ум*); *rychly* не «рыхлый», а «поспешный»; *čerstvy* не «черствый», а совсем напротив – «свежий»! Так же как *zapomínati* отнюдь не «запоминать», а «забывать»...

– Ничего себе родственнички! – съехидничала Настя.

Она вспомнила, как один мальчик принес в школу чешский проспект, в котором быстроходные и тихоходные автомобили назывались *rychla* а *romala vozidla*. Очень всем тогда понравилось это *возидла!* Даже учительницу-русачку спросили, и та объяснила, что это по-русски сказать *возило*: вы, сказала, сами в жаргоне водителя-таксиста называете *возило* или *возила*, как *мазила*. А исторически здесь-де тот же суффикс, только восточные славяне утратили в нем л. Чехи же этот суффикс сохранили как продуктивный: *mydlo* – от *мыть*, в соответствии с русским *мыло*; *diwadlo* – у русских от этого глагольного корня слова нет, ибо заимствовали западное *театр*; *svetidlo* – *люстра*; *pradlo* – *бельё* от древнего *prati* – «стирать» (ср.: *прачка, прачечная*); *létadlo* – *самолёт*... Много таких слов!

В том же проспекте, помнится, прочли про космическую ладью – *kosmicka lod*. Учительница же подлила масла в огонь удовольствия: *семья* – по-чешски *rodina*, а *родина, страна* – *vlast*, а *власть* – *vlada* (т. е. правительство, администрация) и *тос* (т. е. мощь, сила). Учительница ездила в Чехию, и ей почему-то запомнилось объявление «*Mimo provoz!*» – вместо общеизвестного русского «Не работает!»

И тут наша героиня чуть не заревела: так жалко ей стало, что разбился общий язык. Мудры были Кирилл и Мефодий, пытаясь сдержать распад. Подумать только, если бы сегодня все славяне говорили на одном языке!

Гривна с укором, но согласно вздохнула:

– С историей не спорят. Она не знает сослагательного наклонения: что было бы, если бы да кабы... Беспокойтесь больше о настоящем, а то вы все печетесь то о будущем, то о прошлом. Люди – из прошлого, и их язык – само прошлое. На шкале ценностей оно дорого лишь тем, что помогает строить настоящее. Вот, к сожалению, к твоим дням дороги в прошлое поросли бурьяном... Из истории вытащили одну лишь идею «собираания земель», централизацию. Что скажешь, верная идея! Но она становится и вредоносной, когда ее абсолютизируют. Жизненные, производственные удобства важны, но... не хлебом единым жив человек.

## ОТ ВЯТИЧА ВОРБЯ ДО МОСКВИЧКИ ВОРОБЬЕВОЙ

### Знать значит любить

Вот и закончилось путешествие в прошлое, прошелестев картинками далекой, доступной лишь воображению Москвы. «Этот город мне в подарок подарило детство». Стольный град на семи холмах, которому формально (по дошедшим источникам) от роду 837 лет, а на деле, наверное, не менее тысячелетия. А может быть, не детство подарило, а предки? Они умели хранить память, да и вещи – ту же Гривну, с помощью которой открылось окошко в прошлое.

Настя напевает: «Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет». А тут и название есть града деревянного, белокаменного, златоглавого, краснокирпичного, бетонно-стального и стеклянно-алюминиевого с рубиновыми пятиконечными звездами на всемирно известных башенных силуэтах Кремля. Знать значит любить. Нельзя любить то, чего не знаешь. Древний лик Москвы поразил и навсегда вошел в ее сознание волнующим чувством родины, широким, как бескрайние российские просторы, и глубоким, как вековое бытие русского народа. И чувство это теперь спаяно с ощущением живого русского языка.

Очевидица разных страниц жизни русского языка знает теперь, откуда поразительная наблюдательность и меткость русского слова, издревле создающего зримую живопись – так в морозной дали выписываются узоры новых далей. Непростая у языка история, и жизнь его полна праздников и трагедий, открытий и загадок. И чем больше узнаешь, тем больше возникает вопросов.

Сравнение с живым организмом хромает. Ведь это не то, если бы Настя увидела одного и того же человека беспомощным младенцем, беспечным мальчиком, порывистым юношей, мужчиной в расцвете сил, затем умудренным опытом и достигшим зенита жизни, наконец, стариком с недугами. Случайные по выбору этапа развития языка остановки показали его состояния, разные по общественным функциям, внутренним соотношениям, структурным признакам, но эти состояния – отнюдь не фотографии в семейном альбоме. Перемены языка не появление старческих морщин, а его движение не старение. Развиваясь, он даже молодеет. Вечное в скоротечном!

В каждом случае язык и в действии, функционировании (для этого он должен быть неизменным), и в движении. Всегда интересно и то, что он собой представляет, и то, что в нем происходит. Настя видела, как, например, исчезали сложные прошедшие времена глагола, а ее предки в пределах своего времени и не подозревали об этом, им казались эти формы естественными, вечными.

Изменение языка – процесс неровный. Бурные перестройки чередуются с длительной дремотой, застоєм. Язык – как река, то плавно несущая свои воды по глади равнин, то низвергающаяся водопадом в горных ущельях. Машине времени нужно было бы пролетать то большие, то меньшие отрезки, чтобы всякий раз представить картину, заметно отличную от прежней. Останавливаясь раз в сотню лет, Настя видела то нечто очень схожее, то совсем новое. Ну и хорошо, что времена относительной устойчивости не проносились с ускорением, а близлежащие годы обновления не демонстрировались замедленной проекцией. Если бы, например, в XVIII веке было бы две остановки, а в XII или XIII веке ни одной, то

не открылась бы истинная природа языкового развития – неоднородного, когда языки то не отличаются друг от друга очень долго, то теряют идентичность чуть ли не на протяжении десятилетий. Спады после взлетов души!

Что же это за тип движения – развитие языка? В любой момент истории это система, закономерно связанная со смежными. Отличная от предыдущей и последующей, она лишь видоизменение предшествующей и прообраз будущей. Перемени хотя бы точку, картина уже не та, но здравый смысл сочтет ее новой, лишь когда таких точек, штрихов накопится действительно масса. Настино сознание охватило картину.

Славянская речь растеклась по всей Восточной Европе в VI – IX веках. Несущие ее племена в разных местах сталкивались с разными аборигенами. Родные вятичи, например, с финно-уграми. С кем поведешься, от того и наберешься! Вот и расселились кто в лес, кто по дрова и в общих законах языка. Обособляются племенные диалекты Юга, Запада, Востока. Они крепнут, становятся самостоятельными языками трех славянских групп.

К концу первого тысячелетия на Руси складывается на основе диалектных отличий еще в праязыке у тех племен, которые отправились на восток, древнерусский язык. Родство забывается, если его не лелеять. С глаз долой, из сердца вон. Этот язык идет иными путями, нежели западные и южные собратья. Вятичи хранят языковые традиции пуше всех. Громадную роль, однако, играет с приходом христианства и книжности южный старославянский язык. Он отчасти приостанавливает обособление, отчасти способствует созиданию новой самобытности. В письменности долгое время кажется, что эти два языка – восточнославянский и старославянский – сливаются в едином древнерусском. Но на самом деле их взаимоотношения куда сложнее. Они составляют сердцевину всего языкового развития восточных славян.

Составляют и тогда, когда формируются три ветви русичей со своими отдельными языками – русские, украинцы, белорусы. Попав в свою особую колею, москвичи и их соотечественники по-своему развивают черты, унаследованные от родителя. Объявляя себя наследниками древней славы, провозглашая Москву Римом славянского мира, они испытывают новое и сильное церковнославянское влияние. Избегнув рабовладельчества (эх, если бы еще позже обойтись без крепостного права!), переходя из первобытного строя сразу в феодализм, свободные люди восточнославянских племен и родов держатся старины в счастливые годы освоения новой родины. Это врожденное свойство восстанавливается и после монголо-татарского ига, после раскола Руси.

Но вот перед глазами другие «портреты» языка. Уже собственно русского – старорусского, великорусского, современного. Сколько их? По структуре и по общественным функциям вроде четыре. Постойте, да они соответствуют этапам истории русского народа и государства! Сморщив носик, Настя вновь мысленно прокручивает ход событий, обозначает в памяти язык X – XI веков с главным признаком – падением глухих, диалектные разветвления XII – XIV веков, закончившиеся распадом общего языка на три ветви. Это по учебнику истории – Киевская Русь, удельная раздробленность, затем – возвышение Владимиро-Суздальской Руси после иноземного ига.

Дальнейшие «портреты» связаны с Москвой. Тут и роль славянской книжности и письменности приказов, тут противоречия «язычий». Нынешний «портрет» тоже «набор» разных видов языкового творчества – от Пушкина до современности. И тут языковые процессы соотносятся с событиями в истории народа и страны, хотя прямо их и не отражают. Тут и превращение Московского государства в Российскую империю, затем в СССР, а сейчас... Насте, как и всем нам, еще предстоит узнать судьбу государства со столицей в Москве и, может быть, увидеть новый «портрет» русского языка.

Уникальна роль в истории русской языковой культуры славянской книжности. Славянизмы и народная речь – две главные темы истории русского литературного языка. Они пронизывают такие события, как преобразования Петра I, прорубившего окно в Европу, как реформы Ломоносова, как творчество Карамзина, Пушкина. На разных этапах соотношение структуры, объем и функции разновидностей языка – сначала его «штилей», затем современных речевых стилей – были поразительно различны. В последние десятилетия кодифицированный литературный стандарт, которому учат в школе, был весьма отличен от разговорной речи. Что принесет новый этап в присущей нашему языку противоречивой связи разных начал?

Настя восхитилась сама собой: ведь она как-то неожиданно для себя повторила лекцию университетского ученого! Своими словами, но зато куда прочувствованней. Понятны теперь и его казавшиеся позерством мудреные сомнения в прогрессе языка.

Едва ли какой другой язык в мире может быть сопоставлен с русским в той сложной и богатой истории, какую он пережил. Он оказался удивительно переимчивым к чужезычным богатствам –

славянским и византийским, восточным и западным, французским и американским. И в то же время оставался удивительно монолитным во времени и пространстве, необъятном пространстве, на которое он распространяется. Он стал языком величайшей культуры и литературы. Он служит языком общения в ближнем и дальнем зарубежье; как иностранный изучается во всех странах мира.

Полет на крыльях фантазии убеждает именно в прогрессе языка, отражающего поступательное движение общества. Машина времени раскрывает преемственность опыта русских людей и их ближайших соседей, которую обеспечивает язык, обогащаясь внутренне. Как один и тот же персонаж в различных сценах определяет свой характер, так и язык, веками примериваясь к разным потребностям, доходит до нас сокровищницей всей прошедшей жизни. Язык – герой, который взрослеет, умнеет, но не стареет и не дряхлеет. А может быть, раньше он был красивее, сильнее? Или, напротив, теперь похорошел, окреп?

Настя задумывается. В ее ушах живое слово отшумевших веков вызывает к яви образы остановленного времени, картины жизни несхожих сословий, типы разных людей, родные лица предков. Подьячий Воробьев и легкомысленная

Липочка, Дамиан Врабий и Кузька Воробей, мудрый Ворбь, которому поклонялся Гудошник... Скользит лодка по гладкой воде, меняется ландшафт на извилах реки, дремлет лес, склонившись над плесом, спит природа, кутаясь в тишину ночи. Струятся, плещутся чувства, играет слово, рожденное мгновением и взлелеянное неторопливой думой. В нем снега и зелень, мороз и жара, солнечный свет, первозданность полей и неба, бушующее весеннее пробуждение природы...

Но вот воображение рисует скорости города: кого они захватят, тот не вернется к сонливой неторопливости сельской жизни. И люди уже не дети природы. Дерево стало просто деревом, медведь не кажется более духом, воробей – просто прозвище. В языке вступают в силу новые ассоциации, уподобления по общему типу, по сходству и смежности. Всё сильнее внутренняя и внешняя аналогия, стремление к экономии и преодолению избыточности. Всё заметнее и осознанное вмешательство людей в язык.

Вероятно, надо говорить о прогрессе и просто изменении, которое трудно оценить знаком «плюс» или «минус». Да так именно и рассуждал бородатый лектор, различая абсолютный и относительный прогресс. Абсолютный, когда улучшается способность языка выражать мысль, и относительный, когда что-то упрощается, например «выталкивается» исключение в грамматике. И прав он, подвергая сомнению понятие прогресса применительно к искусству, к развитию человеческого духа. В самом деле, стала ли современная живопись прогрессивнее классики? Прогрессивнее ли литераторы XX века, чем писатели XIX-го или даже авторы Древней Греции? А язык ведь тоже во многом искусство!

При всем торжестве логики мы кожей ощущаем природу, хотя в этом вряд ли превзошли непосредственность дикаря. И невозможно оценить, что прогрессивнее – великая вера славян древности или новейшие изобретения компьютерной техники... Непреходящая и первостепенная ценность языка в том, что он хранит и бережет, передает в будущее завет и урок изначальной судьбы, смысла жизни и все поправки и уточнения, сделанные к ним поколениями.

Язык идет в глубину – и пространственно-географическую, и социально-историческую: к мечу Невского и Донского, к пронзающим душу словам песни-клятвы 41-го: «Идет война народная, Священная война...» Язык ведет в глубины народной памяти, национального духа. В неповторимом русском слове – сила добра и любви, в нем есть ярый огонь, но нет злобы: «Пусть ярость благородная / Вскипает как волна...»

Вот потому-то и дрогнет наше сердце, едва коснется нашего слуха древнее полузабытое слово, чутко отзовется любовью к жизни, нежностью к минувшему. Зданию век – надо сохранить, рукописи два столетия – памятник культуры, средневековая икона – ей цены нет. А слово, которое молвили тысячу лет тому назад, звучит и сегодня: оно и памятник, и живое, животворное настоящее.

Настя спохватывается. Гривна, сложившая с себя обязанности гида, уже не подскажет, не объяснит непонятное, не возразит. Вот теперь она, ясное дело, язвительно пробурчала бы, что, мол, раньше, по тебе, и сахар был слаще да и соль солоней. Не было-де раньше научных работников, но были мудрецы. И всё же не сравнить град деревьев Юрия Долгорукого с нынешней Москвою, как ни восторгайся вятическими порядками!

И вообще, хватит этого ретро. А то получается, как со старым автомобилем: и смотреть приятно, и прокатиться можно, но... не ездить же на нем все время! Прошлое славно и великолепно, в нем плохое забывается, хорошее становится выпуклым, но жить надо настоящим. Как ни восторгайся естественным развитием языка в деревенских условиях, в близости с природой, это всего лишь его детство, когда

эмоции сильнее разума, точнее, неотделимы от разума. Конфликт между ними, а он только и движет развитие, возникает, когда впечатления от окружающего мира начинают поверяться логическими построениями. Взросление языка связано с городом.

Отсутствие Гривны заставляет взрослеть и нашу героиню. Она переходит от впечатлений к логическим рассуждениям. Ясное дело, в век власти индустриального стандарта и массового производства заманчиво размягчиться первородным прямодушием, чувствительной красотою природной образности языка деревни. Тем более что у каждого русского в уголке души гнездится еще первобытный пахарь. Но без города не было бы в языке силы и логики, изощренности и гибкой выразительности. Не было бы этого, как не было бы модной одежды, хитроумных приборов, высотных домов, космических ракет, видеомагнитофонов. Даже умножать плодородие пашни помогает сейчас город. Древность трогательна, но нужны и современные слова и понятия.

Яркий признак прогресса – транспорт. Родители ежедневно, только чтобы попасть на работу, делают более ста километров. Сама Настя ездит дважды в неделю на ипподром за 36 километров от дома. А если папины и мамины командировки собрать, то это тысячи и тысячи километров. Совсем недавно отважные первооткрыватели не одолевали столько пространства за всю жизнь. Основное же население было от рождения до смерти приковано к своей деревне и не удалялось от нее более чем на десяток-другой верст.

Сегодня Настя-школьница знает о мире больше, чем образованнейший человек лет 300 тому назад. Она знает, где Папуа, а ее предок не ведал, где Париж. Для нее привычны лайнеры и аэробусы, дизель-электроходы, азросани, вездеходы, вертолеты. И она может побывать вообще где угодно при помощи кино, телевидения, видео. Сейчас вон, папа читал, даже глухарей в Подмоскowie из сибирской тайги на самолете привезли!

Настя вновь спохватилась: опять ее занесло, теперь в противоположную сторону. Ну и народ мы, русские, никогда золотой середины не знаем! Как бы научиться не восторгаться с телячьей умиленностью ни прошлым, ни сегодняшним, ничего и никого не прославлять без меры, а здраво всё и всех оценивать? Язык связан с обществом – верно. Но связь эта отнюдь не всегда его украшает. Вот объявление из Настиной эпохи: «Магазин закрыт на спецобслуживание». Да, оно отражает действительность, но в каком еще обществе в какую еще эпоху могла родиться такая фраза? Ведь для обслуживания, пусть даже специального, магазин открывают! А вот и еще расхожая фраза, в которой логику могут усмотреть только современники ее появления: «Эту книгу невозможно купить, потому что она всем нужна»...

### «Момент истины»

И всё же, какие нелепости в речи ни встречаются, не любить родной язык просто невозможно. Язык живет. Это значит, им пользуются разные люди, причем необязательно только умные и честные. И бедняга язык вынужден всех удовлетворять! Он всегда совершенен для общества, которое обслуживает, и для отдельных людей, которые им пользуются в своих целях. Соответственно у языка вырабатываются умения не только говорить правду, но и врать, создавать видимость мысли там, где ее нет.

Меняется жизнь, потребности людей, меняется и язык. Живя, меняется, но живет, потому что неизменен. Все дело в темпах изменения... Но есть изменения, которые на глазах. Вот лошади оказались в опале, перевели их, и из языка ушли названия мастей – *вороной, каурый, пегий, саврасый*. Настя усмехнулась, вспомнив, как никто в классе не мог сообразить, какого цвета гнедой конь. Но не исчезли эти слова, пока, по крайней мере, лишь ушли из общего активного запаса: ведь ребята в классе не знали цвет, но знали слово! Слова эти еще вернутся, потому что все больше желающих научиться верховой езде. Конь нужен человеку даже просто потому, что напоминает прошлое, украшает жизнь! И лошадей возродят!

Как изгоняли любые церковные слова, а чуть снялась опала – и опять на слуху *Бог, патриарх, молитва, креститься, служить обедню, покаяние*... И не лучше ли *соборность*, чем *коллективизм*?

Сила времени – приобретать. Живут наши современники при всех трудностях куда уютнее, удобнее, безопаснее, чем их предки. Давно забыли, что такое холод и голод, вражеский набег и рабство, мор и пожар. Занятия, быт, еда, развлечения – всё богаче, разнообразнее. Главное же, верят теперь люди только в себя, в свой разум. Сильные стали с наукой и техникой, всеобщим образованием. Если не умнее, то образованнее предков. Или все-таки умнее? Ум и знание...

Настя вновь вспомнила Гривну, как теперь повелось у нее всякий раз, когда запутывалась. Та, ясное дело, пропела бы речитативом, подлаживаясь под строй дописьменных былин: слово, что яблочко, с одного боку зеленое, с другого бока румяное, ты умеи его, Настенька-Анастасьюшка, девица милая, повертывать!.. Не то, что праязык был плох, а жизнь обогатилась, усложнилась, и язык стал богаче, сложнее, чтобы ей соответствовать.

И Настя сама пробует развить мысль. Едва ли не самое главное богатство языка – его сложность. Не в смысле там окончаний, трудных написаний, а с точки зрения пригодности выполнять ловко самые разные работы, решать самые разные задачи. Как современная электронная аппаратура: чем сложнее внутри, тем проще с ней обращаться, тем удобнее и пригоднее она для пользователя.

У вятичей язык приспособился к зимней стуже и суровой лесной жизни. Как теплокровное животное, утепляясь мехом новых форм, или как растение, вырабатывая состояние зимнего покоя внутренним равновесием. Распевая озорные, шутейные песни, идущие от игрищ и русалий, вятичи обогащали язык, открывая в нем всё новые возможности не только в ходе тяжелой сельской работы, охоты, борьбы. Потом писатели, учёные... монахи...

Пусть нельзя, не став посмешищем, объяснить утрату ятя, отвердение **ж и ш** каким-то конкретным событием русской истории. Но это, как и все иные изменения, – доподлинно результат совокупной русской истории. Любая память – горести ли, радости ли – помогает ценить душевную открытость, пробуждает добро. Всё, что ни делается, к лучшему в этом лучшем из миров! Не так уж иронична эта Вольтерова фраза.

На благо любое изменение: может быть, мы просто не можем увидеть в нем прогрессивное зерно! Может быть, это просто незаметное для глаза совершенствование системы? Важно, что пережитое не склад музейных ценностей, а часть нас, сегодняшних. И язык особенно – он всегда с нами, хотя мы не всегда это осознаем. Язык – «не просто звуки, в нем труд, и пот, и муки, шум лесов, цветенье поля, волны радости народной. В нем разум класса, кровь и воля от давних дней и по сегодня». В нем живет, скорбит, негодует, верит, смеется сам народ. Язык окрашен, пронизан переживаниями людей и не вникает равнодушно добру и злу. Он и свидетель, и участник жизни. Поэтому каждое его слово, каждый звук, каждое изменение небезразличны и, раз жив народ, прогрессивны!

Могла бы Гривна по-прежнему говорить, как во время фантастического путешествия, она, ясное дело, что-нибудь да возразила бы. Но не могла бы она не согласиться с тем, что духовные ручейки, питающие реки народной жизни, порождают в языке нравственные ценности, делают его важнейшей частью национальной истории и культуры. И Настя вновь увлеклась патетическими фразами, которые легко и непрерывно рождались, роились в ее голове, вызывая в памяти где-то и когда-то слышанное и прочитанное.

Русский язык особый, животворящий, «животворный, полный разума». В нем столько музыки и столько красоты! В нем история великого народа, фантастически выносливого, пронесшего сквозь века страсть к победе, мечту о свободе и справедливости, веру в свое предназначение. Великий язык великого народа! Прозорливый ум русского гения давно отметил такие черты русского языка, как великолепие, пристойное испанскому (с Богом говорить!), живость – не хуже, чем во французском (с друзьями беседовать!), крепость – как в немецком (с неприятелем объясняться!), нежность – как в итальянском (с женским полом кокетничать!), сверх того – богатство, сильную в изображении краткость греческого и латинского языков.

Эту ломоносовскую мысль развивали Гоголь и другие писатели, еще далее раздвинувшие русскому языку границы, показав его пространство. В своем творчестве они во всем блеске ума и таланта воплотили заложенные в родном слове изобилие, богатство, силу, гибкость, легкость в выражении нежнейших чувствований. Они были убеждены, что история языка раскрывает историю народа, его судьбу. Свободным и сильным он стал гораздо раньше, чем установились крепостное право и деспотизм, и потому был постоянным противоядием пагубному действию угнетения. Он не потерпел ига татарского и владычества чуждых наречий в священных пределах своей словесности, не потерпел и «одноглазого» тоталитарного социализма.

Он спасал русских людей «во дни сомнений, тягостных раздумий» о судьбах родины, в заботах, бедах и трудах будней, фашистских и сталинских лагерях, в тылу и на фронте. Он – путеводная звезда в будущее нашей многострадальной, великой и любимой Отчизны.

По Гоголю, сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумывает свое, не всякому доступное умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское

слово. Гоголь дивился драгоценности русского языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное название драгоценнее самой вещи.

Карамзин свидетельствовал: язык наш выразителен не только для высокого красноречия, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Герцен считал русский язык гибким и могучим, способным выражать и самые отвлеченные идеи германской метафизики, и легкую сверкающую игру французского остроумия.

«Русский язык! – восклицал А. Толстой. – Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего... Дивной вязью плел народ невидимую сеть русского языка: яркого как радуга вслед весеннему дождю, меткого как стрелы, задушевного как песня над колыбелью, певучего... Дремучий мир, на который он накинуд волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь».

И никакая вражья сила не могла и никогда не сможет пошатнуть русский язык. В нем залог и наш символ веры... Мысли и фразы роились в голове нашей героини. Ей вдруг захотелось самой подняться на кафедру и читать лекцию перед наполненным залом. Ей есть что сказать. Она расскажет о языковой истории Славии, о внешней и внутренней истории русского языка – о его развитии как инструмента мышления и общения и как системы, как явления культуры.

Как ни прекрасны проповеди и княжеские речи седой старины, их не сравнить с прозой Чехова и стихами Блока.

Язык математических сочинений наивен и темен еще в XVIII веке, а сегодня российских математиков читает и почитает весь мир. Новые темы для обсуждения, описания и изложения требовали шлифовки и обработки русского языка, и поколения мыслителей, ученых, общественных деятелей, поэтов и писателей придавали ему своим незаурядным умом и тщанием те качества, которыми мир теперь восторгается. Сколько голов потрудились над русским словом, чтобы сделать его выразительным для высокого красноречия, проникновенной задушевности поэзии, нежной простоты и тонкости разговора, выверенной точности науки! Сочиняли точные и лаконичные выражения, угадывали лучшие пути сочетания слов, лучший их выбор, вдыхали в слова новый смысл, искусно вплетали их в новые связи, оттачивали удобные синтаксические обороты...

Изменения языка как знаковой системы, его звукового и грамматического строя зависимы от состояния общества. Печаль и нежность природы, тысячелетний опыт предков, голос вещего Бояна и извечное хоровое начало на равнинных и лесных просторах, радость и напевы матери, звонкая чистота рассветов, грозный гул и грохот кровавых сражений и войн, широта морей и пашен, звучание многих языков далеких и близких соседей, индустриальный надрыв пятилеток – всё, всё, что питает память и душу, отражено в языковой материи. Отсюда музыкальность и красота русской речи. Прав, тысячу раз прав современный поэт: «Какое чудо, наш язык!»

Именно эстетика языка привлекала и привлекает к нему иностранцев. Вместе с информационной ценностью и общечеловеческой важностью раскрываемой им литературы, культуры, науки, образа жизни и сознания она сделала его одним из самых распространенных языков мира, посредством которых общаются между собой люди самых разных родных языков из всех стран нашей планеты. Как и английский и некоторые другие великие языки человечества, он любим, уважаем во всех уголках Земли.

Поэтому-то и нельзя безразлично сказать: не всё ли равно – акают или окают русские, такой у них грамматической строй или другой. Хотя аканье само по себе не лучше и не хуже оканья, случилось так, что именно аканье стало образцовым русским произношением. И став таковым, приобрело новую и непреходящую ценность. Оно связалось в сознании людей со всеми другими чертами русского литературного языка и стало на их фоне единственно\*правильным, приемлемым, красивым.

Довольная стройностью своего рассуждения, но досадуя на его некоторую заумность, Настя продолжала размышлять. Это не кнопка: тут нажал, там выскочило. Надо много и долго понажимать разных кнопок. Внутренняя история отражает внешнюю, и отнюдь не нейтрально к характеру прогресса саморазвитие материи языка. Иное дело, что всё происходит в рамках заложенных в языке направлений, свойственных языку законов внутреннего системного развития. Впрочем, и сами эти законы подвержены изменениям, когда этого, хотя и неосознанно, захотят носители языка.

Русский язык обладает величайшими потенциями роста, он унаследовал неисчерпаемые внутренние силы. И, как завещал Пушкин, «не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка». Он призывал дать ему «поболе воли, чтобы развивался сообразно законам своим». И сам потрудились, чтобы, по словам Белинского, сделать из русского языка чудо.

Нечего бояться: язык русский силен и смеет взглянуть на себя со стороны, высмеять свои недостатки. Настя со стыдом вспомнила Липочку. Пора и свой жаргон бросить. Неизбывное чувство патриотизма спасало наш язык – и язык отдельных людей, и язык всего народа. Не засорять язык вовсе не значит держать его в неприкосновенности, чего испокон веку не бывало и быть не может. Но всякое новшество, всякое изменение должно иметь смысл, должно оцениваться эстетически. Экология языка не менее важна, чем забота о сохранности природы, окружающей среды. И тут ведь речь идет не о неприкосновенности, а лишь о разумном природопользовании...

Язык меняется уже в силу постоянной проблемы отцов и детей. Он обеспечивает связь времен, но и служит новым идеям, интересам молодого поколения. Иной раз современным немцам и русским легче понять друг друга, чем сегодняшним русским и русичам древности. Причем имеются в виду не только собственно содержание, внеязыковой смысл, но и качества языка, синтаксические построения, лексика, стиль. Настя почему-то вспомнила полубившегося больше других предков Кузьму, и ей стало немножко грустно.

Казалось бы, что ей за дело до родившихся при лучине Воробьевых, до их странно тягучей и малопонятной речи? Но есть в их опыте, в самом даже факте их существования что-то, отчего жизнь наша становится понятнее. В родословной простых русских людей Воробьевых жило и живет чаянье бессмертия, возможного лишь в исторической преемственности. Без этого не было бы нации, были бы Иваны, не помнящие родства.

И самой великой, самой очевидной, самой надежной связкой поколений служит язык. Именно он несет крупницы исторической правды, смысла существования. Во все века оставались Воробьевы самими собою – русскими, москвичами. И язык менялся, оставаясь русским. А не будь этого в непостоянстве постоянства – «Прощай, Москва, златые главы, / Тебя мне больше не видать»!

Заглянув в историю русского языка, Настя влюбилась в него. Узнанное, почувствованное, услышанное заставило думать, сопоставлять, фантазировать. Мы все в ответе за русский язык перед предками и перед потомками.

В Настиной жизни наступил «момент истины», когда видишь себя, свою жизнь как бы со стороны – частицей народа, его истории. И оттого яснее понимаешь сегодняшнее общество и свое призвание, свое место под солнцем. Становится невозможным обходиться без чего-то, и, наоборот, тогда даже нужное, важное для тебя уступает место неотложному, еще более значимому. Может быть, ипподром отойдет теперь на задний план.

Настя твердо решила посвятить жизнь русскому языку. Ясное дело, после школы она поступит на филологический факультет...

## Прощание с Гривной

Укладывая Гривну на место в папином столе, Настя позавидовала: сколько ее недавняя спутница видела, сколько всего знает! А Насте еще много предстоит учить, узнавать, постигая великое таинство языка.

Быстро бежит время. То, что есть сегодня, завтра уже история. Кажется, только-только собралась с Гривной в путешествие, а это уже событие «времен Очакова и покоренья Крыма». Наши дни отмечены высокими темпами, скоростями, стремлением к точности. Словоупотребление тяготеет при всем многообразии оттенков к математической компьютерной однозначности. Но чудачества языка не прекращаются, напротив, становятся всё милей. Тем языку милей, чем чудней!

Действительность шумит, волнуется, спешит, торопит, требуя воплощения в языке. И он помогает людям осмыслить, откуда что движется и куда. В ушах стоят прощальные слова Гривны, сказанные с яростной горечью: если б ею пользовались, как ее собратьями, она давно перестала бы существовать, быть собой. Пусть, сказала она, перед тем как навсегда замолкнуть, язык поможет тебе осмыслить эту печальную истину. Язык ведь всё может. Он один живет, когда им пользуются, и умирает, лишь когда его забывают.

Да, если бы Гривну употребляли, как деньги, то давно перелили бы в слиток, разрубили бы, переплавили в монеты или в украшения по меняющейся моде. Но она жила бы в них, перестав быть собой. Есть один только способ сохранить себя неизменно – умереть. Обрести бессмертие, принеся в жертву жизнь. Такие мертвецы живут искусственной жизнью мумии. Никому не нуж- 'ной.

Время может, правда, облагородить такой осколок, выброшенный за борт живого. Даже обломок неудачного, не пошедшего в дело или разбившегося глиняного горшка обретает ценность – как



памятник, как наглядное свидетельство исчезнувшего мира. Но человеку нужно таких осколков ровно столько, сколько места на бархате музейных витрин. Чтобы вещь из прошлого стала сверхценной, все другие такие же должны изжить себя, не существовать, а она, одна-единственная, сохраниться, мумифицироваться заживо, еще до конца не использованная. Это и сделали Воробьевы с Гривной...

Настя вспомнила грусть Гривны при расставании. «Миг смерти даст бессмертьем овладеть. Ведь призраки не могут умереть». Род кончается. Нет, мужская линия рода кончается. Капля крови, наследственный механизм – в каждом москвиче и каждой москвичке. Настя вдруг вновь ощутила свою ответственность, но уже как бы с другого бока. Выбор профессии предстал как долг: передать потомкам, как бесконечная вереница предков вкладывала свой ум и пот в русский язык, завещая в нем вновь рожденным всех себя, живших на этой земле.

Что нас объединяет? Клеточка, ген? Язык заботливо принуждает потомков думать о предках, как предки думали о потомках. В отличие от Гривны язык не музейен, он и символ, и живая связь. Чудо языка не дает народу рассыпаться. Есть и иные цементирующие силы – общие радости и беды, государственность, социальные идеалы, историческая память, особенности веры, быта, труда. Культура объединяет народ. Но во всем первая роль – языка!

В Насте пробудилось благороднейшее человеческое чувство продолжения, сохранения рода, сопричастности с историей. Ее предки – исконные москвичи, живущие в Москве со времен доисторического Ворбя. Они сквозь века пронесли ощущение себя коренными жителями, наследниками первопроходца. Потому и увековечили они в своей фамилии имя пращура. Как своеобразный пережиток тотемизма хранили они не только имя, но и Гривну. «Это надо же, так беречь семейную традицию! – восхищенно восклицает Настя. – Столько поколений Гривну передавать, не испортить, не истереть, не продать, не заложить!»

Глаза ее на мокром месте. Ей стыдно, что как-то бросила в раздражении, что не передаст ее по наследству. Нет, нет, будет хранить как зеницу ока. И не столько Гривну, сколько язык русский! Что было до меня на той земле, где живу и где жили предки, что за язык их и нас объединяет? Знать это – врожденная потребность человека, основа основ.

Сколько сил, ума, труда вложено в каждый род! В русскую славу, в русский язык! Есть что беречь, есть чем гордиться! Родина, она в нас. Мы – наследники исторических ценностей, всего, что создано предками, и прежде всего русского языка. Он не в музее, не на бархате. Живой, как жизнь, он хранит историю, меняясь. Из книг, устных легенд, из народной памяти вырисовывается то, что называют душой народа. И язык держит в себе слова-символы: *аркан, ясак, крепостное право, драг нах остен, совок, беспредел*, но и *икона Владимирской Божьей Матери, поле Куликово, Бородино, Орловско-Курская дуга, спутник, мир, демократия, свобода, Россия, Москва...*

Культура страны – это отношения человека к человеку, участие в общей жизни, обычаи ежедневного быта и – последнее по перечислению, но не по значению – забота, ревнительство о языке. Культурное общество внимательно к своей языковой жизни, в нем престижны лингвистические знания. Увы, мы, Настины современники, часто безответственно относимся к слову. Призываем к культуре речи, а на деле безразличны к ней. Вот, сама Настя со своим жаргоном...

Заколдованный круг? Нет, давно расколдованный. Да и не было тут никакого колдовства. Тот же жаргон привлекает новизной, каким-то эпатажем, противопоставлением себя взрослым, самоутверждением. И Бог с ним! Это как оспа-ветрянка – надо переболеть. Главное же в том, что язык требует внимания, ласки, заботы, любви. Он мстит тем, кто про него забывает, кто его как бы не замечает, кто о нем не думает. Ведь мало думать на языке, совершенно необходимо и думать о языке! Так же, как нельзя не думать об отцах, о родовых корнях, о родном городе, об отчизне. Неслучайно одного корня *отечество* и *отчество* – русское и книжное слова.

Немыслимый ты город, Москва! Тем и дорога сердцу каждого русского, что здесь основался дух России – «русская идея», культура и могучее русское слово. Всегда живет в москвичах ощущение, что все еще только начинается, что впереди за далью даль. Вспомнилось пушкинское: бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное. Сбылось! Наша героиня твердо знает свой патриотический и узкосемейный долг – заботиться о русском языке, посвятить ему свою жизнь. Долг перед предками и потомками.

Мы не унаследовали язык от предков, мы его берем взаймы у потомков! Только в этом проверка нравственности, совести, духовности, без которых мы будем потеряны в бурном океане современных проблем. Часы, по которым мы живем, отсчитывают второе тысячелетие. Стрелка компаса знала отклонения, но в целом вела по верному пути. Неужто Настино поколение потеряет ориентиры, установленные историей?

Что сохранить из традиции? Чем мы сильны? Что мы сделали для себя и для всего мира, мировой культуры, человечества? Где и в чем ошибались? Где язык, высший судия и советчик, нас поправлял, но мы не хотели слушаться?..

Будем же как клятву повторять заповеданные нам строки великого русского поэта Анны Ахматовой, написанные в феврале грозного 1942 года: **Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, – И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Навеки.**

## Содержание

К читателям

Бессмертный Язык и смертные языки

Тройка по русскому

На публичной лекции

В игру входит Гривна

От Пушкина до наших дней

Спор в гостинице

Истина открылась Пушкину

Потомки не оскорбят ваш прах

У истоков

В гостях девица Олимпия

Смешивать ли штили?

Чужеродные речения

Двуязычие

Ларец с книгами

Дни Медного бунта

Признаки разных языков

Деловой язык

Не только о деньгах

Челобитье и писцы

Мочь и немочь приказного языка

Славянская письменность

Третий Рим

Блеск славянщины

Эхо Куликовской битвы

Прародитель трех языков

Лихолетье иноземного ига

Возвышение Москвы

Три ветви единого дерева

Языковые особенности Московии

Искус удельного возвышения

Накануне нашествия

Наследники вятичей

Восточнославянское языковое единство

Москвичи и москвичата

Распад империи Рюриковичей

Книжность – могучая скрепа

Отзвуки праславянского языка у вятичей  
Деревня на холме – «Любая глубинка есть центр мироздания...»  
Покоренное пространство

Начало начал  
Посреди дремучих лесов  
Пращур и его сказ  
В дымке тысячелетий

От вятича Ворбя до москвички Воробьевой  
Знать значит любить  
«Момент истины»  
Прощание с Гривной

В книге ретроспективно воссоздается жизнь русского языка от современности к древности, от знакомого к забытому.

Развитие языка автор связывает с историей народа, уделяя значительное внимание русской старине, особенностям быта россиян, прежде всего москвичей, так как именно на московской почве сложились основные нормы русской литературной речи.

Красочные иллюстрации позволяют погрузиться в историю и представить, как выглядели Москва и москвичи в далеком далеке, когда они еще назывались вятичи, и в недавнем прошлом.

Издание адресовано широкому кругу читателей, но прежде всего тем, кто учится и учит. Книга может быть использована в работе с иностранными студентами.